

*A L'AMI
GUI NE M'A PAS
SAUVÉ LA VIE*

**БЕСТСЕЛЛЕРЫ
МИРА**

СЛИД
ГИБЕР
Эрве

Herve GUIBERT



Роман французского писателя Эрве Гибера «СПИД» повествует о трагической судьбе нескольких молодых людей, заболевших страшной болезнью. Все они — «голубые», достаточно было заразиться одному, как угроза мучительной смерти нависла над всеми. Автор, возможно, впервые делает художественную попытку осмыслить состояние, в которое попадает молодой человек, обнаруживший у себя приметы ужасной болезни. Трагической истории жизни сестер-близнецов, которые в силу обстоятельств меняются ролями, посвящен роман Ги де Кара «Жрицы любви». * * * ЭТО одиночество, отчаяние, безнадежность... ЭТО предательство вчерашних друзей... ЭТО страх и презрение в глазах окружающих... ЭТО тягостное ожидание смерти... СПИД... Эту страшную болезнь называют «чумой XX века». Сегодня от нее спасения нет — заболевшие обречены. Связанный с сексуальной сферой человеческой жизни, СПИД собирает свою кровавую жатву в первую очередь в «группах риска» — среди гомосексуалистов, проституток, наркоманов... Но уже известны сотни случаев, когда этой болезнью заражаются ни в чем не повинные Люди. Преступная небрежность врачей, непроверенная донорская кровь, «грязные» хирургические и стоматологические инструменты... А в итоге — сломанные судьбы, рухнувшие надежды, преждевременная гибель... СПИД — роман-предупреждение, сигнал опасности, способный спасти миллионы жизней.

- [Ги де Кар](#)

-
- [Две пленницы](#)
- [Покровитель](#)
- [Рыцарь](#)
- [Бог есть любовь](#)

- [Эрве Гибер](#)

-
- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)

- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)

- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
-

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)

- [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
-

Ги де Кар

Жрицы любви



Две пленницы

Приоткрыв зарешеченное окошко портала, выходящего на авеню дю-Мэн, и увидев посетительницу, сестра Агата с удивлением воскликнула:

— Вы, мадемуазель Агнесса, и так рано! Что случилось?

— Пожалуйста, сестра, откройте поскорее. Скажите, могу ли я повидаться со своей сестрой?

— Ну конечно! Вы так давно не приходили, еще вчера она говорила об этом. Она ужасно волнуется. Да на вас просто лица нет! Может, случилось что-то серьезное? Вы не заболели?

— Нет, сестра. Мне надо увидеться с Элизабет.

В голосе посетительницы звучали такие тревожные нотки, что сестра-привратница тотчас же отперла дверь и провела ее во внутренний дворик дома престарелых.

— Сестра Элизабет сейчас очень занята, — сообщила она по пути. — В мужском лазарете как раз подъем. Она должна помочь больным с утренним туалетом. Но я все-таки постараюсь предупредить ее. Она выйдет, конечно, но, к сожалению, вряд ли сможет остаться с вами надолго... Подождите в приемной. Вы знаете, как туда пройти, ведь вы у нас не в первый раз...

Каждый раз, входя в монастырскую приемную, Агнесса невольно смотрела на статую святого Иосифа, единственное украшение этого аскетичного помещения. Ей хотелось узнать, не появились ли новые картонные фигурки или клочки бумаги с нацарапанными на них прошениями, которые обитатели здешних мест подвешивали на розовых ленточках к шее великого покровителя местной общины.

Раньше Агнесса удивлялась: в ее представлении такие поступки выглядели чистым святотатством, но Элизабет как-то объяснила:

— Нашего добряка святого Иосифа этим не удивишь! В здешних краях его с незапамятных времен считают покровителем стариков. Как только нам чего-то недостает, мы рисуем нужный предмет на кусочке картона и привязываем его к шее святого. Например, еще совсем недавно, когда продукты в дом престарелых привозили на лошади, маленькая картонная лошадка шесть дней висела на шее святого Иосифа. И это следовало понимать так: «Пресвятой отец, нам просто необходима лошадь! Наша уже состарилась, ее нельзя больше запрягать, и мы не знаем, как теперь доставлять продукты для стариков, ведь их здесь целых пять сотен!» Вся неделя прошла в молитве, обращенной к нашему милостивому заступнику, и вот торговец овощами с парижской окраины, неизвестно кем предупрежденный о нашей беде, доставляет сюда молодую и сильную кобылку и торжественно вводит ее во двор.

Агнесса слушала, как зачарованная, но немного недоверчиво.

— Три года тому назад, — продолжала Элизабет, — к шее святого подвесили картонный грузовичок. Прогресс, как-никак, и лошадь надо бы заменить машиной. Через несколько дней одна великодушная дама подарила нам грузовик, а водителем стал Арсентий, шофер по профессии, самый бодрый из наших стариков... Но бывает, что святой Иосиф не спешит выполнять просьбы! У нас была даже настоятельница, Преподобная Мать Мария-Кристина, которая, чтобы наказать святого, ставила его лицом к стене, если он не спешил заступаться за нас... Она уверяла, будто наказание немедленно дает результат:

нужный предмет или деньги предоставляются в тот же день! Преподобная Мать любила приговаривать: «Доброму святому Иосифу явно не нравится стоять спиной к посетителям, он еще любопытней, чем сестра-привратница! Потому-то и предпочитает немедленно удовлетворять наши просьбы».

Взгляд Агнессы блуждал по комнате со строгим убранством, с выкрашенными эмалью стенами и светлой полированной мебелью. Она часто приходила сюда, с тех пор как ее сестра Элизабет по истечении положенного срока послушничества постриглась в монахини в главном монастыре святого Иосифа в Иль-э-Вилен и ее направили в Париж, в дом престарелых на авеню-дю-Мэн.

Сегодня утром лицо Агнессы, давно уже отмеченное печатью тайной грусти, выглядело особенно расстроенным. Какой был контраст с лицом вошедшей через несколько минут сестры Элизабет, лучезарным, отражающим, как всегда, внутреннюю радость, почти ликующим!

Постригшись в монахини и находясь в доме Сестер — покровительниц бедняков, Элизабет научилась преодолевать робость, которую считала одним из проявлений гордыни. Наедине с Элизабет Агнесса говорила мало; казалось, ей доставляет большую радость звонкий голос сестры, спешившей рассказать о множестве мелких событий, которыми наполнена жизнь дома престарелых. Элизабет увлеченно щебетала обо всем, не опуская ни одной, даже мельчайшей детали: все для нее имело значение.

Несмотря на бросающиеся в глаза различия в поведении и характерах, Агнесса и Элизабет были одинаково стройные и внешне очень походили друг на друга. Агнесса была красива и безупречно элегантна, а Элизабет даже стеснялась своей тонкой и стройной фигуры, не соответствующей, на ее взгляд, смиренному монашескому облику.

Как тут не перепутать, кто Агнесса, а кто Элизабет, да спасают различия в одежде: на одной — бежевый английский костюм, на другой — широкое черное облачение. У Агнессы пышные волосы раскинулись по плечам, а Элизабет — в строгом белом чепце. Казалось, в загадочной глубине серых с синевой глаз отражались прекрасные мечты... Слегка вздернутый носик придавал пикантность обеим. Пусть Элизабет не красит губы, как Агнесса, но их чувственность все равно видна. Тонкие запястья свидетельствуют о благородном происхождении. Интонации, улыбка, жесты у обеих совершенно одинаковы, монашеский чепец Элизабет скрывает, должно быть, такие же золотистые локоны, как у Агнессы... Подобное сходство объяснить легко: прелестная посетительница и смиренная монахиня — сестры-близнецы.

Томясь ожиданием, Агнесса вновь и вновь возвращалась к мыслям, преследовавшим ее с того самого дня, когда сестра отреклась от мира: она думала о мужестве и самоотверженности, необходимых сестре, чтобы ежедневно исполнять самые неприятные обязанности, справляясь с ними без единой жалобы и с восторженной улыбкой. Элизабет часто приглашала сестру в мужской лазарет; там она, верно, находится и сейчас. Вид изнуренных, немощных людей всегда вызывал у Агнессы инстинктивное отвращение. Может быть, ей и удалось бы посвятить себя целиком благородным делам, но едва ли она когда-нибудь смогла возиться со стариками. Она не чувствовала себя способной на подобное милосердие. Агнесса позволила увлечь себя на совсем иной путь. И сегодня утром, отчаявшись впервые в жизни, она осознала всю глубину пропасти, отделявшей ее от сестры. Желая почерпнуть в этом немом созерцании мужество, молодая женщина снова с тоской и мольбой взглянула на статую святого Иосифа, по счастливой случайности сегодня не

наказанного. Агнессе почудилось, будто она видит эту статую новыми глазами. Раньше она казалась банальной и даже примитивной, такую можно встретить в приемных домов призрения Сестер-благотворительниц. Русобородый святой Иосиф, простирая руки навстречу посетителям, как бы обращался к ним со словами:

— Взгляните, я беден... Вот мои руки, они слишком слабы от природы для трудного ремесла плотника. Взываю к вам: подайте! Пожертвуйте хотя бы грош для наших стариков.

Глаза Агнессы наполнились слезами: пожертвование, на которое она готова, — это ужасное признание; она должна открыть Элизабет страшную тайну. Святой Иосиф простирает над ней свои длани: должно быть, он давно привык принимать в дар слезы — жемчужины грусти.

В этот момент, как благотворный тропический дождь, обрушившийся на иссушенную землю, в приемную стремительно вошла Элизабет. Увидев изможденное лицо сестры, она сразу поняла, что драма, приближение которой она чувствовала уже много месяцев, наконец разразилась. Она порывисто обняла сестру и прошептала:

— Расскажи мне все...

Губы Агнессы приоткрылись и задрожали. Но она не смогла произнести ни слова.

Уже в течение трех лет, приходя в приемную, она хотела поделиться с сестрой тем, что так ее тяготило, но мужества не хватало. Она представила себе на мгновение, как рассказывает Элизабет о своей жизни, и поняла, что не сможет нарушить покой этого святого места и нанести удар той, которая стала воплощением любви и милосердия.

Она продолжала молчать и, делая над собой усилие, пыталась скрыть смутение с помощью жалкой улыбки. Элизабет, наблюдавшая за нею с тревогой и нежностью, сказала:

— Мне не нравится твоя улыбка. Мне кажется, за ней прячется что-то очень серьезное... Ты больше не доверяешь мне?

— Я доверяю только тебе и никому больше. Поэтому и пришла сегодня так рано, когда ты обычно не ждешь гостей. Уже очень давно я хочу рассказать тебе всю правду...

— Неужели случилось что-то дурное, и поэтому ты приходила ко мне так редко?

— Да.

— Я слушаю тебя, дорогая.

Молодая женщина снова попыталась заговорить, но на ее лице появилось выражение глубокого страдания, и она прошептала только:

— Не могу...

Смиренная монахиня окинула ее долгим взглядом и сказала с кроткой грустью:

— Понимаю: есть вещи, о которых никому не скажешь, даже родной сестре. Но почему бы тебе не открыться перед Господом?

— Да услышит ли Он меня?

Это было сказано с такой тоской, что монахиня, вздрогнув, спросила:

— Агнесса, не утратила ли ты веру?

И услышала робкий ответ:

— Сама не знаю...

— Пойдем скорее в часовню: ты должна исповедаться перед Создателем.

Вместе они преклонили колени и предались безмолвной молитве. Элизабет обращалась с мольбой к тому, чьей невестой стала после пострижения в монахини:

— Господи! Пусть моя сестра, единственное родное мне существо, обретет в этом мире такое же великое счастье, какое испытала я, когда мне дана была благодать пострижения.

Защити ее! Знаю, это по твоей воле нам ниспослана привязанность друг к другу, позволившая справиться с горечью утраты родителей еще в ранней юности. Господи, я возлюбила Тебя всей душой, но я люблю и Агнессу! Ты же знаешь, как я всякий раз жду, чтобы она ко мне пришла, знай же, что ей сейчас так нужно излить душу... Выслушай ее, Господи, будь милосерден к ней. И да будет на все воля Твоя!

Тем временем измученная душа Агнессы, казалось, слагает другую молитву:

— Господи, как клянусь я себя за то, что выбрала совсем другой путь, чем Элизабет, но ведь Ты создал меня совсем иной, не пригодной для полной тягот жизни среди стариков! Иисусе, Ты же сам предпочел смерть на кресте в молодые годы. Ты же знаешь, как ужасна старость. Ведь не бывает двух святых в одной семье. Мне так надо общаться с сестренкой, пусть редко и в этой приемной, даже если я не найду в себе мужества, чтобы открыться ей! Как я боюсь, что, несмотря на всю любовь ко мне, она осудит меня со всей суровостью, которой, возможно, я и не заслуживаю... Я не переживу, если потеряю ее — единственного друга в этом мире — и утрачу веру в Твое милосердие. Господи, только Ты знаешь всю правду и можешь быть мне высшим судьей. Пусть я грешница, но я не теряю надежду... Не Ты ли сказал: «Она многое любила, и ей многое прощено будет...»

Элизабет, бесшумно поднявшись с колен, тихо сказала сестре:

— Оставайся здесь, дорогая. Мне нужно вернуться в лазарет к старикам, у меня там еще много дел. Подожди здесь, это место очень располагает к раздумьям.

Она тихо вышла из святилища, оставив Агнессу наедине с ее мыслями. И та, задумавшись, испытала вдруг неожиданное озарение, почувствовала уколы совести и поняла, какое страшное сцепление событий за несколько лет довело ее до катастрофы.

Агнесса, как и Элизабет, всегда знала, что красива; для этого близнецам достаточно было посмотреть в зеркало. Но если Элизабет еще в ранней юности, в день своего первого причастия, приняла решение посвятить свою красоту Божественному Супругу, Агнессой, напротив, всегда владела одна мысль: нужно использовать внешность, чтобы как можно лучше устроить свою мирскую жизнь.

Агнесса была еще несовершеннолетней и не успела закончить школу, когда умерли ее родители, а сестра постриглась в монахини. Сирота поехала из провинции прямо в Париж, не имея другого багажа, кроме неопытности и девичьих мечтаний.

Прочитав в газете многообещающее объявление «Всего несколько уроков, и вы — манекенщица», она со смелостью, свойственной ее возрасту, тут же обратилась по указанному адресу. Стать манекенщицей в парижском доме моделей! Вот профессия, о которой можно только мечтать и которая позволит расцвести ее красоте. В конце концов, Агнессе не перед кем отчитываться в своих поступках, разве что перед нежно любящей ее Элизабет. А та сразу же одобрила это решение и сказала:

— Раз одна из нас ушла в монастырь, то, думаю, будет справедливо, если другая, напротив, попытается найти свое женское счастье. На средства, оставшиеся от родителей, мы не получили приличного образования. Теперь нам обеим надо потрудиться: тебе — чтобы стать независимой, а мне — чтобы заботиться о ближних. Красота никогда никому не вредила: ведь если ты так красива, значит, на то воля Господня. Почему бы не воспользоваться чудесным даром Всевышнего?

Закончив курсы манекенщиц, Агнесса поступила на работу в дом мод, куда ее сразу же приняли благодаря красивой внешности. Но, к несчастью, французская швейная

промышленность переживала тогда тяжелый кризис, как, впрочем, и другие отрасли, производящие предметы роскоши. Многие крупные дома моделей, известные во всем мире, вынужденно закрывали свои двери. Проработав два года и сохранив благоразумие, несмотря на заманчивые предложения вившихся вокруг нее бесчисленных ухажеров, Агнесса все еще оставалась в весьма ненадежном положении — «на подхвате».

Она ни за что не осмелилась бы признаться Элизабет, что лишилась места в известном доме моделей и работала лишь от случая к случаю, демонстрируя коллекции различных фирм, в основном второсортных.

Казалось бы, что позорного в том, чтобы оказаться «на подхвате»? Твой адрес и телефон заносят в несколько картотек, к которым обращаются небольшие дома моделей или ателье полуфабрикатов, когда нужны красивые девушки для показа коллекций. Иной раз контракт с тобой заключают только на тот день, когда демонстрируют модели одежды. Случается, манекенщиц «на подхвате» пошлют в провинцию или за границу, где они представляют великолепие французского вкуса и неподражаемой парижской моды.

Но манекенщица «на подхвате» не только показывает публике платья; гораздо больше она зарабатывает тем, что позирует для иллюстрированных еженедельников и журналов мод. Свое лицо и фигуру она продает по тарифу, утвержденному профсоюзом для рекламы какого-нибудь крема или элегантных дамских вещиц вроде туфелек, сумочек, косынок, шляпок, шарфов или мехов. И если молодой женщине трудно расплатиться за скромную квартиру или гостиничный номер, как не согласиться, чтобы твоя лучезарная улыбка, твои жемчужные зубы или роскошные волосы украсили какой-нибудь тюбик зубной пасты или флакончик шампуня. На что только не пойдешь, чтобы выжить.

Самое трудное в этой профессии — периоды затишья, когда фирмы сокращают ассигнования на рекламу. Манекенщицы, привыкшие к известному комфорту, больше всего боятся простоя и, чтобы свести концы с концами, выкручиваются, как могут, и пополняют подчас свой бюджет за счет поклонников.

Скромнице Агнессе удавалось обходиться без дополнительных заработков, пока она не встретила человека, которого теперь боялась больше всего на свете.

Как-то вечером она зашла с подругой, такой же, как и она, манекенщицей «на подхвате», выпить рюмку тоника в уютный бар на улице Понтье. Девушки очень устали, они весь день провели на ногах, работая на модельера с авеню Матиньон, готовившего к показу коллекцию весенней одежды. Ему понадобился дополнительный персонал для повседневной подгонки «на натуре». Вот и пришлось послужить этой «натурой». В баре кроме бармена находился всего один клиент, сидевший около стойки на высоком табурете. Подруга Агнессы знала его и представила их друг другу. А час спустя Жорж Вернье — так звали незнакомца — пригласил обеих в плавучий ресторан в Сен-Клу.

Жорж Вернье не был красавцем, но обладал неким природным шармом, который подкреплялся престижным и комфортабельным автомобилем американского производства. Он говорил, взвешивая каждое слово. Невольно Агнесса почувствовала, что он внушает ей уважение, какое обычно молодые женщины испытывают к мужчинам, значительно превосходящим их по возрасту, но отнюдь не кажущимся стариками. Чувствовалось, что Жорж уверен в себе, что это сильная натура.

Обед удался на славу. А остаток вечера они провели в ресторане «Вилла д'Эсте», где Жорж Вернье (подруга шепнула Агнессе, что он, кажется, бизнесмен) попеременно танцевал с каждой из своих очаровательных спутниц. Танцором он, надо сказать, оказался отменным.

В два часа ночи американский лимузин подвез Агнессу к двери дома на бульваре Курсель, где она занимала каморку, служившую прежде комнатой для прислуги, но обставленную ею со вкусом. Машина тут же уехала: Жорж повез домой Сюзанну, жившую на левом берегу Сены.

На следующий день подруги снова встретились у модельера на репетиции.

— Жорж в восторге от тебя! — заявила Сюзанна.

— Он этого совсем не показал вчера вечером...

— Знаешь, это такой сдержанный человек... Тебе он понравился?

— А чем он занимается?

— Я же тебе сказала — бизнесмен... Кажется, занимается импортом и экспортом... Во всяком случае, деньжата у него водятся.

— Вы давно знакомы?

— Порядочно!

— Наверное, Сюзанна, из него вышел бы вполне подходящий для тебя муж.

— Думаешь, Жорж из тех, кто женится? Ну, уж во всяком случае, не на мне! Мы приятели, не более того... Он хочет встретиться с тобой наедине. Когда мы вчера прощались, он очень прозрачно намекнул на это. И я почувствовала, что ему сейчас очень нужна подруга, и ты могла бы стать ею.

— Почему именно я?

— В тебе есть что-то такое, чего нет у других.

— Сюзанна, ты спятила.

— Нет, напротив, я говорю совершенно серьезно. Ты знаешь, я люблю тебя, как младшую сестренку.

— Но мне не нужна сестра!

— Сразу видно, что ты росла единственным ребенком, но ты слишком добра от природы и не можешь не страдать от одиночества. Просто пытаешься делать вид, будто это не так, и выдаешь себя за эгоистку.

Агнесса ничего не ответила: зачем рассказывать о существовании Элизабет Сюзанне, с которой она познакомилась всего несколько месяцев назад и встречалась лишь на работе? Ведь у близнецов свои секреты, не понятные другим. Не возникает ли между ними особая близость еще в то время, когда они вместе находятся в утробе матери?

А Сюзанна продолжала убеждать:

— Разве тебе не хочется встретиться с Жоржем наедине?

— Не знаю.

— Он свободный человек. Никогда не был женат.

— Зачем тебе нужно, чтобы я им заинтересовалась, если он вовсе не собирается жениться?

— Что за предрассудки? Неужели ты от них еще не избавилась? Тебе подавай законный брак немедленно, иначе ты не согласна?

— Мои убеждения запрещают мне поступать иначе.

— Убеждения! Какой от них прок? Из-за них ты совершенно одинока. Хотела бы я знать, чем ты занимаешься дома по вечерам?

— Читаю, слушаю радио, шью, убираю квартиру...

— Слушай, у тебя внешность роковой женщины, а в душе ты обычная мещаночка! Ты разочаровываешь меня, Агнесса! Я считала тебя более развитой... Неужели во время этих

увлекательных занятий у тебя никогда не возникает страстного желания куда-нибудь пойти, развлечься, потанцевать, как вчера, почувствовать, что тебя жаждут мужчины, захотеть, в конце концов, просто пожить?

Агнесса снова ничего не ответила. Решив, что ее слова посеяли сомнения, подруга продолжала настаивать:

— Неужели тебе не хочется встретить друга, узнать, что такое мужчина?

— Замолчи же!

— Что бы ты ни говорила про свои так называемые убеждения, тебе этого захочется, как и всем другим девушкам. И когда это случится, ты станешь счастливейшей из женщин! И будешь тогда упрекать себя за то, что так долго ждала! Может, ты намерена оставаться старой девой или уйти в монастырь?

— Прощу тебя, замолчи!

— погоди, у меня еще один вопрос... Смотри мне прямо в глаза и отвечай: у тебя уже был любовник? Да или нет?

Агнесса без тени смущения посмотрела в глаза собеседнице, но ее взгляд оставался непроницаемым. На лице нельзя было прочесть ни выражения тайного торжества, ни сожаления.

Растерявшись, Сюзанна вымолвила:

— Ты, должно быть, думаешь, что я лезу не в свои дела, но мне хочется помочь тебе выбраться из дурацкой тюрьмы, в которую ты сама себя заточила неизвестно с какой стати! Я вовсе не жалею, что согласилась передать тебе, как сильно Жоржу хочется снова с тобой встретиться. И мне будет жаль, если ты не согласишься. Он просил меня сказать, что специально придет сегодня в семь вечера в тот же маленький симпатичный бар, где мы были вчера. И еще добавил, что, если тебе это доставит удовольствие и у тебя нет других планов, он будет очень рад пригласить тебя пообедать вместе. Мое дело передать — решай сама! Если даже ты примешь приглашение, этот вечер ни к чему тебя не обяжет. Во всяком случае, ты приобретешь надежного друга, который будет тебе полезен. Я давно его знаю, и поверь мне: у него большие связи и множество знакомых. Может, он подыщет тебе постоянную и хорошо оплачиваемую работу.

— Не понимаю, почему бы тебе самой не воспользоваться его связями? Зачем тебе заниматься мною?

— На это, милочка, есть две причины: во-первых, я не такая эгоистка, как ты, а во-вторых, скоро мы расстанемся. Я бросаю эту работу! Хватит с меня!

— А чем же ты будешь заниматься?

— Да ничем: я нашла парня, который меня любит.

— Ты счастлива?

— Очень!

— И вы поженитесь?

— Теперь ты становишься излишне любопытной. Между прочим, я вовсе не так уж тороплюсь выйти замуж, как ты. Замужество — это чересчур опасная лотерея. Может, если мы подойдем друг дружке, я и подумаю о законном браке. Но к чему торопиться! Со временем ты и сама станешь думать так же. Ты все-таки подумай о сегодняшнем вечере...

— Хорошо...

Видимо, решение Агнессы оказалось благоприятным для солидного бизнесмена, так как в семь часов она вошла в бар, где он поджидал ее, сидя на том же месте у стойки и не сводя

глаз с входной двери.

Агнессе трудно было объяснить себе, почему она сделала этот шаг. Может, она изнемогала от одиночества... У нее было только одно-единственное любимое существо — сестра-монахиня, с которой они виделись очень редко, ведь их разделял суровый устав монастыря. А может, слова Сюзанны: «Неужели тебе не хочется встретить друга, узнать, что такое мужчина?» — оказались созвучными каким-то скрытым пружинам ее души? А может, ее просто потянуло к этому вроде бы и не особенно привлекательному сорокалетнему господину, как пестрокрылую бабочку, которая не может не виться вокруг горящей лампочки и непременно опалит себе крылышки?

Придя на встречу с тем, кто пока оставался для нее незнакомцем, Агнесса и думать забыла об усталости, вызванной нескончаемыми примерками в доме моделей. Как будто она и не провела долгих часов в примерочной, меняя платье за платьем, то застывая в них неподвижно, то бесконечно прохаживаясь, совершенно безразличная к их фасону и цвету. Такого с ней никогда не случалось с тех пор, как она стала манекенщицей. Впервые работа казалась скучной, даже отвратительной. Сюзанна все-таки права. Какая гнусная профессия, она не дает тебе никаких перспектив. Все мысли этой девчонки с золотистыми локонами смешались, но все же их объединял некий воображаемый стержень — лицо и фигура Жоржа Вернье, чей образ (почему, она едва ли объяснила бы сама) неотступно преследовал ее.

Подобное событие впервые вторглось в монотонную жизнь Агнессы. Ей вдруг удалось преодолеть сдержанность, робость, даже недоверчивость. Случись Элизабет присутствовать при этом внешнем преображении, она пришла бы в восторг. Не она ли сама без конца повторяла сестре:

— А есть у тебя хоть какие-нибудь друзья? Надо иметь друзей. Господь Бог не для того создал нас, чтобы мы все жили отшельниками! Я счастлива только среди людей. В этом большом доме нас шестьсот человек, стариков и монахинь. Видишь, я просто избалована общением! Поэтому монашество и приносит мне радость. А ты ведь так одинока!

И всякий раз Агнесса отвечала:

— Не волнуйся так из-за меня. Я же не могу дружить с кем попало.

И вот сейчас, не раздумывая, она остановила свой выбор на незнакомом ей человеке. Безусловно, Элизабет могла бы упрекнуть ее за это.

Второй вечер с Жоржем показался ей очень коротким, хотя они допоздна засиделись в погребке Сен-Жармен-де-Пре, разговаривая обо всем и ни о чем, и каждый главным образом старался дать понять другому, что уже не может обходиться без его общества.

На рассвете, уже в своей комнате, Агнесса почувствовала, что опьянела от всего этого — от танцев, мечтаний, радости. Не хотелось искать каких-то оправданий. Все казалось естественным и справедливым. Когда, прощаясь, мужчина обнял ее, голова закружилась и ее бросило в жар; никогда ничего подобного с ней не бывало. Она не осмеливалась признаться себе в этом, но совершенно твердо знала, что очень скоро будет принадлежать ему. У нее не хватит мужества сопротивляться. В одну ночь рухнули все суровые принципы, которым она неуклонно следовала в течение многих лет.

Она вдруг поняла, что ее женская судьба в том, чтобы жить рядом с этим человеком. Ее не смутило даже то, что он ни слова не сказал о женитьбе. К чему какая-то церемония, освящающая их союз? Хотелось лишь близости с Жоржем. Он очень ясно дал понять, как сильно желает ее, но ничего не обещал взамен. Может, именно это и привлекло Агнессу: ведь ей, манекенщице, довелось слышать столько обещаний от мужчин, суливших золотые

горы, если она станет их любовницей; вот почему ее безотчетно тянуло к незнакомцу, обходившемуся без красивых слов, но казавшемуся таким искренним. Так восприняла она Жоржа.

Неужели пришла любовь? Ей казалось, что это так, хотя в действительности она принимала за любовь простое влечение. Агнессой владела неосознанная потребность принадлежать мужчине.

Он заехал за ней в половине седьмого, когда персонал дома моделей расходится по домам. Почти с ребяческой гордостью она уселась рядом с ним в машине, провожаемая удивленными или завистливыми взглядами других манекенщиц. Одна Сюзанна сочла все это совершенно естественным и бросила им вслед с улыбкой заговорщицы:

— Хорошего вечера!

Разве могла понять Сюзанна, что подруга испытывает сейчас нечто большее, чем просто увлечение? Агнесса была счастлива.

К концу обеда в маленьком модном ресторанчике на Иль-сен-Луи ей показалось, что именно сейчас совершенно необходимо признаться Жоржу:

— Мне кажется, мы могли бы быть счастливы вместе. Я знаю, вы человек опытный и уже поняли, что у меня еще не было мужчины. И вам, наверное, это кажется очень смешным.

— Напротив, это прекрасно. Вы будете принадлежать только мне... И сегодня же!

— Ах, Жорж, что вы говорите!

— Так должно быть.

В эту ночь Агнесса стала женщиной... Счастливой женщиной.

Что же составляет счастье женщины?

В тишине часовни Агнесса думала о том, совершила ли она грех, так легко поддавшись плотскому влечению. Ведь каждая женщина имеет право на любовь. Разве должна она отказываться от счастья, даже если оно вступает в противоречие с общепринятой моралью? Как часто женщины, не осмелившиеся нарушить некоторые условности, горько сожалели потом всю свою унылую и бесцветную жизнь.

Агнесса подняла голову, точно бросая вызов окружающему миру. Она увидела двух старушек, обитательниц женской половины дома престарелых, только что вошедших в церковь через главный алтарь. Одна из них держала в руках метелку из перьев и тряпку, а другая с трудом тащила стремянку.

Первую старушку Агнесса сразу же узнала, она встречалась с нею каждый раз, когда ходила в часовню вместе с Элизабет. Ее звали Фелиситэ, и она усердно прислуживала в ризнице, несмотря на свои семьдесят пять лет. Вторая, примерно такого же возраста, очевидно, вызвалась сегодня ей помогать: Фелиситэ громко давала ей советы, не обращая ни малейшего внимания на горевшую возле дарохранительницы лампочку, предупреждавшую о том, что там находятся святые дары. Еще меньше ее смущало присутствие незнакомки.

В самом деле, с какой стати Фелиситэ быть сегодня менее говорливой, чем обычно, изменив своим привычкам? Разве не чувствует она себя, как дома, в этой часовне? Разве не была для нее привычной окружающая обстановка: канделябры, вышитый покров алтаря, колокольчик служки, оставленный у третьей гранитной ступеньки, стол для причастия, кафедра резного дерева, строгие исповедальни? И слова, с которыми она обращалась к помощнице, звучали для нее совершенно естественно:

— Мадам Евдокия, покрепче держите стремянку, когда я буду вытирать пыль с

младенца Иисуса! Мать-настоятельница сказала мне вчера, что стыдно оставлять его под таким слоем пыли на руках Святой Девы! Я ей ответила, что не смогу как следует почистить его без стремянки! Я очень люблю нашего маленького Иисуса, но все-таки не хочется сломать себе ногу, наводя чистоту! Младенцу Иисусу это тоже ни к чему!

Мадам Евдокия собрала остатки сил, еще не покинувших ее в столь преклонные годы, и ухватилась за стремянку, по которой начала подниматься Фелиситэ.

Глядя на этих старых служительниц дома престарелых, Агнесса невольно подумала: а приходилось ли им когда-нибудь уступать плотским влечениям, задолго до того, как они стали ризничими у Сестер-благотворительниц, покинув этот враждебный к старости мир? Может быть, они когда-то были красивы? Узнали ли они радость любви? Не скрываются ли за их ребяческой безмятежностью горестные секреты, даже драмы, подобные той, какую переживала сейчас Агнесса?

Забыв о присутствии старушек, она снова погрузилась в размышления.

Удастся ли ей каким-то чудом избавиться от груза прошлого, преследовавшего ее днем и ночью? Неужели в ее возрасте можно говорить о прошлом? Увы, да!

За одну ночь Жорж стал для нее всем. Потекли недели, наполненные счастьем. Агнесса жила только для него. Плотские инстинкты овладели ею столь стремительно и бурно, что голова шла кругом. День за днем она все больше предавалась чувственным удовольствиям, ни на минуту не задумываясь над тем, кто же в действительности ее любовник.

Он был на двадцать лет старше, и эта разница в возрасте наделяла его неоспоримой властью, противиться которой казалось невозможным; она чувствовала, как полностью подчиняется чувственности и зрелому уму своего господина.

С самого начала их связи он настоял на том, чтобы она оставила работу манекенщицы, дал понять, тактично, но решительно, что достаточно богат, чтобы удовлетворять все ее потребности. Агнесса пыталась возражать:

— Милый, я не хочу быть на содержании! Я буду зарабатывать себе на жизнь. Ни за что на свете я не хочу быть тебе в тягость. Ведь я люблю тебя!

— Знаю...

Он всегда все знал. И обо всем догадывался. Она чувствовала, что от него ничего не скроешь. И все же один секрет продолжала хранить: она ни слова не сказала ему об Элизабет. Уже несколько раз чуть было не проговорила, что у нее есть сестра, но в последний момент какая-то сила сдерживала готовые сорваться с языка слова, хотя так хотелось быть с ним предельно искренней. Она сама не знала, почему, но подобное признание казалось святотатством. Жорж не верил в Бога и едва ли оценил бы величие духовного подвига смиренной служанки бедных. В жизни ему всегда сопутствовала удача, и несчастные старики вряд ли вызвали бы у него сочувствие. Агнесса предпочла сказать ему, что она сирота, что у нее нет родных. Казалось, он доволен: ведь она будет принадлежать только ему одному.

Молодая женщина продолжала тайком наведываться на авеню-дю-Мэн. Элизабет, которую всегда заботило благополучие сестры, однажды заметила:

— Мне кажется, ты так преобразилась в последнее время. Стала гораздо веселее. Ты довольна своим домом моделей?

— Очень довольна!

Зачем рассказывать, что она несколько недель назад бросила работу? Ведь тогда надо

открыть и причину, но как сообщить добропорядочной монахине, что у тебя есть любовник? Ведь Элизабет никогда бы не приняла другого мужчину в ее жизни, кроме мужа.

Итак, Агнесса скрывала главное от тех, кто был для нее всем в жизни: сестры и любовника. Она пыталась внушить себе, что однажды Жорж, казавшийся все более и более влюбленным в нее, скажет:

— В конце концов, мы оба свободны, любим друг друга. Почему бы нам не пожениться?

И этот день станет счастливейшим в жизни Агнессы: она сможет одновременно поведать Элизабет радостную новость о своей свадьбе и раскрыть Жоржу самый дорогой ей секрет — существование Элизабет.

Но неделя следовала за неделей, месяц — за месяцем, а любовник не проявлял ни малейшего желания что-то изменить. Их жизнь была какой-то странной. Иногда они проводили вечер вместе в маленькой комнатке под крышей, которую Агнесса оставила за собой по совету Жоржа:

— Сохрани ее, пока я не найду подходящей квартиры. По крайней мере, эта комната дарит иллюзию, что у нас есть свой уголок...

Сам Жорж вполне обходился без своего «уголка» и жил в гостинице. Агнесса удивлялась, но он успокоил ее:

— До нашей встречи я вел холостяцкую жизнь. Гостиница меня вполне устраивает. Там не надо ни о чем заботиться самому. Вести хозяйство — не дело для одинокого мужчины. Ты — моя первая женщина, с которой я не ищу приключений. Раньше я стремился лишь к очень коротким связям. Здравствуй, прощай — и скатертью дорога! Я сразу понял, что с тобой все получится по-другому, что ты не похожа на других, что это — надолго. Понимаешь?

— Да, милый.

— Поэтому я все время думаю, где нам жить дальше. Надо подыскать квартиру, но не так просто найти подходящую!

— Почему ты не хочешь, чтобы я навещала тебя иногда в гостинице?

— Лучше мне приходить сюда: здесь так мило.

— Да нет же, это бывшая комната прислуги! Совсем не дворец!

— Может, и так. Но ты сумела создать здесь уют. Получилось настоящее гнездышко для влюбленных.

— А других причин нет?

Он слегка помедлил с ответом, потом сказал:

— Я приводил к себе женщин, а иногда и просто шлюх, и проводил с ними ночь или несколько часов. Вряд ли ты хочешь, чтобы я обращался с тобой, как с ними. И потом, что подумает о тебе администратор или ночной консьерж, за кого они тебя примут?

— Мне абсолютно безразлично, что обо мне подумают! Я тебя люблю, и этого достаточно... А потом, можно ведь переехать в другую гостиницу?

— Я живу тут уже три года, мы свыклись друг с другом, гостиница и я!

Он разрешил Агнессе лишь одно: звонить в гостиницу и просить соединить ее с номером 24. Она пользовалась этим правом, ибо ей — как и всем, кто по-настоящему любит — казалось, что когда его нет рядом, то он ужасно далеко.

Звоня в гостиницу, она испытывала какое-то особое чувство удовлетворения, обращаясь к телефонистке со словами:

— Соедините меня с месье Вернье. Говорит его жена.

Поступая так, она следовала совету Жоржа:

— Когда будешь мне звонить, незачем сообщать свое имя. Это никого в гостинице не касается. Для меня гораздо важнее, чтобы тебя считали моей женой. Ни одна из женщин, которые звонили мне раньше, не пользовалась этим правом. Это приятно тебе?

Агнесса так быстро вошла в роль «жены», что стала считать, будто так оно и есть на самом деле.

Работа в домах моделей позволила Агнессе составить себе приличный гардероб, но мода меняется быстро, и с началом нового сезона она вполне могла бы сказать, подобно любой элегантной парижанке: «Мне опять нечего надеть!» У Агнессы было три причины, чтобы одеваться по последней моде: она была элегантна от природы, ей не хотелось, чтобы ее вид разочаровывал Элизабет и других милосердных сестер, а главное — нужно было по-прежнему нравиться Жоржу, привыкшему только к хорошо одетым женщинам. Разве его жена не должна одеваться лучше всех? Но Агнессе было трудно постоянно обновлять гардероб. Небольшие сбережения, которые удалось сделать, ежедневно в чем-то себе отказывая, в те годы, когда она жила одна, растаяли с обескураживающей быстротой.

Ей пришлось убедиться, что, несмотря на кажущееся блестящее финансовое положение, ее любовник не так уж щедр. Впрочем, щедрость вообще не была ему свойственна: он привык думать только о себе. Может, он эгоист? Нет, скорее, это получалось у него неосознанно... А может, скупердьяй? Едва ли, раз посещал вместе с подружкой шикарные рестораны и модные ночные клубы. Он тратил деньги не считая, когда расплачивался, вынимал из кармана толстые пачки ассигнаций, щедро давал на чай, как будто стремился прежде всего вызвать к себе уважение прислуги.

Но дальше этого его щедрость не шла: Агнессе самой приходилось оплачивать туалеты и нести все расходы, связанные со скромной квартиркой на бульваре Курсель. Жорж спал с Агнессой каждую ночь, но ему никогда не приходило в голову узнать, хватает ли ей денег. А ведь именно по его настоянию она бросила работу. Скоро положение Агнессы стало критическим. Но ни за что на свете она не призналась бы в этом своему любовнику: ей казалось, что мужчина перестает любить женщину, как только та становится обузой.

Жорж никогда ей ничего не дарил, даже самые простенькие цветочки. Агнессе даже в голову не приходило упрекать его или обижаться: чувственные наслаждения компенсировали все.

Однажды вечером он очень удивил ее, потому что, платя по счету в ночном клубе крупную сумму, вдруг заявил:

— Возьми остальное себе. Сегодня мне удалось повернуть очень удачное дельце.

И он сунул ей в сумочку пачку купюр. Она попыталась вернуть их:

— Милый, я не из тех женщин, которым платят.

— Знаю, ты любишь меня таким, каков я есть. Ты мне уже говорила об этом, и я тебе верю... Но разве нельзя, раз мне этого хочется, сделать тебе маленький подарок?

Вернувшись домой, она обнаружила, что он дал ей сто тысяч франков. Стыд уступил место другому, более приятному чувству... Жорж любит ее гораздо сильнее, чем можно предположить по его поведению, он любил ее по-настоящему, а не только в постели. И она мысленно упрекнула себя за то, что неверно судила о нем, недооценивала и, возможно, привязалась к нему скорее плотью, чем сердцем. И она стала стремиться к более возвышенной любви.

Две недели спустя он сунул ей в сумочку еще одну пачку ассигнаций, на этот раз двести

тысяч франков. Затем последовал и третий, почти такой же подарок: в сумме выходило примерно полмиллиона. Она не удержалась и сказала:

— Ты обращаешься со мной, как с дорогой проституткой.

— Тебе это не льстит?

— Нет...

— Ты не права, поверь мне! Каждая порядочная женщина мечтает в глубине души, чтобы ее хоть раз в жизни приняли за шлюху... Вот увидишь, со временем ты тоже перестанешь придерживаться столь строгих правил...

— Вряд ли. Во всяком случае, милый, я запрещаю тебе тратить на меня такие деньги.

— Удивительная ты девчонка, Агнесса... В наше время таких больше не встретишь. Ты нравишься мне все больше и больше...

Эти пятьсот тысяч франков позволили Агнессе с большим оптимизмом думать о пополнении гардероба. Особенно ее радовала деликатность любовника, который, не задавая лишних вопросов, сам догадался о ее денежных затруднениях. И все же она чувствовала себя неловко.

— Послушай, милый, — спросила она, — как же я смогу вернуть тебе все эти деньги?

— Неужели ты всерьез собираешься их возвращать? Я же сказал, что это подарок... Если когда-нибудь разбогатеешь, ответишь мне тем же, вот и все!

— Почему ты настаиваешь на том, чтобы я бездельничала? Можно вконец разлениться, если заниматься только любовью!

— Но именно это мне и нравится!

— Если бы я работала, то могла бы не только сама себя содержать, но и помогла бы тебе собрать деньги на квартиру.

— Нет, не хочу больше и слышать о том, чтобы ты работала манекенщицей. Это не профессия. Во всяком случае, для меня. Столько работать, так уставать — и все за мизерную плату. Если уж действительно когда-нибудь надо будет подработать, то позволь мне хотя бы подыскать тебе какое-нибудь более прибыльное занятие. Положись на мой здравый смысл, доверься мне.

Прошло еще несколько месяцев. Подарки прекратились.

Почти каждый вечер они куда-нибудь ходили и стали завсегдатаями заведений, где собираются люди из различных слоев общества, стремящиеся потанцевать, посидеть за бутылкой вина, а главное — желающие показать себя.

— Заметила, какой ты имеешь успех? — спросил он однажды вечером. — Все мужчины рассматривают тебя, все женщины завидуют тебе...

— Это из-за тебя, милый...

В тот вечер Агнесса заметила, что Жорж, который раньше всегда расплачивался наличными, впервые не сделал этого, а, расписавшись на счете, поданном метрдотелем, сказал:

— Вы меня хорошо знаете, я давно у вас бываю. Скажите хозяину, что я расплачусь в другой раз.

На следующий день та же сцена повторилась в ресторане, где они обедали, а затем вечером в клубе.

Так продолжалось всю неделю: Жорж расписывался на счетах, и каждый раз в новом месте. Могло показаться, будто, оставив свою подпись на счете какого-нибудь ресторана, он избегал снова там появляться. Агнесса стала ощущать некоторую неловкость, но Жорж

всегда держался так уверенно, что она не осмелилась ничего сказать. Раз он так поступает, значит, на то есть свои причины.

Но она чувствовала, что его что-то гнетет. Во время их последних встреч он говорил меньше обычного, и в их отношениях возникла какая-то натянутость, не исчезающая, несмотря на все ее усилия казаться веселой и счастливой. Проводив ее на бульвар Курсель, он теперь сразу же уходил, словно она ему уже надоела. Казалось, он совершенно охладел и не жаждет очутиться с нею в одной постели. И это после стольких недель непрерывных ласк, к которым она привыкла и без которых больше не могла обойтись! Если он и оставался на ночь, то угрюмо поворачивался на другой бок и засыпал. А она, внезапно лишенная плотских радостей, грустно наблюдала за своим мучителем. В конце концов, не выдержав, в полном отчаянии, не в состоянии дальше мириться с его загадочным равнодушием, она спросила:

— Я тебе надоела?

— Дело вовсе не в этом.

— А в чем?

— Тебе непременно хочется узнать?

— Разве не ты столько раз сам говорил мне, что я твоя жена? Я хочу делить с тобой не только радости, но и горести. У тебя плохо идут дела?

— Да, весьма...

— Чем я могу помочь?

— А ты и в самом деле хочешь помочь?

— Я готова на все, лишь бы ты любил меня по-прежнему. Сам видишь, я буквально с ума схожу из-за того, что ты меня больше не хочешь.

— В последнее время у меня все не ладится. Из-за того, что сняли таможенные барьеры, импортно-экспортные операции потеряли свое значение. Короче, мне крышка.

— Крышка?

— Да, я разорен.

— Но разве не будет еще страшнее, если мы потеряем друг друга?

— Рай с милой, даже в такой уютной комнатке, как твоя, — это в наше время уже не звучит. Ты прекрасно знаешь — я не романтик. Я человек, привыкший прочно стоять на ногах, и могу думать о любви только когда спокоен. Нам нужны деньги, и как можно быстрее! Иначе меня ждут крупные неприятности... У меня долги...

— Если бы только я могла вернуть те деньги, которые ты мне дал! Но я все потратила, чтобы быть элегантной и продолжать тебе нравиться.

— Ты могла бы легко вернуть их.

— Но как?

— Если сделаешь, как я скажу, мы очень быстро выйдем из тупика, и я смогу начать сначала... Слушай! У тебя есть все, что нужно: ты прекрасно одета, элегантна и можешь нравиться не только мне, но и другим... Многие из женщин помогают своим мужьям в трудную минуту, почти все умные женщины так поступают. Самое главное — не брать на себя слишком больших обязательств. Например, если бы ты пошкарней оделась завтра, я мог бы познакомить тебя с человеком, с которым у меня деловые отношения. Он необыкновенно богат, ценит меня и может занять денег, а я бы основал новое дело.

— Какое?

— Открыл бы закусочную. На них сейчас большой спрос. Там всегда полно народа. Мы могли бы вести это дело вдвоем. Работали бы вместе весь день. Хочешь?

— Конечно!

— Есть только одна загвоздка: у этого бизнесмена сейчас другое на уме. Вот бы тебе удалось привлечь его внимание к нам, хоть на какое-то время, хоть до тех пор, пока он не подпишет контракт и не сделает первого взноса! Поверь, тебе это не будет ничего стоить! Он очень быстро поддастся твоему влиянию. Конечно, слишком далеко заходить не надо... Ты можешь дать ему дельные советы... Например, скажешь: «На вашем месте я бы не сомневалась и предоставила кредит Жоржу Вернье... Это прекрасный парень, у него деловая хватка». И если заговоришь с ним об этом, когда почувствуешь, что его волнует твоя близость, он сделает по-твоему...

— Но ведь то, о чем ты просишь, нечестно!

— Нечестно? Но ему все равно надо где-то разместить капитал. Так делают все, у кого завелись лишние монеты. Разве нечестно посоветовать ему вложить деньги в предприятие, основанное твоим мужем? Неужели я похож на мошенника?

— Нет, милый... Но если он в меня влюбится?

— Наверняка влюбится, уверен! Ты ведь очень хорошенькая... Пускай влюбится. Так и нужно. Даже совершенно необходимо! Тогда мы с тобой добьемся от него всего, чего пожелаем.

Она испуганно посмотрела на него:

— Ты не предлагаешь мне стать его любовницей?

— Я же говорил, что ты всегда будешь только моею! Просто сходишь с ним куда-нибудь раз-другой, вместе позавтракаете или пообедаете, потанцуете в клубе... Но лучше держаться подальше от тех мест, где нас с тобой видели вместе.

— Он удивится, что ты мне позволяешь встречаться с ним наедине.

— Нет... Откуда ему знать, что мы живем вместе?

Тут она застыла, как ошарашенная, и потеряла дар речи. А он, делая вид, будто ничего не замечает, продолжал:

— Если бы он знал, что ты моя жена, то держался бы настороже. Завтра я вас познакомлю. Пусть считает, что ты просто моя знакомая, одна из многих красоток, которых я знаю.

— Ты публично отречешься от нашей любви?

— Конечно же нет, милая моя Агнесса, я ни от чего не отрекусь. Просто наша связь — это наше личное дело. И вот еще что: мы должны появиться порознь на месте встречи. Мне кажется, подойдет ресторан «Фуке»: там характерный парижский колорит и к тому же всегда столпотворение. Договорюсь с ним на пять часов, чтобы обсудить мое дело. А ты придешь к шести, роскошно одетая, и поищешь место по соседству. Я тебя узнаю, встану, поздороваюсь и представлю тебя месье Даме — так его зовут. В это время, уверен, свободных столиков не будет, и я тебе предложу место за нашим. Ты согласишься. По счастливой случайности окажется, что в этот вечер тебе никто не назначил свидания, что ты свободная женщина! Я ему скажу, что ты манекенщица. На таких людей, как Даме, слово «манекенщица» действует магически. Мы поговорим минут десять, я взгляну на часы и вспомню в ужасе, что должен мчаться по делам на другой конец Парижа! Прежде чем проститься, я, как принято, расплачусь по счету и оставлю вас наедине. Этот тип придет в восторг, он пригласит тебя пообедать, для виду ты несколько секунд помедлишь, потом согласишься. После вы отправитесь в какой-нибудь клуб.

— А дальше?

— Дальше? Он проводит тебя — у него прекрасная машина, вы расстанетесь здесь, у двери, ты намекаешь, что живешь одна и что ты женщина строгих правил. Поскольку он будет знать твой адрес, то, как человек благовоспитанный, думаю, послезавтра пришлет букет цветов, а затем позвонит и предложит снова пообедать с ним вечером.

— И что мне ответить?

— Разумеется, что согласна.

— А ты, где будешь вечером ты?

— Буду ждать тебя здесь, почитаю какой-нибудь детектив.

— И давно ты обдумываешь это дело?

— Довольно давно.

— А разве нельзя обойтись без моей помощи?

— Даме тертый калач. Только хорошенькая женщина может его обезоружить. Так пусть же это сделает моя жена, моя верная помощница.

Она немного помолчала, а потом спросила:

— Сколько же времени мне придется провести с ним?

— Ну, не знаю... Это не так важно, ведь я буду ждать тебя здесь... Не показывай, что спешишь уйти!

— А сколько ему лет?

— Выходит, тебя и это интересует? Так знай же: ему примерно столько же, сколько и мне, и он недурен собой. Он не вульгарен, и с ним интересно поговорить. У него прекрасная квартира на улице Фош, что говорит само за себя. Я был там дважды: она обставлена со вкусом. Если вы подружитесь и он как-нибудь пригласит тебя к себе, не отказывайся! Охотно соглашайся: ведь ты любишь разглядывать красивые вещи.

— Милый, а не опасно то, о чем ты меня просишь?

— Между прочим, я ни о чем не прошу. Просто я предложил способ, как нам обоим выйти из затруднительного положения. А что здесь опасного?

— А если он узнает, например, что мы живем вместе?

— Не может такого быть. Ему известно, что я живу в гостинице, он знает мой адрес... видишь, как иногда полезно иметь две квартиры!

— Да, вижу...

Агнесса рассеянно смотрела на него, а он тем временем объяснял во всех подробностях, как нужно вести себя в первый вечер в обществе богача. Оказывается, Жорж все предусмотрел, все рассчитал... Она слушала, не слыша, и, пока он забрасывал ее советами, пыталась убедить себя, что ничего страшного не происходит: «В конце концов, моя роль ограничится несколькими безобидными встречами с незнакомым человеком... Чего стоит мне постараться? Может, удастся избавить Жоржа от финансовых затруднений; и в постели с ним будет так же хорошо, как прежде. Я должна помочь ему, как он помог мне. Иначе я буду достойна лишь презрения».

Но ни на мгновение ей не пришла в голову простая мысль: «Раз он предлагает подобное, значит, не любит. Его влечет ко мне, как и меня к нему, и только. И кроме совокупления ничего нам не нужно». Она сама еще не поняла, что побеждена, что ее плоть не может уже обходиться без его ласк.

Когда Жорж замолчал, она сказала, пытаясь улыбкой замаскировать смущение:

— Я все поняла, милый... Завтра в шесть часов я приду в ресторан «Фуке».

Встреча произошла именно так, как планировал Жорж. А через полчаса после

знакомства Агнесса и Даме остались вдвоем...

Когда Агнесса вернулась домой, Жорж лежал в постели, погруженный в чтение детектива. Он взглянул на часы:

— Три часа ночи, — сказал он. — Ты не слишком скучала? — а затем нежно добавил: — Здравствуй, милая...

Внимательно взглянув на нее, он сразу заметил, что, хотя еще и не произошло то, чего он ожидал, выражение лица молодой женщины явно изменилось, она казалась очень печальной. Не в состоянии вымолвить ни слова, со слезами на глазах, она долго смотрела на него, потом упала на колени возле постели и взмолилась:

— Не требуй, чтобы я опять с ним встречалась! Знаешь, на чем он настаивал? Чтобы мы пошли в дом свиданий и я переспала с ним! Какой ужас! За кого он меня принимает?

— Все ясно. Он втюрился в тебя и совсем потерял голову. Но ведь ты же отказалась? Тогда почему ты плачешь?

— Я его боюсь.

— Боишься? Но ведь он абсолютно безобиден и обаятелен...

— Как бы не так! Он так старался убедить меня... По-моему, он готов на все, лишь бы заполучить меня!

— Короче, от него можно многого добиться! — заключил Жорж. — Говорила с ним обо мне?

— В самом начале, как только ты ушел, я сказала, что ты ищешь кредитора, потому что хочешь основать свое дело, и тебя стоит поддержать. Но слишком настаивать не посмела — боялась, как бы он чего не заподозрил. Он ужасно недоверчивый.

— Правильно сделала. Завтра снова вернешь что-нибудь обо мне...

— Завтра?

— Он ведь назначил свидание?

— Да...

— В котором часу?

— Днем... В три часа...

— Где?

— В «Фуке»...

— Опять? Видно, вошел во вкус!

— Ни за что не пойду!

— Никто тебя не заставляет идти, милая. Поступай, как знаешь. Но если ты с ним больше не встретишься, мне на него рассчитывать не придется.

— Но, милый, он мне не нравится!

— Хватит говорить о нем. Поставим на этом точку. А жаль! Он мог бы спасти нас... Придется поискать что-то другое, а пока просто не представляю себе, что с нами будет.

— Найдешь другого компаньона!

— Да, но такого, как он, найти не так просто! Кстати, я не успел сказать вчера: мне пришлось продать машину, чтобы расплатиться с частью долгов и успокоить кредиторов. Я продал ее невыгодно. Так всегда бывает, когда спешишь: покупатель пользуется случаем!

— У тебя больше нет машины?

— Нет!

— Бедненький! Как тебе ее будет не хватать!

— Придется, видно, привыкать ходить пешком или ездить в метро...

— Я не согласна! Ты прекрасно смотришься за рулем американского лимузина! И он мне так нравился! Сколько всего с ним связано! Помнишь, там ты меня поцеловал первый раз...

— Давай не будем ворошить прошлое!

— Клянусь, я устрою так, чтобы ты купил новую машину!

— В самом деле? А как?

— Сама не знаю.

— Есть только один выход: добиться кредита от Даме. Но забудем об этом! А теперь раздевайся скорее, малышка! Я тебя жду!

В эту ночь он любил ее, как никогда раньше. Обессиленная, удовлетворенная, счастливая, она прошептала, засыпая:

— Ты прав, милый... Нужно завтра сходить в «Фуке»...

— Спи... Мы так счастливы вместе!

На следующий день она вернулась только к девяти часам вечера.

Он встретил ее словами:

— Как раз прочитал детектив. Прекрасная книжка! Ты непременно должна ее прочесть!

Говоря это, он наблюдал за ней: она выглядела усталой и, рухнув в кресло, попросила:

— Дай мне сигарету...

Он дал ей прикурить, сказав нарочито безразлично:

— Надеюсь, он вел себя прилично?

Она ответила нерешительно, слегка поколебавшись:

— Да...

— Говорила с ним о моих планах?

— Да, подробно. Похоже, он поможет тебе при одном условии.

— Каком же?

— Если я стану его любовницей...

— Это еще почему? Не понимаю... Не понимаю, почему он ставит подобное условие, ведь он же не знает, что мы любовники.

— Я виновата, милый... Ведь я почти ничего не знаю о твоём деле, поэтому стала расхваливать тебя... Старалась убедить его, говорила о твоих достоинствах... Вдруг он перебил меня и сказал: «Мне кажется, вы живо интересуетесь этим молодым человеком. Уж не влюблены ли вы в него?» С этого момента его поведение резко изменилось. Он дал понять, что ты ему симпатичен, но этого недостаточно, чтобы предоставить кредит, ведь он плохо тебя знает... «Но, конечно, — добавил он, — если такая женщина, как вы, настаивает, чтобы я финансировал этого Жоржа Вернье, я не могу не прислушаться к ее просьбам, при условии, что она отнесется с пониманием ко мне...»

— Гнусный тип! Ему, видите ли, мало два дня подряд встречаться с такой изумительной женщиной, как ты! Ему все подавай, все!.. Ну уж нет, он ничего не получит, потому что в третий раз ты с ним встречаться не станешь — с этим покончено!

— Милый, знаю, я вела себя глупо...

— Глупо? Напротив, ты сделала все, что могла, чтобы помочь мне!

— Не сердись на меня?

— С какой стати сердиться? Я зол на этого хама... Мужчины отвратительны: когда у

них есть деньги, они воображают, будто все дозволено! Знаешь, мы не первые страдающие от безденежья супруги, оказывающиеся перед подобным выбором: или жена приносит себя в жертву с согласия мужа, который закрывает на это глаза, и тогда они выходят из положения, или же они не хотят нарушать супружеской верности, и тогда остаются на мели...

— Но как же нам жить?

— Чего не знаю, того не знаю...

Тут она заметила два чемодана, плохо спрятанные за занавеской гардеробной.

— Что это за вещи?

— Все, что у меня осталось! — ответил он, скривившись. — Это мои личные вещи, которые удалось спасти, — несколько костюмов и белье. Остальное пришлось оставить в гостинице до тех пор, пока не расплачусь.

— Бедненький мой, вот до чего дошло!

— Я хотел скрыть это от тебя, но испугался упреков. Представлял себе, как ты скажешь: «Тебя выставили из гостиницы, потому что у тебя нет денег? Тогда переезжай ко мне, Жорж!» «Ко мне», — разве это давно уже не означает «к нам»? Я предпочел переехать сам, не ожидая, пока ты это предложишь. Я ведь правильно сделал, правда? Мы больше не расстанемся, всегда будем вместе, как настоящие муж и жена. Ты ведь этого хотела?

— Да...

— Если только, конечно, мне не придется уехать...

— Уехать? Куда?

— За границу, чтобы попытаться поправить свое положение... Во Франции так мало возможностей для этого!

— Возьмешь меня с собой?

— Едва ли получится, во всяком случае, сразу. Может быть, года через три-четыре, когда я снова обрету финансовую независимость, ты сможешь ко мне приехать.

— Через три-четыре года? И не заикайся об этом! Представь себе, как я тут буду жить одна, без тебя? Это невозможно!

Ее потрясло предположение, что они могут расстаться. Она посмотрела на него с тревогой...

— Почему ты так на меня смотришь? — спросил он.

— Я готова на все, лишь бы не потерять тебя!

— Не говори глупостей, милая... Завтра же утром я встречу с одним приятелем, вернее, с моим настоящим другом. Он обещал мне место на предприятии, которое собирается открыть в Камеруне.

— Нет, Жорж, не делай этого!

— Милая Агнесса...

На следующее утро он вышел из дому очень рано, хотя обычно почти никогда не вставал с постели до полудня. Уходя, он сказал:

— Буду поздно.

Пришел он лишь к полуночи. Она ждала его уже несколько часов. В какой-то момент ее охватил непередаваемый страх, потому что она подумала: а вдруг он больше не вернется. Медленно текли минуты ожидания. Агнесса впала в отчаяние; она знала, что больше не может обойтись без мужчины, занявшего столько места в ее женской жизни. Любовь дала выход присущей ей от природы чувственности, так долго подавляемой ради принятых норм морали. Агнесса знала, что не проживет без постоянных любовных утех. Ей нужны ласки

Жоржа, нужно чувствовать, что он рядом, прикасаться к его коже. Она нуждалась в мужчине, в любовнике...

Когда он открыл дверь, она бросилась, дрожа, в его объятия и закричала:

— Ты! Наконец!

И добавила почти беззвучно:

— Я так боялась, что ты не вернешься...

— Признаюсь, я думал об этом... Но я слишком сильно люблю тебя.

Он пылко обнял ее.

Она заметила, что его лицо выглядит понурым. Что это? Усталость? Отчаяние?

— Присядь, — сказала она. — Выпей немного виски, тебе станет легче.

Пока он пил, она опустилась у его ног, положив голову ему на колени, как рабыня, влюбленная в своего хозяина.

— Расскажи, как ты провел день.

— Да это просто катастрофа! Знаешь, оказывается, я слишком стар для Камеруна.

В изумлении она подняла голову:

— Ты? Слишком стар?

— Представь, там требуется человек не старше тридцати пяти лет...

Придя в себя от изумления, она улыбнулась:

— Тем лучше! Ты останешься со мной!

— Без единого франка в кармане?

— Мы будем богаты! Я все обдумала, пока ждала тебя... Помнишь, я рассказывала о своей подруге Клод?

— Не припоминаю.

— Да вспомни же! Я говорила, что, когда была манекенщицей, первый год работала вместе с ней.

— Может быть... Ну и что?

— Представляешь, несколько дней назад я рассматривала журнал мод и совершенно случайно узнала, что она открыла новый дом моделей... Хочу сходить к ней завтра же!

— Опять ты за свое!

— Да нет же, милый, я не буду больше манекенщицей. Я знаю, как тебе не нравится, что я занимаюсь такой работой. И мне самой она разонравилась. Но я могла бы заняться продажей одежды. У меня достаточно опыта. Почему бы не попробовать!

— Это совсем другое дело. Но, по-моему, ты заблуждаешься, если думаешь, что твоя подруга ждет тебя. Наверняка десятки знакомых девушек обратились к ней раньше!

— Кто знает? Мы очень дружили. Зайду к ней завтра же.

— В моем положении я не имею права возражать.

На следующий вечер она вернулась домой сияющая:

— Все в порядке, милый! Я виделась с Клод. Она очень обрадовалась и сказала, что само небо послало меня ей. Клод как раз нужна помощница, она просто задыхается от работы. Ее дом моделей процветает. И знаешь почему? Она достаточно умна, чтобы назначать не слишком высокие цены. Начинаю работать завтра же, в десять утра, и буду свободна к семи часам каждый вечер, а еще по субботам и по праздникам. О таком можно только мечтать!

— Она сказала, какое жалованье ты будешь получать?

— Для начала у меня будет не очень высокая ставка, но вполне приличная: восемьдесят

тысяч франков в месяц. И еще надбавка за количество проданного товара. Она сказала, что, если я буду хорошо работать, мой заработок запросто достигнет двухсот тысяч, а в разгар сезона, осенью и весной, если я очень постараюсь, то смогу заработать до четырехсот тысяч... Представляешь! Четыреста тысяч франков в месяц! Мы спасены! Если ты найдешь место, где будешь получать столько же, мы разбогатеем!

Он взглянул на нее: выражение его лица было странным, губы скривила гримаса.

— Выходит, тебе страшно повезло?

Она кивнула и смущенно улыбнулась:

— Иногда такое случается!

— Ну что же, — пожал он плечами, — воспользуемся случаем, раз он представился. А как называется дом моделей твоей подруги?

— По ее имени: дом моделей Клод Верман.

— Не больно-то известное имя!

— Можешь не беспокоиться, оно станет известным!

— Короче, нам остается только пожелать удачи фирме Клод Берман.

— Вот именно!

— А чем ты будешь там заниматься?

— Буду принимать клиентуру.

— Начинаю верить, милая, что у тебя получится.

Прошел месяц, и Агнесса принесла сто восемьдесят тысяч франков.

— Это еще только начало, — охотно объяснила она. — В следующем месяце заработаю куда больше. Мой заработок будет увеличиваться по мере того, как я расширю клиентуру... Тебе нравится это платье?

Он довольно улыбнулся.

— Оно прелестное...

— Изделие фирмы Клод...

— А почему нет фирменного знака? — спросил он, всем своим видом показывая, что хочет подразнить ее, хотя ни в чем не сомневается.

— Потому что я приобрела его по знакомству! Вот увидишь, я буду великолепно одеваться, и это не отразится на нашем бюджете. И смогу отдавать тебе все, что заработаю.

— Но к чему мне столько, детка!

— Надо поскорее расплатиться с долгами. Скажи честно, сколько ты еще должен?

— Около миллиона.

— Ничего, все выплатим. А потом подумаем и о машине.

— Правда, дорогая?

— Жорж, она тебе просто необходима. Тогда ты скорее устроишься на работу. Видел объявления? Очень часто требуются работники, имеющие машину.

Прогноз Агнессы оправдался. В конце второго месяца она положила на столик своей мансарды триста тысяч франков, в конце четвертого — четыреста, и дальше ее заработки оставались на том же уровне. Проработав четыре месяца, она спросила своего любовника:

— Наверное, ты уже расплатился с долгами?

— Да, почти...

— Теперь можно откладывать на машину. Сколько примерно стоит кабриолет с откидным верхом, вроде того, что был у тебя раньше?

— Смотря какой: новый или подержанный?

— Конечно, новый!

— Но, милая, у тебя мания величия!

— Нет. Просто я считаю, что ничего не жалко для любимого человека.

— Ты меня все больше удивляешь!

— Представь себе, это только начало! Скажи же: сколько стоит новая американская модель с откидным верхом?

— Лучше всего, конечно, купить новый «шевроле». Видела, какой он красивый? Но стоит ужасно дорого: около двух с половиной миллионов.

Казалось, Агнессу не слишком поразила цена, и она просто спросила:

— Надо заплатить всю сумму сразу?

— Это делается так: заказывая, вносишь задаток, второй взнос делаешь в день поставки, а остальное выплачиваешь в форме месячных взносов или оформляешь на эту сумму вексель.

— А не опасно связываться с векселем?

— Ничего опасного, если, разумеется, можешь его оплатить, когда его тебе предъявят. К сожалению, в своем нынешнем положении я не могу так рисковать в одиночку... кто-то должен выступить в роли гаранта.

— А что это значит?

— Поручитель гарантирует, что, если я не смогу сделать очередной взнос, он внесет его вместо меня.

— А я могу стать гарантом?

— Конечно, можешь. Только вот не хочется впутывать тебя в это дело.

— Да ведь я же твоя жена?

— Так-то оно так, да...

— Решено, завтра же вносим задаток. Пятисот тысяч хватит?

— С лихвой!

Он взглянул на нее чуть удивленно, насмешливо и с некоторым сомнением, а затем спросил:

— А где же ты взяла еще и эти деньги? Печатаешь их, что ли?

— Нет, просто маленький сюрприз, который я приготовила для тебя... На прошлой неделе удалось заключить очень удачную сделку с иностранной фирмой, и я получила комиссионные... Завтра же, милый, закажем машину. Схожу вместе с тобой, чтобы выбрать цвет. Ты не против, если машина будет небесно-голубой?

— Такая очень подойдет к твоим светлым волосам.

— А долго придется ждать выполнения заказа?

— Вряд ли: не так уж много покупателей, готовых столько выложить!

Через десять дней, в субботу, они отпраздновали покупку «шевроле» поездкой на выходные в Туке. Стояла прекрасная погода. На Агнесе был светлый костюм, гармонично сочетавшийся с цветом машины. То был лучший день в ее жизни. Ничто не омрачило его, кроме, разве что, замечания, сделанного Жоржем по дороге в Париж.

— Моя милая Агнесса, мне очень неловко...

— В такой-то день? Что с тобой приключилось?

— Вот уже несколько месяцев ты работаешь и содержишь нас обоих. Для человека моего склада это унижительное положение. Мне кажется, те, кто наблюдает за нами, должны Бог знает что думать!

— Они ничего не могут думать, милый, потому что не знают, кто из нас кого содержит!

— Вот именно! Как верно сказано! Ты меня содержишь!

— Милый, прости, я не хотела тебя обидеть!

— Знаю. Но те, которые будут завидовать нам, глядя на наш автомобиль, не станут стесняться в выражениях. Так можно испортить себе репутацию!

Она приложила руку к его губам и сказала:

— Молчи! Ты помогал мне, когда мог. Я люблю тебя... Не надо портить такой чудесный день!

Агнесса видела, что покупка «шевроле» не улучшила настроения Жоржу, он терзался и, как ей казалось, томился из-за вынужденного безделья. Если так пойдет и дальше, бедняга совсем измучится. Такого ей никак не хотелось. И еще она опасалась, как бы их любовные утехи опять не прервались, теперь она уже всей душой прикипела к нему. Но сегодня она поняла, что новая, как будто открывшаяся ей сторона — на самом деле просто замаскированная жалость. Ее разрывали противоречивые чувства, хотелось и прислужить любовнику, и вместе с тем ощущать, что он принадлежит ей безраздельно. С одной стороны, она полагала, будто укрепляет свою власть над мужчиной, защищая его, давая ему средства к существованию, с другой — она испытывала дополнительное наслаждение, ощущая себя его рабой.

— Милый, — сказала она, когда они вернулись из Туке, — не подумай ли нам снова о приобретении закуской: твои долги оплачены и машина у нас уже есть. Днем я могла бы продолжать работать в доме моделей, а ты бы один управлялся с закуской, а вечером, часов с семи, когда начинается большой наплыв посетителей, я бы тебе помогала.

— Поражаюсь, что ты заговорила об этом. Как раз вчера я размышлял о том же. Ты очень энергичная, ничего не скажешь. И умеешь добиться своей цели.

— Сколько нужно, чтобы открыть свое дело?

— Ну, никак не меньше трех миллионов...

— Не так уж и страшно! Месяца через два расплатимся за машину и будем рассчитывать на весь мой месячный заработок. Квартира нам почти ничего не стоит. Мы очень быстро соберем нужную сумму и сможем выкупить кафе в рассрочку. У тебя сейчас уйма свободного времени, вот и попытайся подыскать что-нибудь. Выясни, какие районы Парижа самые подходящие, попробуй познакомиться с владельцами кафе, которые пришли в упадок, но находятся в удачных местах.

— Что бы я делал без тебя, Агнесса? Тебе так ловко удастся поднять мне настроение!

— Значит, с меланхолией покончено? Ты счастлив, правда? Ты умный и сильный, восхитительный любовник, у тебя любящая жена, которая все время хочет тебя. Мы больше не нуждаемся. У нас прекрасная машина... Что тебе еще нужно?

— Ты права: у меня все есть. И я завтра же примусь за поиск нашей закуской. Знаешь, как мы ее назовем? «У Агнессы и Жоржа»!

В тот же вечер он вернулся на бульвар Курсель очень довольный:

— Милая, я, кажется, нашел идеальное место для закуской. Хозяин кафе состарился и готов расстаться с ним... Но, к сожалению, оно обойдется несколько дороже, чем я думал, понадобится еще два миллиона. Но какое место!

Она ответила с улыбкой:

— Я знаю, тебе, Жорж, все удастся. Я так счастлива, что вижу тебя сияющим!

При одном воспоминании об этой бешеной погоне за деньгами Агнесса задрожала, как

в лихорадке. Кровь застучала в висках, лицо вспыхнуло, и она посмотрела вокруг, не видел ли кто-нибудь в часовне залитого краской лица, выдававшего ее позор. Но служки куда-то ушли, и она была одна.

Ее обуяла такая алчность, что она не могла думать ни о чем другом, кроме все больших и больших заработков. Она приносила пачки денег, выкладывала их перед Жоржем, а тот, никогда не теряя присутствия духа, принимал эту дань с беззаботным удовлетворением. Денежный дождь, казалось, успокоил мучившие его угрызения совести, которая предпочитала впредь помалкивать, нокаутированная гигантскими суммами.

Глядя на Жоржа, Агнесса иногда спрашивала себя, почему он совсем не удивляется ее поразительным успехам в роли «деловой женщины», но он так находчиво воздавал им должное, что она испытывала блаженство и продолжала делить жизнь между любовью и делами; лишние вопросы отпадали сами собой.

Когда деньги, необходимые для покупки закуской, были собраны, Жорж заявил:

— По-моему, неразумно ввязываться в подобное дело. В Париже и без того слишком много закусовых. Они растут как грибы, на каждом углу! А не разумнее ли продолжать откладывать на квартиру? Ведь нам с тобой, как и многим другим парам, не хватает только подходящей квартиры, чтобы пожениться.

Когда он упомянул о женитьбе, глаза Агнессы засветились радостью: ведь она не теряла надежды узаконить отношения с Жоржем. Не это ли самый верный способ раз и навсегда привязать к себе мужчину, с которым так хорошо в постели? К тому же, чем больше денег ему приносишь, тем сильнее уверенность, что он тоже без тебя не обойдется. Поэтому она с готовностью согласилась трудиться ради мечты о прелестной квартирке. Теперь ей удавалось приносить каждый месяц не четыреста, а до шестисот тысяч, иногда и больше.

Несмотря на ее героические усилия, только через год в руках Жоржа оказалась сумма, достаточная для покупки приличного жилища. Наконец цель достигнута: он приобрел на восьмом этаже дома по улице Фезандери роскошную трехкомнатную квартиру, состоящую из большого салона с окнами на Булонский лес, гостиной, спальни и просторного холла. Он сам занялся обустройством и меблировкой, и Агнесса пришла в восторг от утонченности его вкуса. Воистину ее любовник обладал всеми достоинствами: уравновешенностью характера, элегантностью, хорошим вкусом, уверенностью в себе, мужеством.

Они решили отпраздновать новоселье в один из последних дней сентября, теплая погода позволяла любоваться осенним убранством Булонского леса через широко распахнутые окна. Агнесса сияла. Она попросила у Жоржа позволения пригласить и свою близкую подругу Клод Верман, хозяйку дома моделей, где она зарабатывала столько денег!

Сперва подобная просьба несколько озадачила Жоржа, но после минутного колебания он с улыбкой согласился. Он сумеет окружить вниманием покровительницу жены.

Агнесса преподнесла еще один сюрприз, сообщив перед самым празднеством:

— Милый, для ровного счета нужно пригласить четвертого гостя. Угадай, о ком я подумала?

Он помрачнел, лицо его стало жестче.

— Этой гостье ты очень обрадуешься. Кстати, мы ей так обязаны.

— Не пойму, о чем ты... — сказал он.

— Забыл, кто нас познакомил?

Чуть ли не шепотом он едва выговорил это имя:

— Сюзанна?

— Да, милый! Сюзанна! Представь себе, мы встретились совершенно случайно вчера на Елисейских полях. Шла себе по переходу, а тут она в восхитительном маленьком зеленом спортивном автомобиле!.. Я даже не узнала ее за рулем, но она окликнула меня.

— Она?

— Ну да. Предложила мне сесть в машину, а потом мы вместе зашли в бар.

— В какой бар?

— Не помню названия, где-то на улице Марбёф.

Он стал слушать внимательнее.

— Что она рассказывала?

— Что очень счастлива. У нее есть друг.

— А чем он занимается?

— Не знаю точно. Но он, должно быть, вполне обеспечен: она элегантно одета, и у нее прекрасная машина марки «М.Г.».

— Ну да? А что ты ей наболтала?

— Что у меня тоже есть друг... И что я его обожаю! Добавила, что она знает, о ком идет речь, потому что это она меня познакомила с тобой. Мне показалось, ей было очень приятно узнать, что мы с тех пор живем вместе и любим друг друга! Она даже спросила: «А почему вы не поженитесь?» И я ей ответила: «Мы уже давно думаем об этом. Но сначала надо было найти квартиру. Теперь, наконец, нашли и завтра справляем новоселье. Приходи к нам, Сюзанна. Как чудесно встретиться всем вместе после двух лет разлуки!» Ты бы видел, как она, улыбнувшись, ответила: «Ты права, моя милая Агнесса. Мне это доставит еще большее удовольствие, чем тебе». Какая симпатичная девчонка эта Сюзанна! Мне даже совестно стало, что я не вспомнила о ней раньше. Ведь она подарила нам счастье! Скажи, разве я не правильно поступила, пригласив ее?

— А она точно придет?

— Конечно! Она была в восторге и сказала, что очень рада повидать тебя и полюбоваться нашим гнездышком.

— Так и сказала?

— Да... Тебя это удивляет?

— Гм...

— Я намекнула, что, разумеется, она может захватить с собой друга, если захочет. Но она ответила, что он, к сожалению, не придет, потому что уехал за границу.

— Жаль.

У него был задумчивый вид.

— О чем ты думаешь, милый?

— Да так, ничего...

В дверь позвонили.

— Это она!

Агнесса побежала открывать, а он закурил сигарету. Зажигалка слегка дрожала в его руке.

Пришла не Сюзанна, а Клод Верман. Познакомив их, Агнесса спросила:

— Хочешь чего-нибудь выпить, Клод?

— Фруктового сока, если он у тебя есть. Ты ведь знаешь, я трезвенница.

Жорж, внимательно рассматривавший гостью, обратился к ней наилюбезнейшим тоном, на какой только был способен:

— Не могу передать, как рад познакомиться. Агнесса столько рассказывала о вас! И прежде всего я должен поблагодарить за прекрасную работу, которую она нашла у вас.

Клод, слегка поколебавшись, непринужденно ответила:

— Но это же совершенно естественно! Ведь Агнесса моя подруга!

В дверь снова позвонили.

— Вот и Сюзанна! — воскликнула Агнесса и побежала открывать.

На этот раз действительно пришла Сюзанна.

Сияя улыбкой, она направилась к любовнику Агнессы Со словами:

— Жорж! Как я рада снова увидеть вас!

На какую-то долю секунды в его глазах появился стальной блеск, но почти тотчас же они обрели спокойное, даже насмешливое выражение, и он ответил:

— Какая неожиданная радость! Как поживаете, Сюзанна?

— Я люблю... Всепоглощающее занятие, правда?

— Милая, — обратился Жорж к Агнессе, — ты пренебрегаешь обязанностями хозяйки дома и еще не познакомила своих приятельниц!

— Клод Верман? Но я тоже давно с ней знакома, — сказала Сюзанна.

— В самом деле... когда мы работали манекенщицами...

Они рассмеялись и предались воспоминаниям.

Вечер прошел прекрасно. Слушая щебет трех женщин, галантный Жорж успевал поухаживать за каждой, предлагал разные блюда и разливал шампанское с любезностью светского человека.

Когда гости ушли, он сказал Агнессе:

— Прекрасно посидели. По-моему, Клод хорошо держится. Видно, что она женщина с головой.

— Я очень рада, что она тебе понравилась... А Сюзанна? Как ты ее находишь, ведь вы так давно не виделись!

— Она в прекрасной форме! Только одно меня смущает... Малышка стала страшно вульгарна.

— Ты так думаешь?

— Такое слепой не увидит! Увы! В ней все пошло: голос, манеры, смех, то, как она держит сигарету... Здорово, что ты работаешь с Клод, а с Сюзанной сблизиться не стоит. Когда вы обе были манекенщицами, это еще куда ни шло, но поддерживать с ней отношения сейчас...

— Сердишься, что я ее пригласила?

— Нет. Ты правильно сделала, мы должны были поблагодарить ее за то, что она нас познакомила... Но теперь мы вернули этот небольшой долг и предоставим ее своей собственной судьбе. Пусть она оставит нас в покое!

Дня через два, отправившись по делам, Агнесса остановила такси у Порт-Дофин. Она не заметила, что за ней следует зеленый автомобиль марки «М.Г.». Маленькая машина обогнала их только на площади Трокадеро. Сидевшая за рулем Сюзанна притормозила и спросила:

— Куда едешь?

Агнесса вспомнила совет Жоржа и ответила:

— В дом моделей... Ужасно опаздываю...

— Давай подвезу тебя... Поболтаем немного по дороге.

И прежде чем Агнесса успела сообразить, что ответить, Сюзанна подала знак шоферу такси остановиться у тротуара. Она сунула ему какую-то купюру, распахнула низенькую дверцу своего двухместного родстера и скомандовала подруге:

— Садись!

Ее тон не допускал возражений, Сюзанна не приглашала, а приказывала. Несколько секунд спустя зеленый родстер увез обеих «подруг».

Сюзанна сразу начала разговор:

— Ты очень занята в доме моделей у Клод?

— Ужасно...

— Выкроишь минут пять на чашечку кофе в моем обществе?

— Извини, уверяю тебя...

— А ну-ка, не заливай! Я знаю Клод лучше, чем ты, она и не заметит, что ты опоздала...

— Зачем ты так? Я ухожу. Не люблю, когда со мной разговаривают таким тоном.

— Ах, тебе не нравится мой тон? Так знай же, если ты думаешь, что можешь кого-то обмануть рассказами о работе в доме моделей, то ошибаешься! И мне, и месье Бобу прекрасно известно, что все это сказки!

— О чем ты? Какой месье Боб?

— Теперь ты видишь, что в твоих интересах выслушать меня! Здесь неподалеку есть кафе, где мы полчаса проведем в тишине.

Взволнованная Агнесса покорно последовала за ней. Как только они уселись за столик, Сюзанна продолжила:

— Я больше не могу хранить это все в себе. Я должна раскрыть тебе глаза. Слушай. Этот Жорж Вернье, с которым ты свила уютное гнездышко, вовсе не тот, за кого себя выдает. Ты так благодарила меня за то, что я вас познакомила! Какой счастливый случай! Так вот, никакой случайности здесь не было. Месье Боб — под таким именем твой любовник известен в определенной среде — просил меня привести ему «новенькую», красивую девушку, неопытную в любви. Она была ему нужна для того, чтобы приносить прибыль! Вот каким «импортом-экспортом» он занимается! Знаешь, ты почти повторила мою собственную историю. Меня познакомила с ним подруга. Я влюбилась в него до потери сознания. Каждую ночь он проводил со мной. Очень скоро я совсем не могла без него обойтись. Однажды он познакомил меня с мужчиной, которому я понравилась. Вскоре он начал жаловаться на то, что разорен. Я готова была на все, чтобы спасти его. К этому времени я уже не работала манекенщицей, потому что ему не нравится эта профессия. Мне оставалось только продавать себя. Я отдавала ему все деньги, да и сейчас отдаю, а ему все мало. Я познакомила его с тобой, вы стали жить вместе, и он виделся со мной все реже и реже! Говорил, что должен обучить тебя ремеслу, чтобы ты приносила хороший доход. Он мне все рассказывал о тебе. Строил планы. Например, что хочет купить тебе авто. Говорил, что твоему типу красоты больше всего подходит «аронда», он заранее радовался тому, как ты будешь разъезжать на ней, вылавливая состоятельных клиентов.

Как раз тогда я начала ревновать к тебе, говорила ему: «А ведь меня ты заставляешь ходить пешком!» «Нет, — отвечал он, — и у тебя будет своя маленькая машинка, но более фасонистая, чем «аронда». Такая, что ближе твоему типу. Что скажешь, например, о родстере «М.Г.»? Вот тогда-то мне и достался этот зеленый «М.Г.», тогда же, когда у тебя завелась «аронда». Делать такие подарки было ему по карману, ведь ты приносила уже

немалые барыши. Боб рассказывал мне о твоих фортелях: «Представь себе, красотка Агнесса изображает, будто работает у Клод Верман. Потрясающая история! Заколачивает в месяц от четырехсот до пятисот тысяч, как в сказке!» Мы смеялись до чертиков над твоими рассказами. «А что ей еще остается, ведь она хочет сохранить репутацию честной женщины в глазах честного Жоржа Вернье! Я не должен знать, что она спит с другими. Она так старается сохранить видимость правды, что заезжает время от времени на улицу Лорда Байрона в дом моделей Клод Верман: это ее алиби. Она обо всем предупредила свою подружку. У этой Клод Верман, кстати, такая репутация, что вполне понятно, почему она ни в чем не отказывает красотке Агнессе...»

Подумать только, ты могла вообразить, будто его можно обмануть! Да ты его почти не знаешь! Чтобы он попался на удочку какой-то дебютантки! Да он все видит, все знает! Он подсчитывал, со сколькими мужчинами ты встречалась, знал расценки; мы вместе считали твои доходы. Он говорил: «Недурно. Она дает прибыль. Она еще совсем свеженькая и будет еще долго приносить доход. Эта девчонка не дешева. Скоро, когда она совсем раскрепостится, я дам ей профессиональную кличку: Ирма — такое имя ей больше подойдет».

Я его спрашивала: «Смотри, может, ты еще влюбишься в нее?» Он отвечал, что это невозможно, что терпеть не может таких жеманных бабенок, как ты, и предпочитает женщин моего типа. Представь себе, в постели он называет меня «Сюзон». У него внешность настоящего аристократа с седеющими висками и светскими манерами. Стоит мне только услышать от него «Сюзон», «моя Сюзон», и я трепещу от счастья. Даже если он ласкает меня только ради того, чтобы потребовать деньги. Только он скажет: «Сюзон, дай сюда!» — и я отдаю все, что у меня есть в сумочке, и жалею лишь об одном — что не могу дать больше. Если он требует еще, если хочет наказать меня, я изворачиваюсь, вкальваю, перехватываю у случайных знакомых, из кожи вон вылезаю и достаю, сколько нужно. Когда он бьет меня, я ругаюсь, но терплю и люблю от этого ничуть не меньше. Вот что значит влюбиться по уши! О Боб! Мой Боб!

В ушах Агнессы еще звучал голос Сюзанны, то дрожащий от животной страсти, то поднимающийся до крика, хоть та и старалась говорить тише, чтобы не привлекать внимания посетителей бара. А разве сама она может быть уверена, что сделана из иного теста, чем эта профессиональная проститутка? Разве ее судьба чем-то отличается от судьбы Сюзанны? Разве такая же животная страсть не привязывает ее к тому же хозяину?

Она закрыла лицо руками и разрыдалась, терзаемая ужасом и угрызениями совести, но вдруг вздрогнула, почувствовав, что чья-то рука тихо коснулась ее плеча. Она услышала шепот:

— Может быть, я могу вам помочь, дитя мое?

Агнесса подняла голову и узнала человека, обращавшегося к ней с тихой нежностью.

— Нет, святой отец!

— Но, дитя мое, мне кажется, вам сейчас очень трудно. Вы знаете, с какой любовью и уважением мы относимся ко всем посещающим нас. Мы считаем вас членом нашей большой семьи, как и милую сестру Элизабет.

— Спасибо за добрые слова, святой отец, но мне кажется, что сейчас мне никто не поможет!

— Не произносите таких слов в Божьей обители!

И он указал рукой на дарохранительницу.

— Здесь более, чем где-либо еще, ощущается Божие присутствие. И я спокоен: вы пришли сюда преклонить колена перед Всевышним, потому что знаете, что только Он способен по-настоящему нас утешить. Бог всемогущ!

С залитым слезами лицом она ответила:

— Даже Он меня оставил!

— А может быть, это вы преступили Его заповеди? Думаю, вам нужно исповедаться.

— Нет, святой отец! Не смогу!

— Вы же исповедуетесь не предо мной, а пред Богом! И не расскажете ему ничего неожиданного: Он все знает! Ему нужно ваше покаяние.

Она продолжала сидеть со склоненной головой, не находя слов для ответа.

— Я готов выслушать вас, дитя мое... Продолжайте молиться: молитва облегчает душу...

Он пошел к ризнице. Она едва сдержала себя, так хотелось броситься вслед за медленно удалявшейся фигурой в сутане. Она чуть не крикнула:

— Святой отец, я расскажу вам все!

Но ей недоставало мужества для признания, и она осталась в той же позе, думая об исповеди, которую недавно выслушала от Сюзанны, сначала в баре на улице Марбёф, а затем в зеленой машине, куда ее усадила Сюзанна, чтобы отвезти на улицу Фезандери...

— Понимаю, какой удар мне пришлось нанести тебе, — сказала тогда рыжая потаскуха. — Но я обязана была открыть всю правду. Это рискованно: после новоселья, куда я пришла без его разрешения, он строго-настрого запретил встречаться с тобой. А тот, кто нарушает приказ Боба, играет с огнем... Он может убить меня, если узнает, что я рассказала тебе все, но я больше не могла молчать. Поступай, как хочешь, но послушайся моего совета: постарайся освободиться от него и ничего не рассказывай о том, что знаешь. Он не остановится перед тем, чтобы расправиться и с тобой... Лучше всего немедленно уехать за границу. Могу помочь тебе, и, клянусь, он никогда не узнает, где ты.

Агнесса с трудом нашла силы ответить:

— Думаю, ты права: остается только скрыться. А ты, что будет с тобой?

Сюзанна удивленно взглянула на нее:

— Ты еще интересуешься мною после того, как я так поступила с тобой!

— В детстве меня учили, что нельзя отвечать злом на зло. Может, это единственный хороший принцип, который остался у меня в памяти. Я знаю, ты очень несчастна...

— А ты?

— Я? Если скажу, что я всего лишь жертва, это будет скорее смешно, чем грустно. И потом я даже не имею права так думать, я получила по заслугам. Сама во всем виновата! Не должна была любить его...

— Не говори так! Ты никогда не любила Боба! Это только игра воображения! Хочешь спать с ним — и только! Этого альфонса любить нельзя! Можно только хотеть его и потому наделать массу глупостей!

— Так ты ведь тоже их наделала!

— Это точно. Сначала я, потом ты!

— И все еще готова ради него невесть на что!

Рыжеволосая шляха не отвечала. Агнесса продолжала:

— Ты мне все выложила лишь потому, что сама не можешь обойтись без него. Я вела себя, как дура, это факт. Но я все-таки не настолько глупа, чтобы поверить, будто ты хотела облегчить совесть. Если живешь с ним, то теряешь совесть! Обо всем забываешь, когда он обнимает и ласкает тебя...

— Пусть так, — ответила Сюзанна, — но иначе любить его не могу. И все женщины так его любили! Если бы ты только могла себе представить, как я презираю его иногда и как сама себе противна! Но это сильнее меня: он мне нужен. Ради него я соглашаюсь на все. На все, что угодно! Я выполнила все, что он требовал: даже подыскала ему другую женщину — тебя! Тебе не понять, как я страдала, представляя себе, что он спит с тобой, а мне лишь изредка достаются случайные ласки! Часами я поджидаю его в баре. Иногда он не приходит, а только звонит по телефону и заявляет: «Не могу встретиться, еду в Лоншан». И тут же вешает трубку. После такого звонка у меня нет сил даже сердиться на него... Но я не теряю надежды увидеть его завтра! Снова иду на улицу, думая о том, что если раздобуду много денег, то, может быть, он согласится переспать со мной. Это ужасно? Жалкая тварь, я готова выпрашивать у него ласки, как милостыню! Чаще всего он приходит минут на пять, только чтобы забрать выручку. И я терплю! Вот она, настоящая любовь! Вот когда дойдешь до такого, милочка, тогда тоже сможешь сказать, что втюрилась в него!

Сюзанна на минуту замолкла. Потом, успокоившись, тихо сказала:

— Я уйду. Но не глупи, дуреха! Заруби себе на носу: ни один мужик не стоит того, чтобы жертвовать собой ради него. Я пожертвовала — и видишь, до чего докатилась! А ты еще можешь выкарабкаться. Ты молода, красива, так выкинь же дурь из головы. Начинать жить сначала. Уезжай, пока не поздно! И оставь мне Боба — мою единственную утеху!

Агнесса вышла из машины, ничего не ответив. Сюзанна зло закричала ей вслед:

— Да скажи же хоть что-нибудь!

И видя, что ее «подруга» по-прежнему молчит, перешла на шепот:

— Ты у него тоже на крючке! Тебе крышка, милочка! Как и я, пойдешь на все! Слышала бы, что он о тебе говорит, какого он мнения о твоём уме!

— Не все ли равно теперь!

— Когда ему надоест жить с тобой, а это скоро наступит, он поступит так же, как и со мной: заставит найти себе замену... И ты подчинишься, утешая себя, что лучше уж так, чем потерять его совсем! Он поселится с нею вместе и займется ее так называемым «образованием» — на наши с тобой заработки! А тебе покажется, что это в порядке вещей, ты смиришься! И на смену новой девке придет следующая! Пойми же, так будет без конца! Мы же останемся его рабочей скотиной, и лишь изредка он будет одаривать нас своими милостями... Пока сможем приносить ему прибыль. Потом, уверяю тебя, он бросит нас не моргнув глазом! Ни гроша не оставит нам на старость, не потратится на место в больнице! Об этом ты мечтаешь?

— Перестань, Сюзанна!

— А, не хочешь слушать правду! Действительно, все будет не так, но только потому, что я этого не допущу! Став его женой, я твердо решила, что до смерти останусь с ним! И если ты будешь настаивать на своем, одной из нас придется исчезнуть. Конечно же, тебе! Поэтому лучше уж уезжай немедленно... В последний раз предлагаю тебе помощь. Не думай, будто я ни на что не способна, все быстро образуется. Через двое суток будешь очень далеко отсюда.

Агнесса, бледная, как смерть, ответила:

— Не знаю...

Машина рванулась вперед, и Агнесса осталась одна.

Она вновь перенеслась в тот час, когда бродила одна, пытаясь прийти в себя и как-то осмыслить ошеломившее ее разоблачение.

Ноги сами собой несли ее куда придется; казалось, они не слушаются ее, мысли путались. Все планы и надежды, возникшие после того, как она встретила своего любовника, рухнули, их вытеснила чудовищная правда, открывшаяся ей.

Во время разговора в баре ей сперва казалось, что Сюзанна лжет, что эта рыжая шлюха выдумала целый план, пытаясь разрушить ее счастье из ревности. Должно быть, она не может простить ей того, что Жорж привязался к ней и счастлив. Но чем больше рассказывала Сюзанна, приводя все новые и новые подробности, тем больше Агнесса убеждалась, что, может, впервые в жизни эта потаскуха, именовавшая себя ее «подругой» или даже «старшей сестрой», говорила чистую правду. И ее слепая страсть постепенно сменилась глубоким отвращением.

Истина ужасала: тот, ради кого она угодила на панель, с первого же дня гнусно обманывал ее. Ложью было все: «случайная» встреча, облик этого человека, оказавшегося на самом деле зловещим «месье Бобом», мифические импортно-экспортные торговые сделки, финансовые затруднения, отчаяние из-за невозможности найти работу и, наконец, мошенническая любовь... Вот уж чего никак нельзя простить. Она так нуждалась в его ласках, что, может быть, на все закрыла бы глаза, но обмануть ее любовь, самое святое, что у нее есть, — это уж слишком.

Дрожь отвращения пробежала по ее телу, когда она подумала, как этот подонок играл отвратительную комедию, делая вид, будто верит, что его подруга работает в доме моделей, хотя с того самого первого дня, когда она вернулась к Даме, знал, что она продает себя, зарабатывая ему на жизнь. И месье Боб совершенно спокойно принимал деньги и от нее, и от Сюзанны. Она чувствовала, что Боб и его сообщница унизили ее, выставили на посмешище. А Сюзанна выложила все, выплеснула на нее всю свою ненависть лишь потому, что не может обходиться без Жоржа, хотя давно знает, кто он такой, и мирится с этим.

А сама Агнесса, имела ли она право осуждать ее? Она с тревогой думала, что готова повторить этот путь. Как все же возмутительно, что женщина может продолжать испытывать влечение к мужчине, зная, что он сутенер, а его ласки — лишь рассчитанный способ держать ее в полной зависимости и выкачивать как можно больше денег? Безусловно, Сюзанна не ошиблась, предсказав, что ее ждет, если она останется с Жоржем. Жаль эту рыжеволосую шлюху, признавшуюся, что она полная раба. Может, настанет день, когда и Агнессу можно будет пожалеть. Попробуй пойми, почему Сюзанна и другие вроде нее могут любить сутенеров. И все же какой нужно обладать сверхчеловеческой волей, чтобы вырваться из цепких сетей наслаждения!

Трудно было восстановить шаг за шагом всю цепочку обстоятельств, приведших ее к той же профессии. Как это могло случиться? Ведь Жорж ей ничего не навязывал. Пытаясь найти ответ на этот вопрос, она почувствовала, что сходит с ума.

Бредя в отчаянии, она неизвестно как очутилась возле собственного дома... Каким смешным и жалким выглядело теперь ее «гнездышко»!

Квартира целиком оплачена миллионами, заработанными ею столь мерзким способом, но покупку оформлял Жорж, и потому единственным законным владельцем числится он. Ни

крыша над головой, ни мебель официально не принадлежат Агнессе, и что помешает месье Бобу в любую минуту выставить ее за дверь? Ведь они не женаты.

Машина тоже оформлена на Боба. Квартира, машина, деньги... Да, у нее нет ни гроша, хотя через ее руки прошли огромные суммы. Регулярно, в конце каждого месяца, она отдавала весь свой постыдный заработок тому, кого считала супругом! Она оставляла себе только на новые туалеты: как-никак профессия обязывает.

Забирая себе все деньги, сутенер ни разу не удосужился хоть что-нибудь ей подарить: вот и остается довольствоваться лишь дешевыми побрякушками.

Еще не вполне осознавая, в какой глубокой пропасти очутилась, подавленная, она без сил упала в кресло, стоявшее в гостиной. Комната стала ей отвратительна, как, впрочем, и вся квартира. Недоставало сил даже закурить сигарету. Сколько времени пробыла она в прострации? Только тихий скрежет ключа, поворачивающегося в замочной скважине, вывел ее из оцепенения. Это Жорж. Хотелось тут же выбежать к нему навстречу — пусть посмотрит, как она его презирает и ненавидит. Но она чувствовала, что не устоит и рухнет к ногам хозяина.

— Чем занимаешься? — спросил он, входя в гостиную.

Она не нашла в себе сил ответить и смотрела на него, как одурманенная.

— Милая, — продолжал он спокойно, — ты плохо себя чувствуешь?

Впервые его нежность показалась ей омерзительной.

— Не очень хорошо, месье Боб!

Он слегка вздрогнул, но сразу взял себя в руки. Его лицо помрачнело. Он подошел к ней, пристально глядя ей в глаза.

— Ну и что дальше?

Впервые Агнессе открылось его подлинное лицо, и ей стало страшно. Помолчав, он добавил:

— Это все, что ты хочешь мне сказать?

— Уходи!

— Это мне-то уходить? С какой стати?

Агнесса сверлила его почти безумным взглядом. Такой взбудораженной он никогда прежде ее не видел.

— И ты еще смеешь спрашивать?

— А ты смеешь предлагать мне уйти? Сама ведь прекрасно знаешь, что я здесь у себя дома.

Подавленная, она не нашлась, что ответить.

— Схожу пройдуся. У тебя будет время подумать. И учти: терпеть не могу семейных сцен... Мы ссоримся в первый и, надеюсь, в последний раз.

Она услышала, как хлопнула дверь в прихожей...

Только сейчас оцепенение сменилось бурной реакцией. Она долго рыдала. Агнесса оплакивала свою горькую участь и жестокое крушение счастья, которым жила вот уже три года. Она взглянула на своего сожителя другими глазами и, обменявшись с ним несколькими фразами, поняла, что не любит и никогда не любила его по-настоящему, даже когда считала его Жоржем Вернье.

Теперь, узнав правду, она презирала его всеми фибрами души. Как хотелось немедленно оставить этого подлеца и вновь обрести человеческое достоинство, замечательный пример которого всегда подавала сестра Элизабет.

Но как? Где скрыться? Уехать за границу, как предложила рыжая шляха? Остаться во Франции и попытаться найти какое-нибудь достойное занятие? Снова стать манекенщицей «на подхвате»? Невдохновляющая идея. А если остаться во Франции, то где жить? В гостинице? Или, как раньше, в мансарде? На это едва ли хватит мужества.

Деньги давно уже доставались ей легко, и она привыкла к роскоши. Очень быстро она пристрастилась к образу жизни, навязанному «хозяином». Привязалась к новой квартирке, ее изяществу и комфорту. А главное, такого любовника так просто из жизни не вычеркнешь. Если даже удастся найти в себе силы для этого, он все равно будет преследовать ее, попытается снова подчинить себе. Он может быть опасен. Ужасно, но факт: занимаясь ремеслом уличной девки, неминуемо на самом деле становишься уличной девкой.

Где найти хоть какой-нибудь якорь спасения, чтобы не погибнуть? Она так же беспомощна, так же спутана сетями, как и Сюзанна. Ни с кем не знакома, кроме месье Боба и своей «клиентуры». Нет и надежной подруги, которой можно довериться. Мало-помалу растерянность сменилась бесконечной усталостью. Она поняла, что неспособна что-либо предпринять.

И тут в глубине души вдруг зазвучал едва различимый внутренний голос: «Возьми себя в руки! Нет, ты не погибла окончательно. Ты искренне заблуждалась. Вся твоя вина в том, что главным для тебя было наслаждение. Еще можно изменить жизнь. Ведь существует же любовь, истинная любовь...» Слова звучали все отчетливее и ближе. Она узнала этот нежный голос, который так любила, — голос Элизабет...

Никогда еще с такой силой она не ощущала, сколь близка ей сестра, смиренная монахиня, прислуживающая нищим старикам. Смутная мысль обретала все более зримые очертания — и вдруг пришло прозрение. Агнесса почувствовала себя уверенней: ведь есть сестра. Элизабет — тайна, принадлежащая только ей. Боб не смог проникнуть в нее и никогда не проникнет. Завтра же надо отправиться на авеню-дю-Мэн, вновь окунуться в тишину этого мирного убежища и обрести там душевный покой. Но на этот раз необходимо большее — признаться во всем, рассказать Элизабет. Только тогда она почувствует себя свободной. Лишь сестра способна помочь ей вырваться из когтей дьявола.

Агнесса не ложилась спать, она не смогла бы уснуть, обуреваемая множеством мыслей — то безнадежных, то обнадеживающих. Вновь и вновь ее воспаленное воображение перебирало тысячи различных планов и решений. Когда в лучах восходящего солнца засветились макушки деревьев Булонского леса, она была в полубеспамятстве. Надежда на скорую встречу с Элизабет помогла преодолеть оцепенение. Она подошла к туалетному столику и попыталась хоть как-то заgrimировать следы бессонной ночи.

В семь часов утра она вышла из квартиры, куда месье Боб так и не возвратился. А четверть часа спустя такси подвезло ее к дому престарелых на авеню-дю-Мэн.

Так она и сидела в церкви, обдумывая признания Сюзанны. Та открыла перед ней изнанку событий, но и лицевая сторона стала для Агнессы не менее отвратительна. Боб, Сюзанна, Агнесса — все они казались сторонами сатанинского треугольника, рожденного ее воображением. Где бы найти четвертую сторону, пусть даже символическую, которая неслась бы в себе какую-то надежду, уравновесила силы зла добром? И эта четвертая сторона реально существует, это Элизабет!

Куда ж она ушла? Неужели каждое утро надо так долго возиться со стариками? Разве Элизабет не понимает, что только ее присутствие успокоит сестру?

И вдруг молодая женщина, чей взгляд тоскливо блуждал по стенам часовни, почувствовала озарение. Как она раньше не поняла? Ведь Элизабет все время находилась рядом, не оставляя ее ни на минуту. Образ Сестры-Покровительницы заполнял всю церковь, он сиял на каждом витраже. И дело тут вовсе не в лице, оно могло быть чьим угодно, могло принадлежать и Элизабет, и любой из ее сестер по вере.

На красочных виражах, наивностью своею напоминавших статую святого Иосифа, было изображено житие Сестры-Покровительницы. На одном послушницы в своей последней мирской одежде, в которой они поступили в главный монастырь святого Иосифа, сидели в шарабане, который, миновав городок Сен-Пери, вез их прямо к порталу. На другом они входили в гигантский центральный двор монастыря. Главный монастырь — Материнская Обитель — так и казался воплощением идеи «спасительной обители» и «материнства». Его серые гранитные стены, простые и торжественные, но не мрачные, выглядели гостеприимно, а два широко раскинувшихся крыла походили на руки, готовые заключить новоприбывших в свои объятия. Не она ли, великая Мать, блюла неприкосновенность устава и очага, вокруг которого, начиная с 1 апреля 1856 года, одно поколение монашек сменяло другое, в то время как обитель по-прежнему оставалась достойной окружающего ее мира. Материнская Обитель не замкнулась в себе, она осталась открытой для мира, и нити, исходящие от нее, тянулись в бесконечную даль, уходили за горизонт, а там появлялись бесчисленные «дочерние» обители, не терявшие с нею связей ради служения вселенской любви и милосердию.

На следующем витраже была представлена процессия послушниц, идущих парами, взявшись за руки, по длинному монастырскому коридору, единственным украшением которого служила выведенная черными буквами надпись: «Блаженны живущие в твоей обители, Господь! Они прославят тебя в веках...»

Далее следовал ряд изображений со сценками из жизни сестер, где неизменно чередовались молитвы, ученичество и ручной труд — занятия, сопутствующие приобщению послушниц к распорядку Материнской Обители. Вот они учатся переплетать книги, работать на вязальной машине, ремонтировать электроутюг, выполнять секретарские обязанности. Ведь все общины нуждаются в четко организованной системе учета и секретаршах, способных вести дело каждого старика или старухи!

На этих ярко раскрашенных стеклах, освещенных дневным светом, представляли все повседневные заботы, из которых складывается день послушницы, начиная с пробуждения и кончая вечерней молитвой.

Дальше был изображен канун пострижения, когда сестры-покровительницы разных национальностей готовятся к встрече с Господом. Четыре последних витража иллюстрировали четыре этапа из жизни сестер: пострижение, после которого надевают ослепительно белое облачение; отъезд в дома престарелых, разбросанные по всему свету; исполнение сестрой-покровительницей своего предназначения в окружении стариков, из которых отныне состоит вся ее семья; и, наконец, кладбище для бедных с одинаковыми могилами, где покоятся и сестры, и старики. В глубине кладбища возвышается массивная статуя Христа, оберегающего вечный сон монахинь, чьи жизни были отданы Господу и ближним.

Для Элизабет этот цикл самопожертвования и самоотречения уже частично остался позади. Она пройдет его до конца, до последнего успокоения. Ее-то Агнесса и видела сейчас на каждом витраже, освещенном солнечными лучами. Поэтому она не удивилась, услышав

голос сестры, освободившейся, наконец, от работы:

— Пойдем.

Когда они вышли из часовни, Элизабет спросила:

— Ну, а теперь ты сможешь рассказать мне все?

— Прости, не смогу.

Светлые глаза монахини не выразили упрека. Да и что они могли выразить, кроме всепрощения?

Агнесса не смогла выдержать этого взгляда, в котором читались лишь любовь и снисхождение, она отвернулась и побежала к выходу.

Элизабет крикнула ей вслед:

— Впервые ты не попрощалась со мной. Неужели не скажешь мне «до свидания» или лучше «до скорой встречи»?

Агнесса остановилась, обернулась к сестре, неподвижно стоящей на пороге часовни, и повторила:

— До скорой встречи...

И внезапно добавила:

— Забыла сказать тебе, у меня изменился адрес.

— Неужели? — обрадовалась Элизабет. — Ты больше не живешь в мансарде, которая казалась мне такой романтической?

— Нет. Сейчас я живу возле Булонского леса.

— Вот, наверное, приятное место. Эта квартира больше, чем та, что на бульваре Курсель?

— Гораздо больше.

— А она не слишком дорогая?

— Нет.

— Я очень рада за тебя...

Но Агнесса заторопилась. Когда ворота закрылись и она оказалась на улице, две слезинки покатались по щекам монахини. Она долго стояла неподвижно, а затем вернулась в часовню, где преклонила колени для короткой молитвы на том же самом месте, где только что была Агнесса.

— Защити ее, Господи! Как я боюсь за нее. По Твоей воле мы очень похожи друг на друга. Знаю, что Ты позволил ей подвергнуться соблазнам, которым я, наверное, не смогла бы противостоять, потому что ее душа лучше моей. Спасибо, Господи, что Ты избавил меня от мирских опасностей... Но сделай так, чтобы душа Агнессы была достаточно сильна, чтобы сохранить чистоту...

Возвращаясь на улицу Фезандери, Агнесса упрекала себя за малодушие. Но как рассказать благодетельнице бедных о том, что вот уже три года она лишь потому скрывает от нее правду, что стала рабой своей плоти?

Лучше всего покончить с собой и унести в могилу душившую ее тайну, от которой иначе не избавиться. Не это ли разумный выход из положения? Но прежде чем исчезнуть, не обязана ли она исполнить свой долг — убить подлеца, заставившего ее пасть так низко? Необходимо любой ценой положить конец его злодеяниям. Мысли об убийстве и самоубийстве впервые пришли в голову отчаявшейся женщине. Но, вспомнив о святом месте, где все подчинено лишь любви к ближнему, она постаралась забыть об этом.

Когда Агнесса вернулась домой, месье Боб встретил ее очень холодно:

— Вижу, тебе тоже захотелось прогуляться?

— Но я же не в тюрьме?

— Ты свободна, малышка! Свободна, как ветер...

В растерянности она посмотрела на него: он казался спокойным и уверенным в себе, как всегда.

— Ты еще не ложились или же встала чуть свет? — продолжал он.

— Я ушла очень рано.

— Говорят, весь мир принадлежит тем, кто рано встает. Можно ли узнать, не покорила ли ты еще кого-нибудь?

— Перестань!

— Во время вчерашнего бунта ты заявила, что я тебе противен. Ведь так?

Она не могла вымолвить ни звука, как будто у нее отнялся язык. А он продолжал так же спокойно:

— Ошибаешься, милочка, сейчас я докажу тебе это. Быстро! В постель!

Она пробормотала, отступая:

— Нет!

— Как? А ну-ка, повтори!

Он схватил ее за руки:

— Вижу, ты нуждаешься в успокоении!

Он потащил ее в комнату и грубо бросил на кровать.

Она крикнула:

— Нет! Не хочу!

Но ее протесты постепенно затихли и, наконец, перешли в едва различимый лепет:

— Умоляю, Жорж...

Любовный экстаз сменился молчанием. И снова Агнесса сдалась. Подобно Сюзанне, подобно всем тем, кто был у него до нее и кто будет после, они не смогли противостоять зову плоти. И она, и ее сестра Элизабет, обе были пленницами, но в плену у противоположных начал: Агнесса ощущала себя прислужницей Дьявола, Элизабет же нашла счастье в служении Богу.

А в это самое время в доме престарелых, закончив утренний обход стариков, которых она прозвала «врединами», и оказав необходимую помощь парализованным в лазарете, сестра Элизабет улучила несколько минут, чтобы прийти в приемную. Терзаемая беспокойством, молитвенно соединив руки перед святым Иосифом, она снова обратилась с мольбой к тому, кого называла заступником:

— Добрый святой, сегодня впервые я молю тебя не о моих стариках: я прошу помощи Агнессе. Ей сейчас труднее, чем им. Передай моему Божественному Супругу, которому я посвятила себя целиком, что, если Он примет мою жертву, я готова отдать жизнь, чтобы спасти сестру!

Произнеся эти слова, смиренная монахиня быстро покинула приемную и пошла в лазарет.

Покровитель

Месье Боб снова ушел, а Агнесса осталась наедине со своим позором. Не было сил даже оплакать очередное поражение. Она лежала, вялая и пресытившаяся, без всяких мыслей. Ясно одно: власть любовника над ней безраздельна. Но понемногу приходя в себя, она почувствовала, что, утолив свою страсть, отчасти преодолела и зависимость от него, что месье Боб ей по-прежнему отвратителен. Неужели она настолько неуравновешенная, что в ее жизни угрызения совести будут непрерывно чередоваться с новыми желаниями? Мысли постепенно прояснились, и она подумала: остается одно — бежать, чтобы вырваться из адского круговорота. Уж в этом-то Сюзанна права. Если мужчина вызывает у тебя то страсть, то отвращение, нужно расстаться с ним, иначе жизнь превратится в сплошной ад!

Но хватит ли мужества, чтобы вырваться из его власти? Неужели предсказания Сюзанны подтвердятся, и она во всем уподобится ей? Неужели она превратится в одну из тех женщин, которые знают, что спят с подлецом, и все же не порывают с ним? Как сделать иначе? Ведь ее плоть нуждается в нем, хотя сам он вызывает только отвращение. Она начала понимать, что можно ненавидеть сексуального партнера и в то же время быть не в состоянии обойтись без него. Во всяком случае, сама она не сможет от него освободиться, и, не осмелившись обо всем рассказать Элизабет, она подумала о Сюзанне. Не безумие ли просить о помощи злейшего врага? На первый взгляд это так, но, желая сохранить Боба для себя одной, разве не сделает эта рыжая шлюха все возможное, чтобы помочь скрыться женщине, к которой ревнует? Ведь она сама предложила это накануне.

Как найти Сюзанну? Отправиться к ней на авеню Карно? Опасно. Вдруг месье Боб сейчас там. Позвонить по телефону? Это самый надежный способ. К сожалению, Агнесса не помнила ни номера дома по улице Карно, где ей ни разу не приходилось бывать, ни номера телефона Сюзанны.

Оставалась только одна надежда: получить какие-нибудь сведения у бармена или кого-то из служащих в баре по улице Марбёф, где Сюзанна, похоже, ловила клиентов и куда она дважды приводила Агнессу. Может, Сюзанна оставила там свой адрес или номер телефона на случай, если ее захочет найти кто-нибудь... Наверное, именно там находится «боевой пост» Сюзанны и туда она ежедневно отправляется на «охоту».

Войдя в бар, Агнесса поняла, что бармен, наблюдавший за их затянувшейся беседой накануне, узнал ее. Но, к ее удивлению, тот не встретил ее дежурной улыбкой, а придал лицу выражение сочувствия. Это было очень странно и не понравилось Агнессе. Тем не менее она направилась к нему:

— Здравствуйте... У меня назначена встреча с моей подругой Сюзанной. Вчера я приходила сюда с нею... Вы ее знаете?

— Да, конечно, мадемуазель... — Бармен явно был смущен.

— Что-то случилось?

— Мадемуазель не читала сегодня газету?

— Какую газету?

Не добавив ни слова, бармен протянул ей свежий номер «Франс-суар». Газета была раскрыта на третьей странице, и Агнесса сразу заметила заголовок в разделе происшествий, набранный жирным шрифтом: «Таинственное самоубийство на улице Карно». Под заголовком она увидела фотографию женщины: это была Сюзанна. Затем шли две колонки

текста.

Агнесса вздрогнула. Прочитав заметку, она в ужасе прислонилась к стойке бара, чтобы не упасть, и прошептала:

— Не может быть! Это неправда!

— Вряд ли газетчики такое выдумают, — ответил внимательно наблюдавший за ней бармен. — Я узнал вашу подругу по фотографии. Она наша старая клиентка. Признаюсь, я очень огорчился: такая красивая молодая женщина, всегда веселая и улыбающаяся, полная жизни! Забыть не могу, как вы вчера уезжали вместе в ее маленькой машине. Она так любила свою машину!

— Но... почему она покончила с собой?

— Факт остается фактом: она это сделала! Увидев вас, я подумал, что, может быть, вы это объясните.

— Но... почему я?

— Потому что вы последняя, с кем ее видели вместе.

Агнесса поняла, что бармен, чье лицо вновь стало бесстрастным, пытается донять, не замешана ли она в драму, случившуюся с этой «всегда веселой и улыбающейся» посетительницей.

— Какой ужас! — прошептала она.

— Выпейте чего-нибудь.

— Хорошо, налейте...

— Мне кажется, виски вам не повредит.

Прочитав заметку еще раз, Агнесса машинально выпила и поставила рюмку на стойку.

— Зачем она это сделала?

— Нас всех это волнует. Может, несчастная любовь?..

— Несчастливая любовь...

Агнесса задумалась, а ее собеседник продолжал:

— Если бы я когда-нибудь решил покончить с собой, думаю, поступил бы, как она. Газ — лучшее средство. Самая легкая смерть... Закрываешь окна, потом открываешь кран, оставляешь открытой дверь из кухни в комнату, ложишься в постель — все это она и проделала — и тихо ждешь конца...

— Замолчите! Это ужасно!

Швырнув на стойку деньги, она стремительно выбежала.

Бармен поднял банкноту и повернулся к кассирше:

— Чудная бабенка! Даже не дождалась сдачи. Должно быть, знает что-то об этом дельце. Может, позвонить в полицию?

— Нет! — ответила кассирша. — Не будем торопиться. Вряд ли девица замешана в этой истории, уж больно она удивилась.

— В чем замешана? Ведь произошло самоубийство!

— С этими девчонками никогда не знаешь наверняка. Если мы позвоним в полицию, сюда нагрянут инспектора. Такая реклама не пойдет нам на пользу: только распугаем клиентов.

— Вы правы, Жанна... В конце концов, пусть эти девчонки сами разбираются в своих делах. Вы думаете, она того же сорта?

— Не знаю. У нее слишком изысканный вид. Не то что у покойницы.

— Да... Но вчера они больше двух часов секретничали за столиком в глубине... Не могу

себе представить, чтобы порядочная женщина стала терять время в обществе потаскухи. К тому же я помню, что в основном говорила рыжая... Блондинка только слушала и имела очень растерянный вид, когда они выходили из бара. Чего только не будут болтать клиенты, когда узнают умершую по фотографии.

— Клиенты! Да им наплевать на нее! Одну девку потеряешь, десять найдешь! Вы думаете, они очень опечалятся? Никто не оплакивает этих шлюх, разве что те, кто живет за их счет.

И вот уже во второй раз Агнесса вышла из того же самого бара, и голова у нее снова кружилась, как у пьяной. Едва держась на ногах, она добрела до газетного киоска, купила «Франс-суар» и спрятала в сумочку. К чему перечитывать статью, если каждое слово и так запечатлелось в памяти? Но какой-то инстинкт подсказывал, что номер надо сохранить. Как только она увидела статью и фотографию, перед глазами немедленно возникла зловещая тень месье Боба...

Только он может быть подлинным виновником несчастья. Самоубийство Сюзанны можно объяснить двумя причинами: либо она испугалась, что наговорила Агнессе лишнего, либо слишком сильно любила своего альфонса. Возможно, она поняла, что не справится с такой соперницей.

Ее последние слова: «Одна из нас должна исчезнуть», — отдавались болью в сердце Агнессы, неожиданно победившей в этом печальном турнире, из которого Сюзанна выбыла навсегда. Она испытывала бесконечную жалость к умершей. Вдруг страшная мысль пришла ей в голову. Как не хотелось принимать ее всерьез, как она абсурдна и чудовищна! Но мысль все возвращалась, мучила неотступно: а вдруг месье Боб не просто подтолкнул эту рыжую шлюху к смерти, а убил ее своими руками? Что, если он убил Сюзанну, а потом сымитировал самоубийство? Разве он не способен на все? Но к чему ему убивать? Чтобы наказать девицу за излишнюю словоохотливость, чтобы она впредь никому ни о чем не болтала? Ведь, отчаявшись, Сюзанна могла рассказать и другим то, о чем уже поведала Агнессе... А ведь месье Боб не любит, когда распускают язык. Да и что ему смерть какой-то Сюзанны? Он не любил ни ее, ни Агнессу, и ему ничего не стоило заменить любовь.

Предположение показалось Агнессе чудовищным. Неужели именно это подтолкнуло месье Боба к преступлению? Такой бесчувственный негодяй вполне мог такое сделать. Он способен, наверное, на любое преступление, лишь бы оно тешило его самолюбие. Тем более мог он убить взбесившуюся девчонку, чья трепотня выглядела опасной. Эта девка позволила себе непростительную наглость, она провинилась перед своим покровителем и должна была быть наказана.

Можно ли закрыть глаза на это преступление? Чувство справедливости подталкивало Агнессу к борьбе. Надо сообщить обо всем в полицию. К черту последствия! Законы преступного мира не пугали ее, хотя она знала, какие они безжалостные. Они-то и позволяли месье Бобу и его собратьям спокойно заниматься своим ремеслом; как бы они эксплуатировали женщин, если бы не могли расправляться с ними при малейшем неповиновении? Пусть сообщники месье Боба даже убьют ее, все равно стоит выдать его полиции. А смерть будет справедливым возмездием за ее беспутство. Убийцы могут думать, что свели с ней счеты, но она-то знает, что задолжала обществу, живя вне принятых в нем законов морали, а главное, обманула Элизабет, единственного человека, относившегося к ней с любовью и доверием. А за это приходится расплачиваться сполна.

Все это заставило Агнессу подавить отвращение и вернуться на улицу Фезандери. Ей

так хотелось, чтобы Боб оказался дома и можно было попытаться раскрыть тайну смерти Сюзанны.

Все вышло так, как ей хотелось: он спокойно покуривал, сидя в гостиной в уютном кресле.

Она подошла прямо к нему и, вынув из сумочки «Франс-суар», протянула ее Бобу.

— Читай!

— Уже прочел, — небрежно ответил он и затянулся сигарой. — Бедняжка! Иного и не могло быть... — Его лицо казалось застывшей маской, глаза из-под опущенных век внимательно следили за Агнессой. — Вспомни, я ведь говорил: нечего тебе с ней дружбу водить.

Сбитая с толку, она посмотрела на этого спокойного, загадочного для нее мужчину.

— Ну что, отошла уже? Одумалась?

Она снова почувствовала, как его невозмутимость и сила буквально подминают ее.

— Глупенькая, — усмехнулся он. — Ведь должно же было когда-то встать все на свои места. Я не спешил открывать тебе глаза, но раз уж так вышло, оно и к лучшему. Теперь ты освободилась от предрассудков. И не надо выяснять отношения. Не вздумай больше скандалить. Это бесполезно, потому что мы не можем расстаться! Ты знаешь, как крепко мы с тобой повязаны!

Он обнял ее за талию и притянул к себе. Она почувствовала привычную слабость и прошептала:

— Да.

— Скажи: да, мой Боб!

Она сжалась, отпрянула назад, но, ощутив близость любовника и стыдясь себя самой, шепнула:

— Да, мой Боб.

Он обнял ее, и она почувствовала, что изнемогает.

— Теперь ты моя настоящая женушка, и одна имеешь право называть меня Бобом.

Он выпустил ее из объятий. Он понял, что она успокоилась и вновь покорна.

— Не выпить ли нам виски, чтобы отметить это событие? — предложил он.

А наполнив рюмки, спросил, нежно улыбаясь:

— Скажи... Когда она назвала мое настоящее имя, что еще она тебе рассказала?

— Все!

— И какое впечатление это произвело на тебя?

— Я тебя возненавидела.

— Это и есть любовь, — сказал он.

— Ты мне стал отвратителен!

— Вот это и есть любовь!

— Мне хотелось уйти и больше никогда не видеть тебя...

— А ты осталась! Да, малышка, такова любовь. Нельзя же все время любезничать, говорить друг другу всякие нежности. Неплохо, когда любовь слегка приправлена ненавистью. Что в этом страшного, если в постели у нас полное согласие? В законном браке тоже бывают свои приливы и отливы. Но это не мешает семейному счастью. И потом, не только всякие пустяки скрепляют семью. Главное — это бизнес...

Он закурил новую сигару.

— Ситуация прояснилась, и это к лучшему: не нужно больше лгать друг другу; я знаю,

что ты обслуживаешь клиентов, а ты поняла, что это — прекрасный способ доставить мне удовольствие. Все теперь упростится: вместо того чтобы ходить по квартирам — а это иногда опасно, — ты сможешь принимать своих дружков здесь. Верь моему опыту: такая роскошная обстановка позволит повысить таксу. Когда у тебя есть прелестная машинка, твоя «аронда», чтобы зазывать клиентов, и великолепная квартирка, куда их можно привести, то уж будь любезен, выложи денежки!

Деловой тон беседы развеял сомнения Агнессы. В ней взяла верх профессионалка, какой, помимо своей воли, она все-таки стала. Она взвесила и оценила эти разумные аргументы.

— Кстати, — продолжал Боб, — раз уж ты преодолела глупые предрассудки, нет больше нужды делать вид, будто приносишь получку в конце месяца. Это годилось, пока ты считала, что я верю в твой дом моделей. Теперь ты будешь сразу отдавать мне деньги.

— Хорошо.

— Это облегчит подсчеты, и мы каждый день будем знать, чем располагаем.

— Можно задать тебе вопрос?

— Раз ты поняла, что к чему, спрашивай о чем угодно!

— Сюзанна...

— Опять о ней! Слушаю тебя.

— Скажи, ты не боишься неприятностей из-за ее смерти?

— Каких неприятностей?

— Не знаю... Разве полиция не расследует самоубийств?

— Конечно, это ее обязанность. Но здесь все очень просто, сомневаться не в чем: Сюзанна открыла газ — и прости-прощай!

— И все-таки полиция...

— Что полиция? Опять ты за свое? Тебя это волнует?

— Мне страшно. Тебя, конечно, будут допрашивать?

— Уже допрашивали сегодня утром в одиннадцать...

— Быстро они успели!

— Такая уж у них работа...

— Тебя вызывали?

— Да нет! Когда я узнал, что она задохнулась...

— Откуда ты узнал?

— Черт возьми, теперь ты меня допрашиваешь! Мне это не очень нравится, крошка! Ну, в конце концов, скажу тебе все как на духу, раз уж ты избавилась от предрассудков, чтобы ты из-за меня не волновалась. Сегодня утром мне надо было переговорить с Сюзанной. Я позвонил ей в десять часов...

— Выходит, когда ты вчера вечером рассердился, то пошел к ней?

— Ты слишком многое себе позволяешь, милочка!

— Не сердись... Значит, ты ей позвонил сегодня в десять?

— Да... Она не отвечала. Я стал ругать телефонистку, настаивал, чтобы она попробовала соединить еще раз. Но дозвониться не удалось. И у меня появилось дурное предчувствие... Я решил, что что-то произошло, сел в «шевроле» и отправился к ней. Когда я подъехал к дому, консьержка мне сказала: «Ах, месье, случилось ужасное несчастье! На лестнице запахло газом. Жильцы забеспокоились... Я вызвала слесаря, взломали дверь... Бедная девушка! Я сразу вызвала полицию, и меня спросили, часто ли мадемуазель

приглашала гостей. Я ответила, что у нее бывал только один господин, очень приличный, должно быть, ее друг. То есть вы! Я правильно поступила, рассказав об этом?» Я поднялся наверх, зашел в квартиру: там уже орудовала полиция, и все были в сборе — медицинский эксперт, фотограф. Шел обыск... Ну, в общем, классическая картина. Видела бы ты бедную Сюзанну! Она лежала на постели с фиолетовым лицом. Она даже не разделась! И страшно воняло газом! Я вообще-то не слабак, но еле сдержался — меня чуть не вырвало! Такие вот дела!

— А дальше?

— Дальше от меня потребовали предъявить удостоверение личности. Я сказал, что живу здесь с тобой и что покойница наша знакомая.

— Наша знакомая?

— Но ведь так оно и есть! Ты же познакомилась с нею раньше, чем я, когда вы обе работали манекенщицами. Никогда нельзя врать полиции: рано или поздно это оборачивается против тебя; разумеется, я не вдавался в подробности. К чему? Вполне возможно, что и тебя допросят, чтобы проверить, правду ли я сказал. Ты должна отвечать точно так же.

— Хорошо.

— Инспектор, ведущий следствие, не видит в деле ничего необычного. Он сказал, что, по его мнению, это банальное самоубийство... Через сутки они дадут разрешение на похороны, и дело будет закрыто...

— А других вопросов не задавали?

— Ах, да. Меня спросили, на что она жила и были ли у нее еще друзья, кроме нас.

— И что ты ответил?

— ...Правду! Что, должно быть, у нее было много друзей, потому что она никогда не казалась нам воплощением добродетели! Что касается ее доходов, я сказал, что об этом ничего не знаю. Пришлось солгать, чтобы не портить репутацию покойной!

— Ты поступил правильно.

— Я не стал вдаваться в детали, уточнять. К чему? Они все вынюхают и без моей помощи! Эти полицейские совсем не идиоты! Ну, успокоилась?

— Не совсем... А за комнату она сама платила?

— Тебе вряд ли понравилось, если бы платил я.

— А машина записана на нее или на тебя?

— Техпаспорт оформлен на мое имя... Это могло показаться подозрительным, но я опередил их и объяснил ситуацию раньше, чем меня об этом спросили.

— А как ты выкрутился?

— Элементарно: сказал, что Сюзанна попросила одолжить одну из моих машин, и мы с тобой охотно согласились, потому что у тебя есть другая. Я даже добавил, что хотел бы получить ее назад. Полицейские нашли техпаспорт в сумочке Сюзанны, проверили его и объявили, что я могу забрать машину...

— И где же она теперь?

— Поставил в гараж. Хоть ее удалось выцарапать в возмещение прочих убытков!

— Каких убытков?

— Можно было продать все ее платья и шубы, чтобы покрыть расходы на похороны! У нее не нашли денег, и неизвестно, есть ли у нее родственники, и я сказал этим господам, что мы с тобой готовы взять на себя все расходы в память о старой дружбе. Мы обязаны так

поступить. Не ты ли сама сказала позавчера, что она виновница нашего счастья?

Оба надолго замолчали. Что скажешь, выслушав такие великодушные слова? Месье Боб наблюдал за подругой, казалось, она снова задумалась и помрачнела.

— Знаю, — сказал он наконец, — у тебя доброе сердце, милая Агнесса. Но будь благоразумна. Не убивайся: она сама того хотела.

— Раз мы платим за похороны, значит, придется пойти на них?

— Конечно. Но все закончится очень быстро: ведь самоубийц не отпевают в церкви. Из ее мебелишки поедем прямо на кладбище.

— Ужасно! Меблирашка, кладбище...

— Таков итог жизни.

— И это все, что ты можешь сказать о ней на прощание?

Он не ответил, и она продолжала настаивать:

— Как-никак, она годами «работала» только на тебя!

Тут он задумался и сказал:

— Вот в этом я не совсем уверен...

— Почему?

— Так, есть основания... Послушай, хватит об этом! Давай сменим пластинку! Это все не очень-то весело!

— Клянусь, я больше никогда не спрошу о ней, если ты искренне ответишь на мой последний вопрос...

— Ну, валяй, — ответил он раздраженно.

— Ты так равнодушен к ее смерти... Значит, ты не любил ее?

— Да никогда я ее не любил...

— Как, даже до знакомства со мной?

— До тебя? Я ведь велел ей подыскать мне другую женщину, потому что с ней больше жить не мог...

— А ведь ты и меня однажды попросишь подыскать тебе другую женщину?

Он удивленно взглянул на нее, потом ответил:

— Не глупи, Агнесса... Поговорим о серьезном. Вернемся к делу. Об одном я не мог поговорить с тобой раньше, потому что приходилось делать вид, будто я не знаю, чем ты на самом деле занимаешься... Сегодня, наконец, запрет снят... Милая Агнесса, ты и не представляешь себе, как мне всегда нравилось твое имя — Агнесса. Какое оно нежное и изысканное. Так и подмывает добавить частицу «де» после него: Агнесса де... И именно поэтому мне хотелось бы оставить его только для нас двоих, не надо использовать его на работе! Такое имя нельзя опошлять! Почему бы тебе не взять другое, боевую кличку, менее изысканную, но более пикантно звучащую для клиентов?.. Тебе нравится имя Ирма?

— Но ведь оно вульгарное.

— Зато запоминается...

— Ирма так Ирма... С этой минуты нет больше Агнессы!

— Вот уж нет! Агнесса останется, но только для одного мужчины — Робера!

— Это твое настоящее имя?

— Да, настоящее... Месье Боб и красотка Ирма — годятся только для работы! Ты же знаешь, почти все крупные артисты берут себе псевдонимы...

Так они и продолжали жить вместе.

Каждый день повторялось одно и то же: она уходила во второй половине дня и возвращалась далеко за полночь. Обессиленная, она ложилась в постель рядом с мужчиной, который давно уже сладко спал. Раньше полудня они не просыпались. Затем впопыхах совершали утренний туалет: он принаряжался, готовясь к каким-то таинственным занятиям, главным из которых было посещение игорного дома; а ей нужно было успеть принарядиться и подкраситься, чтобы привлечь новых клиентов. Только в этот час они успевали поговорить друг с другом. Разговор чаще всего начинался с вопроса, ставшего почти ритуальным:

— Сколько ты вчера заработала?

— Сорок...

Она редко приносила меньше, чаще гораздо — больше. Агнесса-Ирма теперь хорошо освоила свою профессию. Она «работала» в определенном ритме. Он спрашивал: «Сколько ты заработала вчера», — как обычно спрашивают: «Как спалось», — и женщина называла сумму, словно она не существо из плоти и крови, а касса-автомат. Тогда мужчина произносил повелительным тоном слова, вмещавшие в себя весь смысл их совместной жизни:

— Дай сюда!

Иногда, спрятав выручку в карман, он становился нежным, но такое случалось все реже и реже, потому что его поведение определялось не влечением к ней, а лишь желанием утвердить свою власть. А потом он говорил:

— Хорошо, малышка. Ты заслужила награду...

Для нее эти «награды», так долго остававшиеся единственным смыслом существования, превратились в настоящий кошмар. Когда умерла Сюзанна и Агнесса почувствовала, что Боб, несмотря на все свои рассказы, несет ответственность за эту смерть, даже является ее непосредственным виновником, плотские радости, которые он прописал ей малыми дозами, как бесценный эликсир жизни, потеряли всякую привлекательность. Она терпела Боба так же пассивно, как и любого случайного клиента. Но отвращение к нему все нарастало, и, пусть она и пыталась обмануть его, как и клиентов, часто ей с трудом удавалось скрыть, насколько он ей противен. Однако ее тело так основательно свыкло с необходимостью прислуживать этому хозяину, что, когда он принимался обнимать и ласкать ее, она порой снова испытывала привычное наслаждение. Потом она еще сильнее презирала себя и ненавидела его.

Что касается Боба, он спокойно относился к «заскокам» подруги: главное, что она приносит прибыль. Его бы вполне устроило, если бы их отношения имели чисто деловой характер, ведь во всех подобных семьях существует привычка избавляться от излишних объяснений.

Агнесса же продолжала упорно надеяться на освобождение, хотя и не представляла себе, как этого добиться. Она твердила про себя, что он убийца. К сожалению, доказательств не было. Будь хоть какие-то улики, полиция уже обнаружила бы их и арестовала преступника. Но, похоже, месье Боб имел все основания утверждать с обычным для него спокойствием, что дело закроют через сутки. Так и случилось. Никто больше и не вспомнит о Сюзанне, разве что... выплывет какая-нибудь неожиданная улика... Вот за какую хрупкую надежду и цеплялась Агнесса.

В отсутствие Боба она тщательно перерыла все его личные вещи и одежду. Там не нашлось ничего, подтверждающего, что рыжая шлюха на него работала. Агнесса подумала, не заявить ли ей в полицию на своего «покровителя». Но ему могли предъявить обвинение

лишь в сутенерстве, а за такое много не дадут. А может, он и вообще открутится. Боб никогда еще не получал срок: он много раз хвастал Агнессе, что не имеет судимости. Ну, дадут ему несколько месяцев условно, и Агнессе придется расплачиваться за донос, а в преступном мире за такое обычно убивают. Оставался еще один выход, о котором молодая женщина сперва не подумала, но случайная обмолвка самого Боба подсказала его. Однажды вечером, прочитав в газете о суде над сутенером, убившим проститутку, он заявил:

— Ничего не случилось бы, заплати она выкуп, назначенный им за ее освобождение, что за глупая девка! Два миллиона, разве это сумма в наши дни? Была бы жива по сей день, да и он разгуливал бы на свободе.

— А если бы я захотела заплатить выкуп и освободиться, — тихо спросила Агнесса, — в какую сумму ты бы меня оценил?

Он бросил на нее леденяще холодный взгляд:

— Ты? Что за вопрос? Ты же прекрасно знаешь, что мы никогда не расстанемся!

— Но все-таки, ответь: на сколько я тяну?

— На вес золота, — ответил он с иронией. — Ты мне так дорога, что не расплатишься до конца своих дней.

И она поняла, что он никогда не даст ей свободу. Оставалось уповать лишь на чудо — на Элизабет.

Монахиня ласково встречала сестру, когда та навещала ее на авеню-дю-Мэн, и рассказывала ей о своих маленьких новостях, о стариках, расспрашивала о жизни манекенщиц, старательно избегая одной-единственной темы, волновавшей ее с того самого утра, когда Агнесса прибежала к ней в безумном состоянии. Она ни разу не намекнула на переживаемую сестрой душевную драму. Она не приглашала Агнессу в часовню, уверенная, что когда-нибудь та сама попросится туда и, окрепнув духом, осмелится все рассказать. И она встречалась с сестрой в монастырской приемной. Но когда Агнесса уходила, молоденькая сестра-покровительница шла в часовню и задерживалась там каждый раз все дольше и дольше.

Элизабет, чью улыбку в доме престарелых все любили, в последнее время сильно изменилась. Хотя она и продолжала делать вид, будто ей весело, но в этом веселье чувствовалось что-то вымученное. Все в доме — от самого непонятливого старика до самой смиренной сестры-покровительницы — чувствовали, что с Элизабет творится что-то неладное. Никто не осмеливался задавать ей вопросы, но все замечали, что Элизабет постится больше обычного и часто молится до глубокой ночи, а иногда всю ночь напролет, лишая себя отдыха. Ее лицо осунулось. Лишения, которым она добровольно себя подвергла, и горестные раздумья не замедлили сказаться. Уже дважды Элизабет становилось плохо: сначала во время заутрени, а затем когда она убирала мужские спальни. Кончилось тем, что она потеряла сознание в трапезной, и сестра-фельдшерица сделала ей укол, чтобы привести в чувство.

Настоятельница, Мать Мария-Магдалина, сильно разволновалась. Как только Элизабет стало лучше, она вызвала ее в свой кабинет.

— Что происходит, сестра моя?

— Ничего, Преподобная Мать.

— Мне не нравятся эти обмороки. Такого не должно быть в вашем возрасте. Устав нашей общины не слишком суров для вас?

— Нет, Преподобная Мать.

— Я решила показать вас нашему врачу.

— Уверяю вас, Преподобная Мать, это излишне.

— Не думаю: нужно полечиться, восстановить силы. Может быть, стоит отправить вас на несколько месяцев отдохнуть в один из наших домов отдыха.

При этих словах на лице Элизабет появилось выражение несказанной тревоги.

— Умоляю вас, Преподобная Мать, не делайте этого! Мне необходимо оставаться здесь, со стариками, которые так в нас нуждаются, с милыми сестрами, среди которых я счастлива!

Не могла же она сознаться, что ей необходимо оставаться на авеню-дю-Мэн главным образом ради встреч с Агнессой! Что станет с нею, если в один прекрасный день сестра-привратница сообщит:

— Сестра Элизабет уехала. Ее отправили на отдых в провинцию.

Агнесса расстроится. А ведь она приходит к сестре — и Элизабет это чувствовала, — главным образом потому, что надеется на ее поддержку, пусть и не осмеливается в этом признаться.

Мать Мария-Магдалина, заметив ее растерянность при мысли о возможном отъезде, сказала:

— Подобные физические недомогания у вас от постов и многочасовых молитв. Вы подвергаете себя испытаниям, которых вовсе не требует Устав Ордена. К чему такой аскетизм и мученичество, вредоносные для выполнения сестрой-благотворительницей своей миссии? Неужели вы не понимаете, что настанет день, когда силы совсем вас оставят и придется прекратить всякую работу? Наше дело от этого только пострадает. Мне нужна каждая из сестер, вас ведь не так много.

Элизабет ничего не ответила и лишь смиренно склонила голову.

— Не забывайте, — продолжала настоятельница, — что вы принадлежите к монашескому ордену, стремящемуся не к созерцательности, а преимущественно к активному служению добру. Сколько требуется физической энергии, чтобы проявлять милосердие, ухаживая за стариками. Не это ли наиболее полезный для вас вид молитвы! Господь хочет, чтобы вы крепили свое здоровье и сохраняли силы, потребные для выполнения добровольно принятых на себя обязанностей. Почему в последнее время вы предпочитаете следовать по пути Марии, хотя находитесь среди нас потому, что избрали путь Марты?

Элизабет опустила на колени перед настоятельницей:

— Я молю Господа даровать мне прощение, ибо я нарушила Устав Ордена. И вы простите меня, Преподобная Мать...

— Похвально, сестра моя, что вы лучше осознаете, в чем ваше земное предназначение. Вспомните слова первой настоятельницы нашего монастыря, сестры Марии де ла Круа: «Сестры мои, избегайте излишнего усердия в трудах ваших! Будьте терпеливее. Не пытайтесь упредить самого Господа Бога...»

— Сознаюсь перед Вами, на мне лежит большая вина. И я обязана искупить ее.

— Большая вина? Перед кем?

— Перед сестрой моей, Агнессой. Я уделяла ей слишком мало внимания.

— Разве вы забыли, что отреклись от мира, в том числе и от вашей семьи?

— Я не могу оставаться равнодушной к страждущей и, может быть, заблудшей душе...

— А вы уверены, что это так?

— Я чувствую, что с сестрой творится неладное. Она ничего не рассказывает, но я вижу,

как ей плохо.

— Вы исповедались?

— Да, Преподобная Мать.

— И какова была воля Божья, высказанная устами священника?

— Молиться за сестру, продолжая в то же время ухаживать за стариками.

— Да будет так! Но один долг не должен мешать исполнению другого! Вы свободны, сестра.

Элизабет вернулась к своим обязанностям. Но напрасно она трудилась не покладая рук: ничто не отвлекало ее от мыслей о своей «большой вине». Как легкомысленно она поступила, полагая, будто молитв одной сестры достаточно, чтобы уберечь душу другой от соблазнов мира. Как она допустила, чтобы Агнесса стала манекенщицей? Ведь тем самым она одобрила и по существу поощрила ее кокетство!

Поэтому, несмотря на строгое предупреждение настоятельницы, несмотря на заботу сестер по вере, силы Элизабет таяли с каждой неделей. Днем и ночью она думала лишь о жертве, которую должна принести, лишь бы помочь Агнессе освободиться от ее страшной тайны, и это пересиливало и ее волю, и ее веру.

И вот однажды, когда Агнесса пришла повидать сестру, привратница сообщила ей:

— Вы явились вовремя. Мать-настоятельница хотела написать вам. Сестре Элизабет нездоровится.

— Что вы говорите? — заволновалась Агнесса.

— Бедняжка слишком переутомилась в последнее время... Говорила она вам, что уже несколько раз теряла сознание?

— Я заметила, что она плохо выглядит, но она уверяла меня, что все в порядке. Так она теряла сознание?

— Позавчера с ней случился серьезный обморок. Пришлось вызвать врача. И знаете, что он обнаружил? Мне не следовало бы вам говорить, но ведь вы же единственная ее родственница! Она наложила на себя епитимью и умерщвляла плоть власяницей. Достоинейшее поведение, но, к сожалению, ее организм, и без того изнуренный повседневными трудами, не смог такое выдержать. Она так слаба, что пришлось положить ее в монастырский лазарет. Я предупрежу Мать-настоятельница, что вы пришли.

Кабинет Матери Марии-Магдалины выглядел таким же строгим, как и приемная, с той только разницей, что вместо статуи святого Иосифа на стене было большое распятие.

— Дитя мое, — сказала, здороваясь с ней, Мать Мария-Магдалина, — ваша сестра меня очень беспокоит. Несмотря на мои предупреждения, она продолжала умерщвлять плоть, и это пагубно сказалось на ее здоровье. Не могу понять истинную причину такого поведения, сколько бы ни думала об этом и ни молила Бога просветить меня. Наш священник тоже в полном недоумении. Мне кажется, дело не только в естественном стремлении служить Господу. Сестра Элизабет из-за чего-то серьезно переживает. И я спросила себя, не вы ли стали косвенной причиной ее душевной тревоги?

— Я? — переспросила Агнесса, и лицо ее вспыхнуло.

— Поймите меня правильно. Я не собираюсь возлагать на вас ответственность за ухудшение здоровья сестры Элизабет. Но вы же знаете, как она любит вас. Вам известно также, что все мы, старики и сестры, относимся к вам, как к близкому другу нашей общины. Мы любим вас и поэтому волнуемся, не произошло ли в вашей жизни какое-то событие, которое могло, помимо вашей воли, пагубно сказаться на здоровье вашей сестры. Я позволю

себе говорить вам это только потому, что вы ее единственная родственница, о ком же ей еще беспокоиться, если не о вас? Вся ее любовь в миру отдана вам и старикам. Вряд ли старики могли причинить ей такие огорчения, следовательно, остаетесь только вы...

Наступило долгое молчание, Агнесса заметно побледнела:

— Можно мне навестить Элизабет в больнице?

— Я сама отведу вас туда. Сестра Элизабет находится в палате, предназначенной для наших больных сестер. Как правило, посещать их запрещено, но для вас мы сделаем исключение.

Перед входом в больницу Мать Мария-Магдалина обернулась к Агнессе, молча следовавшей за ней по лестницам и коридорам:

— Если в моих предположениях есть хоть доля истины, обещайте мне быть достаточно искренней с самой собой и сделать все от вас зависящее, чтобы ваша сестра вновь обрела улыбку, которой нам так не хватает!

— Обещаю вам.

Мать Мария-Магдалина подошла к постели Элизабет и нарочито беззаботно и весело произнесла:

— Сестра моя, посмотрите, кто к вам пришел! Это посещение доставит вам радость! Оставляю вас вдвоем. На этот раз у вас будет время побеседовать! Но будьте осторожны, Агнесса, наша больная еще слишком слаба, ей нельзя много говорить.

Когда настоятельница ушла, Агнесса со смешанным чувством беспокойства и удивления стала рассматривать сестру. Такой она ее видела впервые.

Элизабет была без накрахмаленного чепца, в котором она ходила всегда после пострижения в монахини. Агнесса снова увидела волосы сестры, такие же светлые и золотистые, как у нее, но коротко подстриженные, зачесанные назад. Такая прическа молодила. В ней было что-то странное и привлекательное. Бледность и худоба превращали монахиню в какое-то нереальное существо.

Агнесса подошла к постели и, взяв руки Элизабет в свои, тихо сказала:

— Ничего не говори, дорогая. Я знаю, отчего ты больна. Это я виновата... Поправляйся поскорее; я скоро навещу тебя снова, я постараюсь успокоиться за это время... Я очень люблю тебя...

Она замолчала, продолжая держать руки Элизабет в своих и глядя ей прямо в глаза. На губах Элизабет появилась улыбка, и так они молчали, держась за руки и глядя друг другу в глаза. Сестры-близнецы чувствовали, как между ними возникает душевная близость, как два существа сливаются в единое целое, чистота одной передается другой, а порочность Агнессы смывается водами целебного и чистого источника — Элизабет.

Выйдя из дома престарелых и ничего не замечая вокруг себя, Агнесса села за руль машины. Перед ее глазами по-прежнему стояло лицо сестры, бледное и худое, с коротко остриженными волосами. Немного проехав, она остановила «аронду», чтобы не попасть в аварию; она поняла, что не может сосредоточиться ни на чем, кроме мыслей о сестре. Агнесса побрела, как сомнамбула, по тротуару, сама не зная, куда идет и где находится. Вдруг она остановилась, словно очнувшись, у входа в парикмахерскую. В витрине были выставлены восковые головки, демонстрирующие разные прически: одна из них с короткой стрижкой привлекла к себе внимание Агнессы. Она вошла в салон.

— Постригите меня покороче, — пробормотала она.

Парикмахер удивленно посмотрел на клиентку. Взор ее блуждал. Не наркоманка ли?

— Садитесь, мадам. Как вас подстричь?

— Как можно короче.

— Вы хорошо подумали, мадам? Жалко стричь такие волосы. Может, оставим часть локонов?

— Нет, нет, никаких локонов, сзади совсем коротко.

Парикмахер зачесал волосы назад и, собрав их вместе, залюбовался ими, прежде чем начать орудовать ножницами.

— Жаль!..

— Стригите! — решительно приказала она.

По мере того как золотые локоны падали с головы Агнессы, она, казалось, приходила в себя. Теперь она увидела в зеркале лицо Элизабет, и это подбодрило ее.

— Еще короче с боков, пожалуйста, и на затылке тоже.

Улыбаясь в зеркале скорее сестре-близняшке, чем себе самой, она вновь обретала спокойствие и уверенность в себе. Окончив работу, парикмахер взглянул на головку Агнессы, пытаясь оценить ущерб.

— В конце концов, в этом тоже что-то есть... Мадам довольна? Если потом пожалеете, через несколько недель можно будет сделать более изящную прическу.

— Нет, я ни о чем не пожалею, — сказала Агнесса.

Принесенные в жертву локоны сближали с Элизабет. Конечно, морально они были по-прежнему далеки друг от друга, и потому инстинктивно хотелось подчеркнуть хотя бы физическое сходство.

— Наверное, вам хочется сохранить отрезанные волосы? — спросил парикмахер. — Из них можно сделать шиньон или накладку, это очень пригодится вам для торжественных случаев.

— Сожгите их. Я теперь всегда буду носить только такую прическу.

Увидев ее, месье Боб даже вскрикнул:

— Ты что, ополоумела? Какое ты имела право подстригаться?

— Разве я не могу распоряжаться собой?

— Конечно, не можешь, и тем более тебе никто не разрешал обезобразивать себя! Как тебе такое взбрело в голову? Нужно было посоветоваться со мной. Все, что касается твоей сексуальной привлекательности, работы, доходов, — это мое дело. Тут только я могу решать.

Она ответила ему с твердостью, какой он никогда раньше не замечал:

— Мне нравится эта прическа, и я всегда буду носить ее. Тебе мотив нужен? Пожалуйста: я дала обет.

Он пожал плечами.

— В конце концов и такой стиль имеет свои плюсы. Многие клиенты пожалуют о твоих золотистых кудрях, но найдутся и другие, которым понравится стрижка «под мальчика» а-ля Жанна д'Арк. Она чуть скрадывает женственность, но это тебе, может, даже на пользу.

На следующий день белый автомобиль Агнессы тихо крался вдоль тротуара в поисках добычи. Вдруг она заметила, что оказалась в хвосте у красного «М.Г.», за рулем которого сидела привлекательная брюнетка.

Сама не зная почему, Агнесса-Ирма притормозила, ей не хотелось обгонять другую машину. Надо бы увеличить дистанцию, зачем конкурентке из английского «родстера» знать, что за ней увязалась другая профессионалка. А сомневаться не приходилось:

брюнетка занималась тем же ремеслом и искала клиента. Достаточно понаблюдать несколько минут, чтобы раскусить ее тактику. Как только брюнетка замечала шикарную машину, одинокий водитель которой смотрелся достаточно солидно, она сбавляла скорость и пропускала его вперед, давая ему возможность полюбоваться собою. Затем, дав газ, она в свою очередь стремительно обгоняла одинокого водителя. Пронесясь мимо, она бросала на него быстрый зазывный взгляд, в котором читались вызов и приглашение к приключению.

Тактика соперницы, прекрасно известная и самой Агнессе, быстро дала результат: водитель представительного американского «крайслера» поймался на крючок и неотступно следовал за маленьким английским автомобилем. Брюнетка подцепила клиента, и на глазах у Агнессы обе машины укатили прочь.

Но «жена» Боба невольно вспомнила Сюзанну, прибежавшую к точно таким же маневрам, ее машина была той же марки, только другого цвета. Рыжая шляха разъезжала в зеленой, а брюнетка — в красной. Цвет автомобиля гармонировал с волосами женщин. Гармонировал? Агнессу пронзила внезапная догадка: а не заменила ли темноволосая шляха рыжую? Ведь так несложно перекрасить автомобиль. Зеленая принадлежала Бобу, который заявил, что поставил ее в гараж и собирается продать. Но продал ли на самом деле? А может, решил, что выгоднее передать ее другой профессионалке? Ему не трудно найти замену Сюзанне: всегда найдутся женщины, готовые торговать своим телом.

Агнессе не надо было долго наблюдать за брюнеткой, чтобы сообразить, что та относится именно к этой породе. Достаточно только взглянуть на нее. Красивая бабенка, но вульгарная. Еще вульгарнее, чем Сюзанна. Месье Боб прекрасно понимает, что выгоднее использовать женщин разного типа, чтобы привлекать клиентов с различными вкусами. Ведь благоразумнее пить воду не только из одного источника? Три года Агнесса и Сюзанна работали на Боба, но их «профессиональные пути» ни разу не пересеклись...

Агнесса дала себе зарок, что если встретит «охотящуюся» брюнетку, то затронет ее и, главное, постарается добиться, чтобы та разговорилась. Она хотела удостовериться сама, может, брюнетка и незнакома с месье Бобом, или, хоть это звучит невероятно, она и в самом деле заменила Сюзанну! Если так, нужно сделать из нее союзницу, чего бы это ни стоило!

Наконец-то стал понятен секрет могущества сутенера: никакого взаимодействия между женщинами быть не должно. Не зря он требовал, чтобы Агнесса и Сюзанна не общались друг с другом; и как только случай свел их, он сделал все, что от него зависело, чтобы снова их разъединить. После смерти Сюзанны ему показалось, что он достиг своего, но на самом деле заблуждался: рыжая шляха осталась в памяти Агнессы как настоящий друг. И ей хотелось восполнить утрату, найти другую подругу. Только объединившись, жертвы станут достаточно сильны, чтобы добиться свободы.

Агнесса практически не сомневалась, что скоро снова встретит брюнетку: та, видно, тоже каждый день выходила «на охоту». В конце концов, не так уж и много в Париже брюнеток водят красные «М.Г.»!

Не прошло и двух дней, как она снова увидела знакомый автомобиль на пересечении авеню Георга-У с улицей Франциска I. Машина свернула направо и, развернувшись, остановилась в нескольких метрах от кафе «Кальвадос». Брюнетка вышла из машины и пошла в бар. Выждав пару минут, Агнесса последовала за ней, и они оказались на соседних табуретах. В эти послеполуденные часы бар был почти пуст.

Когда Агнесса села рядом со стойкой, брюнетка бросила на нее дерзкий взгляд, в котором явно сквозила досада. То была дерзость молодости. Девице, вероятно, едва

исполнилось двадцать два, и вновь прибывшая воспринималась ею как «старуха»; да еще заняв соседний табурет, соперница не оставила места для потенциального клиента. Агнесса сразу поняла, что брюнетка видит конкурентку в любой женщине, независимо от ее вида или манер. Она обладала, наверное, тем особым профессиональным чутьем, которое позволяет проститутке безошибочно определить себе подобную, пусть даже та и пытается скромностью одежды и поведения скрыть свое истинное занятие.

Итак, Агнесса-Ирма и незнакомка, заказав по бокалу джина с тоником, разглядывали и оценивали друг друга. Брюнетка, начисто лишённая такта, не скрывала своей враждебности к манерной блондинке, усевшейся рядом, конечно же, только из желания напаковать. Она и не подозревала, что Агнесса вовсе не собиралась отбивать ее клиентов, а просто хотела познакомиться. Она искала подходящего предлога, чтобы завязать разговор. Сама девица вскоре предоставила ей такую возможность, спросив весьма нелюбезным тоном, едва смягченным профессиональной улыбкой:

— Вы часто здесь бываете?

— Никогда! — ответила Агнесса, пытаясь улыбнуться как можно доброжелательнее.

— Я тоже... Говорят, вечером здесь много людей, но я выезжаю только днем. Мой друг считает, что ночью опасно...

— Какое благоразумие, — сказала Агнесса, удивленная непосредственностью своей собеседницы.

— Я вам рассказываю о своем друге, — продолжала брюнетка, — потому что предполагаю, что и у вас есть свой друг. Ведь при нашей профессии...

Агнесса побледнела. Впервые ей столь прямо дали понять, что ее профессия не вызывает сомнений... А ей-то казалось, будто удастся не походить на профессионалку. Она никогда не афишировала своих связей и либо ходила с клиентами к ним домой, либо принимала их у себя, либо, на худой конец, обслуживала их в очень укромных местах. К тому же она всегда «работала» одна, избегая знакомств с другими женщинами этого круга. Агнесса знала, что профессиональная проститутка всегда рада вовлечь в свою среду других, еще не запятнанных. Но она наивно полагала, что профессия еще не наложила на нее своего отпечатка, и потому слова этой девки восприняла как пощечину, какой еще никогда ни от кого не получала. Брюнетка же по-прежнему сверлила ее взглядом, довольная достигнутым эффектом, она сумела дать понять этой гордячке, что ее на мякине не проведешь.

— Я работаю чаще всего в машине, — продолжала она. — А вы?

Агнесса помедлила с ответом, но потом решила, что в ее положении лучше всего сделать ставку на искренность, только так она сможет расположить к себе эту девчонку и добиться, чтобы она заняла место Сюзанны. А там будет видно: если она не имеет никакого отношения к месье Бобу, их знакомство закончится на этом единственном разговоре.

— Я тоже, — ответила она, — а какая у вас машина?

— Английская, марки «М.Г.», — ответила брюнетка с ребяческой гордостью.

— Поздравляю! А у меня всего лишь «аронда». Ваша дорого стоит?

— Мне ее подарил друг...

Видно было, что ей нравится говорить о своем друге! Из этого Агнесса заключила, что он, должно быть, завелся совсем недавно.

— Щедрый... — проговорила она, — давно он у вас?

— Какая вы любопытная! Но я вам отвечу, потому что ничем не рискую: все равно я его никому не отдам!

— Ну мне-то он зачем? Знайте, что не только у вас есть любящий друг.

— У вас тоже? А как вас зовут?

— Кора.

Эта ложь показалась совершенно естественной. Вдруг девица расскажет о ней кому-нибудь, тем более другу? Лучше не произносить имени Ирмы и, тем более, Агнессы.

— Это настоящее имя? — спросила девица слегка недоверчиво.

— Настоящее.

— Кора... звучит изящно! Это имя роковой женщины. Мне очень бы хотелось взять какое-нибудь имя в таком же роде, но он слушать не хочет! Он считает, что мне подходит и мое собственное — Жанина.

— Жанина — это очень милое имя.

— Вам тоже так кажется? Мне все говорят то же самое. Но когда занимаешься таким ремеслом, это не радует. На «очень мило» деньгу не зашибешь. Надо уметь за себя постоять.

— Куда вам! Ведь вы вовсе не такая злая, какой пытаетесь казаться.

— Как вы догадались?

— Не знаю.

Сердитое лицо Жанины просияло, и, впервые открыто улыбнувшись, она призналась:

— Правда, я совсем не такая. В душе я очень чувствительная. Если бы вы знали, какая я привязчивая!

— При нашей работе это опасно!

— Сейчас мне нечего бояться: обо мне заботится мой Фред. А с другими один обман!

— Его зовут Фред?

— Да. А вашего?

— Андре.

— Нам повезло.

— Да, очень...

— Давай перейдем на «ты»!

— Я и сама хотела это предложить!

Дружба завязалась.

К сожалению, пользы никакой: этого друга звали Фредом. Месье Фред, а не месье Боб... Но почему бы ему не быть также и месье Бобом, коль скоро сама Агнесса-Ирма назвалась Корой? Может, это такой же Фред, как и Жорж? Ведь он должен каждый раз выдавать себя за кого-то другого. Месье Боб представлялся, например, Жоржем Вернье, крупным специалистом по импортно-экспортным операциям... Разве не могла чувствительная женщина угодить в ту же ловушку, что и Агнесса? Она явно влюбилась, как когда-то Агнесса и Сюзанна, и хвасталась этим. Когда у нее откроются глаза, будет уже слишком поздно: ее опутают сетями... Вот тогда-то и придется ломать голову, как освободиться. Тот же инстинкт, что толкнул сидевшую за рулем «аронды» женщину последовать за «М.Г.», подсказывал, что брюнетка действительно заменила Сюзанну. И она задала вопрос, безобидный на вид, но способный пролить свет на многое.

— Мне пора. Как бы нам договориться о новой встрече? По телефону?

— У меня есть телефон, но Фред не хочет, чтобы я давала свой номер. Обычно мне звонят в бар на улице Комартен. Там все очень любезные. Ты просто спросишь меня или попросишь что-то передать; я туда заглядываю каждый вечер около восьми, а потом иду домой. Запиши телефон: опера 93-11. Ну, а если мне захочется повидаться с тобой?

— У меня тоже есть телефон, но я живу с Андре и...

— Вместе с ним? — переспросила восхищенная Жанина. — А давно?

— Уже три года.

— Три года?

Восхищение на ее лице сменилось почти благоговением.

— Вначале, первые несколько недель, Фред бывал у меня каждый, день и оставался допоздна. Но сейчас он должен возвращаться домой гораздо раньше. Он женат...

— Женат?

— Да. У него очень ревнивая жена... Поэтому мы встречаемся с ним во второй половине дня, перед тем как я отправляюсь искать клиентов.

— И ты работаешь на него, зная, что он женат?

— Конечно, потому что люблю его, а он любит меня.

— Но ведь он тратит на свою законную жену деньги, которые ты ему приносишь?

— Вовсе нет! Фред честный. Его жена — настоящая фурия, она богатая, но не дает ему ни гроша, все держит при себе. В буржуазной среде бывают такие женщины. Поэтому бедный Фред очень рад своей малышке Жанине. И потом, я так ему обязана, он столько сделал для меня. «М.Г.» — это ведь его машина! Кстати, это единственный подарок его жены! И видишь, он отдал ее мне. Потрясающе, правда?

— Пожалуй. А жена не удивляется, почему он не возит ее на машине?

— У них есть другая — «шевроле».

Агнесса вздрогнула, а девица продолжала:

— Фред не только это сделал для меня! Он нашел мне прекрасную меблированную квартиру на авеню Карно. Ты знаешь, где это?

— Примерно...

— Когда-нибудь, когда я буду знать наверняка, что он не придет, я потихоньку приглашу тебя. Ты увидишь, там очень мило.

— А давно ты там живешь?

— Почти три месяца.

— А где жила раньше?

— В маленькой гостинице на улице Мигаль, которую терпеть не могла...

— И тогда ты познакомилась с Фредом?

— Я познакомилась с ним раньше, месяцев шесть назад, совершенно случайно, в баре на улице Понтье.

— На улице Понтье? — повторила потрясенная Агнесса.

— Да. Почти на углу улицы Боэси. Я зашла туда, потому что мне все опротивело... У меня оставалось денег только на то, чтобы чего-нибудь выпить. Фред там был, тоже один. У него был такой скучающий вид! Но не из-за денежных неприятностей. Он грустил, потому что никто не любил его, в том числе и его эгоистка-жена. Он угостил меня рюмочкой, потом предложил другую, пригласил меня пообедать вместе. Мы сели в его красивый голубой «шевроле» и поехали в плавучий ресторан возле Сен-Клу. Знаешь такой?

— Я там была. Давно...

— Там он стал меня расспрашивать. Я рассказала ему все как на духу; я сначала работала ученицей в швейной мастерской, но она внезапно обанкротилась, и весь персонал уволили. Управляющий собрал нас и объявил, что нам выплатят зарплату, но надо подождать несколько дней. Для меня это была катастрофа! Фред был так мил. Он обещал

заняться мною и отвез в гостиницу. Когда он увидел, в какой трущобе я живу, то сказал, что это неподходящее место для такой девушки, как я...

— Тогда ты была еще девушкой?

— Ну, можно сказать... почти. Как у всех, у меня уже были кое-какие приключения... Фред добавил, что мне обязательно нужно переехать в более приличный район, и сунул мне в руки пять тысяч франков... Я никогда не забуду эти пять тысяч! Они меня просто спасли, потому что я смогла расплатиться за комнату в гостинице, и еще я поняла, что можно хорошо зарабатывать, обедая в шикарных ресторанах, вместо того чтобы гробить свое здоровье, вкалывая по восемь-десять часов в день в мастерской. Вечно буду ему за это благодарна.

— Сколько ему лет?

— А, тебе хочется познакомиться с ним! Не выйдет! Я его сохранию для себя! Он мой, понимаешь?

— Понимаю... В тот вечер, когда он дал тебе деньги, он не зашел к тебе в номер?

— Да разве Фред мог так поступить! Он настоящий джентльмен! Он назначил мне свидание на следующий день в том же баре на улице Понтье, в три часа дня, и уехал. Представляешь, как я туда помчалась!

— А потом?

— Потом? В тот день я стала его женой, настоящей женой, потому что другую нельзя принимать в расчет. Он мне сто раз это говорил!

— А ты видела другую?

— Нет.

— Он тебе даже фотографию не показывал?

— Ты думаешь, он носит с собой ее фотографии? И потом, мне на нее чихать. Я знаю, что она старше меня... Этого достаточно.

— А когда ты стала его женой, он начал помогать тебе?

— Он помог мне продержаться и нашел меблированную квартиру.

— Ты не искала работу в другой мастерской?

— Фред был против. Он сказал мне, что у женщины, занимающейся этим, нет будущего: ни у манекенщиц, ни у швей... Манекенщиц еще приглашают иногда на обеды или в клубы. А нас!..

— Он покупал тебе наряды?

— Да. Он очень много сделал для меня с тех пор, как я поселилась на улице Карно. Месяц назад он принес мне великолепную каракулеву шубу с норковым воротником.

— Норковым?

— Я надену ее как-нибудь, чтобы ты посмотрела.

— Значит, ты стала работать на Фреда только после того, как поселилась в меблированной квартире?

— Но ведь он должен был ввести меня в курс дела, избавить от предрассудков, как он сказал! Я же была совсем зеленая, ничего не знала!

— И тебе нравится это занятие?

— Еще бы! Как и тебе! Все мы похожи друг на друга: нам осточертевает выкладываться за гроши! А сейчас у меня легкая жизнь; я всегда терпеть не могла рано вставать. У меня есть машина, квартира, любимый мужчина... А чем ты занималась до встречи с Андре?

— Ничем. Жила с семьей.

— У тебя есть семья? А у меня нет: я из приюта. Так что мне нечего было терять. А ты ушла из дома?

— Все умерли.

— Да... тебе тоже было одиноко... Я знаю, ничего нет страшнее! Если бы я не встретила Фреда, то, наверное, утопилась бы... Понимаешь, он для меня все! А для тебя Андре тоже?

— Да.

— Самая большая моя мечта — выйти за него замуж! Но в него вцепилась другая!

Агнесса посмотрела на нее и внезапно почувствовала симпатию и жалость. Если бы несколько месяцев тому назад Сюзанна захотела расспросить ее, она отвечала бы точно так же, строила бы такие же планы. Сомнения не оставалось: месье Фред и месье Боб — одно и то же лицо. Во всем чувствовался тот же почерк. Больше всего Агнессу поразило, что он нашел замену Сюзанне еще при ее жизни. Тайком отправлялся он в бар на улице Понтье, чтобы подыскать очередную жертву. И нашел такую же вульгарную девчонку, как рыжая шлюха, способную обслуживать ту же клиентуру. По привычке он снова обратился к миру моды, но на этот раз это была не манекенщица, а девушка из вспомогательного персонала, которая тоже, по-своему, представляла для него интерес.

— Мы слишком заболтались, — сказала Агнесса, — а время идет. Я очень рада была с тобой познакомиться. Поскольку я старше тебя...

— Не намного!

— Но все-таки! Я воспользуюсь этим преимуществом, заплачу за джин с тоником. Пока мы так глупо потихоньку наблюдали друг за другом, я заметила, что у нас одинаковые вкусы... Бармен, получите!

Она бросила деньги на стойку, и этот жест напомнил ей Сюзанну в тот день, когда та заплатила за такси на площади Трокадеро и, распахнув дверцу «М.Г.», сказала тоном, не терпящим возражений:

— Садись!

Теперь настала ее очередь командовать новенькой. И это позволило ей осознать масштабы проделанного ею пути. На этот раз другая была доверчивой и глупой «ученицей», верящей в любовь некоего месье Фреда.

— Ты останешься? — спросила Агнесса.

— На кой черт! Клиентов нет! Когда ты позвонишь мне?

— Завтра вечером. И договоримся, где встретимся послезавтра.

Они вернулись к своим машинам. Агнесса не спешила, ей хотелось посмотреть, как отъедет «М.Г.» с новой владелицей. Итак, Жанина заменила Сюзанну; красный цвет машины больше подходит к темным волосам, как зеленый — к рыжим. Только контуры мужской фигуры остались прежними.

Когда Агнесса возвратилась домой, она, конечно же, не рассказала Бобу о встрече с брюнеткой. «Муженек» пребывал в отличном настроении. Подсчитывая выручку, он даже счел нужным показать, что удовлетворен.

— Что ты делаешь вечером? — спросил он небрежно.

— Ничего особенного.

— Свиданий нет?

— Нет, отдыхаю. Собираюсь пойти в кино.

— В кино! Все вы одним миром мазаны. Раз ты свободна, я приглашаю тебя...

— Куда?

— В Ангиен: сначала пообедаем в казино, а потом я испытаю судьбу... Сама увидишь, как это увлекательно, да и действует посильнее, чем все фильмы, вместе взятые!

— В честь чего такое приглашение?

— Пора пополнить твое образование, малышка. Скоро поймешь зачем...

Три часа спустя Боб сидел за зеленым сукном, а его партнерами по игре были две немолодые дамы, увешанные драгоценностями. Агнесса, сначала стоявшая у него за спиной, перешла на другую сторону стола и устроилась справа от крупье, откуда удобнее было наблюдать за любовником, с головой ушедшим в любимое дело.

Еще за обедом он сказал ей: «Сейчас посмотришь, как я играю, и поймешь, на что я способен». Это ее заинтересовало.

— Признаю только игру по-крупному, — объяснил он. Покупая в кассе жетоны по пять тысяч франков, он небрежно швырнул пачки денег; пятьдесят жетонов — это двести пятьдесят тысяч франков.

«Вот куда уплывают наши денежки, — с горечью подумала она, — те, что зарабатываю я, те, что приносит Жанина... Но если он играет с таким размахом, ему должно не хватать наших сумм. Где же он берет остальное?»

Бобу страшно везло: жетоны скапливались перед ним на зависть другим игрокам. Время от времени он торжествующе поглядывал на Агнессу, словно хотел сказать: «Видишь, какой я!» Агнесса прикинула, что перед ним уже больше миллиона. В нем все дышало удовлетворением: его поза, широкие и спокойные движения, гримаса превосходства и огненный взгляд, сверкавший из-под полуопущенных век.

Агнесса смотрела на него как замороженная. Этому мужчине так легко удалось загипнотизировать ее. Она открыла в нем новые черты, о которых раньше и не подозревала. Сейчас он находился как бы вне времени и пространства, словно воспарил далеко-далеко за пределами карточной игры, зеленого сукна и выкриков крупье и оказался в ином мире, доступном лишь поэту, сверхчеловеку, канатоходцу или наркоману. Все здесь пребывали, казалось, в ином измерении, но месье Боб как бы возвышался над остальными: чувствовалось, что это настоящий игрок.

Уже несколько раз молодой женщине хотелось крикнуть ему:

— Остановись! Разве ты не видишь, что ставки выросли вчетверо! Ведь, имея такие деньги, мы могли бы позволить себе хороший отдых.

Но она молчала, не осмеливаясь проникнуть в этот чуждый ей мир и понимая к тому же, что это невозможно. Выигрыш или проигрыш сами по себе не имели для него значения. Важны были дрожь, риск, трепет азарта. Она видела, что он не бросит игру, пока останется хотя бы один жетон. А лишившись его, будет способен на что угодно, лишь бы раздобыть новые. Любые средства будут хороши: возвращение несчастных, кража, может быть, даже убийство. Карты жгли руки. Он был в плену у этого порока, как алкоголик. Чем больше она наблюдала за ним, тем яснее видела, как он опьянен игрой, как упивается постоянным риском, находясь почти на грани безумия. И Агнесса вдруг осознала, почему этот ненасытный человек столкнул ее в грязь. Он очень жесток, не способен на жалость. Его мозг, сердце, душа отданы лишь игре, и только ей одной. Все прочее не имеет никакого значения.

Сделав это невероятное открытие, она чуть не лишилась чувств и, чтобы не упасть,

ухватилась за спинку кресла крупье. Оцепенев от ужаса, она следила за непрерывным танцем карт в руках бесстрастного балетмейстера. Потрясенная, она закрыла глаза...

А когда вновь открыла их, перед месье Бобом больше не осталось жетонов. Он взглянул на нее. Его глаза больше не сверкали, а снова стали холодными и стальными. На лице застыла высокомерная гримаса, на губах играла напряженная улыбка. Он спустился с небес и с большим трудом нащупывал почву под ногами.

Он встал из-за стола, и освободившееся место сразу же занял другой игрок, стремящийся испытать те же ощущения, то же опьянение. Поднявшись, Боб подозвал ее жестом. Она покорно подошла, сама одурманенная атмосферой игорного дома.

— Ты принесла мне несчастье. У тебя дурной глаз! Не надо было брать тебя с собой, — только такие слова нашлись у него для нее.

— Но, Боб...

— Замолчи! У тебя есть еще деньги?

— Две-три тысячи франков, не больше.

— Какие гроши!

Она изумленно смотрела на него.

— Ну что тебе? Не думаешь же ты, что я выставлю себя на посмешище и стану играть с такой ничтожной суммой! Я должен поддерживать репутацию. Мне нужно отыгратися во что бы то ни стало! Ты поможешь мне. У тебя еще есть деньги на две рюмки виски. Пойдем в бар!

Они уныло уселись со своими рюмками, и вдруг он сказал ей:

— Видишь, сюда идет мужчина. Это крупный игрок, и у него денег куры не клюют. Пококетничай с ним, ему это очень понравится. Он подкинет тебе несколько жетонов, которые ты потом передашь мне. Поняла? Я исчезаю...

«Крупный игрок» был настроен весело, и вскоре завязался разговор. Агнесса изловчилась, как могла, чтобы объяснить ему, что весь вечер ее преследовало невезение...

— Можете не продолжать! — добродушно ответил он. — Я понял — держите! Попытайтесь отыгратися. Если выиграте, отложите половину денег и не рискуйте ими, а если нет, не искушайте судьбу и благоразумно возвращайтесь домой. Бывают такие дни, когда ничего не клеится! А главное, не огорчайтесь: не повезет в картах, повезет в любви. Такая красавица, как вы, всегда сумеет взять реванш! Я и в этом готов услужить вам!

И прежде, чем вернуться к игре, он выложил перед нею на стойку бара пять жетонов по 10 тысяч франков. Она взяла их и отнесла Бобу. Он небрежно взвесил их на ладони и сказал с пренебрежительной гримасой:

— Не больно густо, но ничего, сойдет...

Десять минут спустя он снова сидел за зеленым сукном. И та же кадрили началась перед Агнессой, не спускавшей глаз с принесенных ею жетонов. Она чувствовала себя так, словно от этой игры зависит ее судьба. Ее охватила та же лихорадка, что сжигала Боба. Когда он раскрыл карты, у нее чуть не остановилось сердце, а затем, когда он сложил стопками перед собой выигранные жетоны, ее охватила бурная радость. Боб действительно великий игрок! За несколько секунд ему удалось вернуть триста тысяч франков! Она уже не хотела просить его остановиться. Да он и не послушал бы... Вскоре он удвоил, а затем и утроил свой выигрыш! Не зря он, видно, сказал, что вернет проигранный миллион...

Опьяненная, она упрекала себя за то, что видела в Бобе человека, способного лишь на

плотские удовольствия: оказывается, ему доступны и другие наслаждения. И она поймала себя на том, что восхищается им. Сюзанна не ошибалась: это необыкновенный человек!

Но чудо продолжалось недолго. Еще несколько карт легли на стол — и снова перед Бобом не осталось ничего. Когда на этот раз он взглянул на нее, его лицо исказила гримаса. Она не вскрикнула, голова у нее не закружилась, но она не смогла сдержать нервного хохота. Все игроки возмущенно обернулись, но она не могла ничего с собою поделать. Боб посмотрел на нее с холодной яростью и, резко поднявшись, направился к ней. Грубо схватив за руку, он потащил ее за собой к выходу, шипя по пути:

— Тебе смешно? Теперь ты насмехаешься надо мной? Что, в морду захотела?

Подумать только, в какой-то момент ей показалось, что в нем есть что-то особенное, что он обладает каким-то могуществом, она разволновалась и снова чуть не увлеклась этим ничтожеством! Она уже больше не смеялась, на глаза навернулись слезы.

В машине, по пути в Париж, он сказал:

— Надеюсь, ты поняла?

— Что именно?

— Не думаешь ли ты, что я привел тебя туда ради развлечения? Ты разве не поняла, что по вечерам, после работы, можешь тоже быть мне полезна?

— Тебе недостаточно того, что я делаю днем?

— По крайней мере, ты увидела, на что идут заработанные тобой деньги. Это не увлекло тебя? Теперь ты знаешь, что я использую их на благородные цели.

— Но, Боб... А как же сбережения, о которых ты мне столько раз говорил?

— Нет уж, не надо этих слов! Нам такое не идет, ни мне, ни тебе! Ты принимаешь меня за обывателя? Как тебе нравится Боб, собирающий деньги в кубышку? Да деньги для меня ничто, плевать я на них хотел.

И, не дожидаясь ее ответа, тихо добавил:

— И тебе, кстати, тоже на них плевать, ты сама доказала это за последние три года, когда отдавала мне все.

Она продолжала тихо плакать.

— Это грязные деньги, — наконец прошептала она, — мы знаем, откуда они берутся, можешь пускать их на ветер, по крайней мере, я избавлюсь от этой грязи.

Он усмехнулся:

— Сегодня ты убедилась, что я так же бескорыстен, как и ты!

— Это нас не спасет...

— Короче, поедешь со мной еще? В те вечера, когда я буду проигрывать, мы сможем пользоваться этой уловкой. Ты пойдешь в бар, а там всегда найдется какой-нибудь кретин, готовый пустить пыль в глаза хорошенькой бабенке, потерпевшей неудачу, отпраздновать с ней выигрыш или утешить в невезении.

Она пожалала плечами. Что на такое ответишь?

Но в глубине души, в минуты полного бессилия всегда звучал один тайный ответ: Элизабет!

На следующее же утро Агнесса отправилась на авеню-дю-Мэн. Элизабет еще была в лазарете. Прежде чем навестить ее, Агнесса поговорила с привратницей — сестрой Агатой.

— Врач был?

— Вчера. Он сказал, что болезнь затянется. Наша больная не сопротивляется ей.

Подумать только, она, всегда такая мужественная! Ничего не понимаю...

Агнесса не ответила, она знала, что к монахине вернутся силы только в тот день, когда она почувствует, что сестра избавилась от своей тревоги. Но как быть? Рассказать ей правду сейчас? Это значило бы нанести ей новый удар, который она не в состоянии будет перенести. Уж лучше продолжать молчать. Единственное, что смогла Агнесса, — это сделать вид, будто она счастлива, жизнерадостна и совсем забыла о своих неприятностях. И по пути в лазарет она сделала над собой усилие, чтобы казаться веселой и непринужденной.

— Вот и я, — сказала она, подходя к постели. — Я решила почаще навещать тебя. Знаешь, сегодня ты лучше выглядишь...

Она лгала, но считала, что иначе нельзя.

В действительности же бледность Элизабет напугала Агнессу. Она исхудала еще сильнее. Воспаленные глаза казались еще больше и смотрели так тревожно, что Агнесса отвернулась. Этот взгляд, выражавший немой вопрос, так взволновал молодую женщину, что она утратила всякую способность притворяться. Монахиня долго смотрела сестре прямо в глаза, потом спросила:

— Почему ты подстригла свои прелестные волосы?

В глазах Агнессы показались слезы.

— Сама не знаю, — прошептала она. — Просто так... Ну и мода, конечно. — И добавила с грустной улыбкой: — Можно подумать, что это ты ввела в моду такую прическу. Посмотри, нас с тобой не различить! Странно, правда?

Внезапная догадка осветила лицо Элизабет. Она взяла руку Агнессы и поднесла ее к губам:

— Милая сестра, я никогда не сомневалась в тебе...

Не желая поддаваться умилению, Агнесса сказала:

— Мне очень хотелось принести тебе букетик цветов. Но это, наверное, запрещено...

— Мы не имеем права даже на цветы на наших могилах, — сказала Элизабет со слабой улыбкой. — Достаточно деревянного креста, больше ничего и не надо.

— Как это грустно!

Агнесса попыталась рассказывать о доме моделей, о подготовке новой коллекции, но вскоре поняла, что больная слушает без интереса, потому что явно не верит ей. Опасаясь, что не сможет долго притворяться веселой, Агнесса встала:

— Я буду приходить часто, — сказала она, — но ненадолго, чтобы не утомлять тебя. Но прежде чем уйти, мне хочется, чтобы ты знала, что я снова счастлива!

— Вот и хорошо. И я тоже успокоюсь.

Элизабет ответила почти шепотом, и ее слова прозвучали скорее пожеланием, чем утверждением. Агнесса поняла, что сестру не обманешь, но что, возможно, она с большей уверенностью смотрит теперь в будущее.

По пути домой, проезжая мимо церкви святого Франциска Ксавье, Агнесса резко затормозила. Ею овладело неудержимое желание зайти в церковь.

Когда тяжелая входная дверь закрылась за ней, она остановилась в нерешительности. Достойна ли она посещать Божию обитель? Но мысль об Элизабет прибавила решимости. Однако молиться Агнесса не осмеливалась. Обходя церковь, она заметила статую святого Иосифа: оказывается, здесь у нее тоже есть друг! За главным алтарем она остановилась перед изображением Девы Марии с младенцем Иисусом. И, вспомнив о монашенках, вытиравших пыль с такой же статуи, почувствовала себя еще уверенней.

Когда она вышла из церкви, в душе воцарился покой и затеплилась слабая надежда...

А ее унылое существование, между тем, шло своим ходом, и посещения Элизабет перемежались с занятиями «ремеслом» — безрадостной, бесконечной мукой. Однако все растущее неприятие постепенно брало верх над привычкой.

Пусть профессия никогда не доставляла ей удовольствия, как Сюзанне, но с нею, тем не менее, пришлось свыкнуться.

Попав в зубчатые колеса чудовищной машины проституции, она сама превратилась в одну из шестеренок, неотъемлемых частей механизма. Единственному существу в целом мире, способному помочь ей освободиться, она не осмеливалась ни в чем признаться. Обращаться за помощью было не к кому. Она успела привязаться к Жанине, но та сама была лишь несчастной жертвой, а клиентам доверять не приходилось, пусть даже они изображали добрых самаритян или филантропов. В одиночку ей не освободиться никогда. Ее муки усиливались от воспоминаний о юности, проведенной вместе с Элизабет, от сожалений о благополучном прошлом. Она билась в неразрешимых противоречиях, подобно райской птице, хлопающей крыльями, но не способной оторваться от земли и улететь.

Между Агнессой и Жаниной завязалась дружба, тем более необычная, что у них был общий покровитель. Агнесса, как и обещала, позвонила на следующий день после их первой встречи. Они договорились увидеться в баре на улице Марбёф. Место предложила Агнесса; этот бар она терпеть не могла, но, по крайней мере, там можно не опасаться встречи с Бобом. Ведь Сюзанна не случайно приглашала ее именно сюда.

Брюнетка пришла в бар в той самой каракулевой шубе с норковым воротником, о которой она рассказывала.

— Видишь, я нарядилась, чтобы показать тебе шубу, мне в ней так жарко, просто умираю! Красивая, правда?

— Очень красивая.

Агнесса узнала шубу, в которой Сюзанна приходила на новоселье, и это только подтвердило ее уверенность в том, что Боб сыграл роковую роль в смерти рыжей шлюхи. Помогая «самоубийце», он не забыл унести дорогую шубу, вероятно, «одолженную» им теперь Жанине, как и «М.Г.» И если Агнесса не наведет в этом порядок, может наступить момент, когда шуба перекоцует от малышки Жанины к другой проститутке: похоже, под присмотром месье Боба меха служат дольше, чем те, кто их носит.

— Знаешь, Кора, я так рада, что познакомилась с тобой! Ведь раньше у меня никогда не было подруги. При нашей-то профессии трудно с кем-то дружить, особенно если имеешь успех! Другие завидуют! Они злятся на меня за то, что я разъезжаю на «М.Г.» А ты совсем не такая! И тебе наплевать. И у тебя есть своя машина! Вчера вечером я много думала о тебе...

— Ты рассказала обо мне Фреду?

— Собиралась, но промолчала. Ну его! Ведь могу же я иметь свои маленькие тайны? Я отдаю ему бабки, и хватит с него... А ты рассказала Андре обо мне?

— Нет, он бы заревновал...

— Мужчинам незачем встречать в нашу дружбу.

— Давай будем встречаться здесь каждый день, конечно, кроме воскресенья и праздников, когда мы не работаем. Можно приходить в это же время и выпивать вместе по чашечке кофе. Идет?

— Прекрасно!

— Это время самое удобное. Настоящая работа и у тебя, и у меня начинается не раньше половины третьего, когда мужчины, у которых водятся денежки, уже пообедали. Наша клиентура ест без спешки, ведь мы имеем дело не со всякой рванью! Сегодня я плачу за кофе, а завтра — ты. Так что поделим расходы поровну.

— Идет!

— И давай договоримся никогда не сманивать клиентов друг у друга.

— Клянусь!

После этой странной клятвы их дружба еще больше окрепла. Как и хотелось Агнессе, бывшая ученица швеи очень скоро стала относиться с уважением и восхищением к старшей подруге. Несколько недель спустя Жанина полностью доверяла Агнессе. Она ей рассказывала все: о своих ежедневных похождениях, об успехах и неприятностях, связанных с ее ремеслом, о своих надеждах и наивных мечтах о том, что в один прекрасный день она перестанет давать каждому, кто платит, и заживет только ради своей большой любви... Чем лучше Агнесса ее узнавала, тем сильнее Жанина располагала ее к себе. Это была симпатия, смешанная с горечью. Дружба, которой Агнесса одаривала Жанину, походила на милостыню. Временами она испытывала к ней глубокую жалость.

Агнесса отказывалась считать подругу просто бездельницей. Жанину, как и ее саму, подвела чувственность. Можно ли ее в этом винить? Никто не имеет на это права, и меньше всего Агнесса. Разве чувственность такой уж порок? Беда Жанины и Агнессы лишь в том, что они попали в руки такому подлецу, как Боб. К тому же Жанина была совершенно одинока. Жить в приюте хуже, чем с мачехой. Агнесса сознавала, что вина ее подружки гораздо меньше, чем ее собственная, ее-то всегда окружали забота и любовь Элизабет.

Думая о Жанине, страдая из-за нее, Агнесса забывала о себе: значит, в глубине души она не была эгоисткой, как и ее сестра. Элизабет ухаживала за стариками, а Агнесса взяла под свою опеку бывшую ученицу швеи. И они стали доверять друг другу.

В начале их дружбы Агнесса подстраивала ничего не подозревавшей Жанине одну ловушку за другой, стремясь выяснить, не рассказала ли та о ней своему Фреду. Стоило девчонке проболтаться Фреду, то есть Бобу, о своей новой подруге, и Агнесса узнала бы об этом в тот же вечер от мужчины, по-прежнему жившего с нею на улице Фезандери и делавшего вид, будто она единственная женщина в его жизни. Из дня в день из болтовни Жанины Агнесса получала сведения о двойной жизни своего любовника, а месье Боб оставался при убеждении, что его «женушка», как он ласково называл ее, демонстрируя притворную влюбленность, ничего не подозревает о том, что он нашел замену Сюзанне.

Агнесса давно поняла, что доходы от одной женщины, какой бы она ни была и сколько бы она ни приносила, не могут удовлетворить месье Боба. Привычка ставить одновременно на нескольких лошадок подогревалась его предусмотрительностью. Он всегда закладывался на худший вариант: предположим, выбывает из строя одна из его женщин, то ли сбежав на свободу, то ли потому что заболела или, скажем, даже внезапно умерла. А у него все равно остается в запасе вариант, с которым можно перебиться до тех пор, пока не наклонится очередная кандидатура в баре на улице Понтье...

И вот однажды случилось то, что не могло не случиться и что Агнесса предвидела уже давно... После нескольких месяцев эйфории Жанина стала осознавать, как когда-то Сюзанна, что «герой ее романа» охладил к ней. Он хватался за любой предлог, чтобы сократить до минимума постельные утехи. Бедняжка все реже и реже виделась с Фредом, и если тот все же приходил в квартиру на улице Карно, то лишь затем, чтобы забрать выручку

и ретироваться как можно скорее.

Однажды, когда, положив деньги в карман, он собирался немедленно уйти, Жанина решительно загорела собой дверь:

— Так дело не пойдет! Это несправедливо, Фред! Я согласна и дальше помогать тебе, но при условии, что ты останешься моим любовником!

— Не дури! Ты забываешь, что я женат, а каждый женатый мужчина прежде всего должен улаживать законную супругу, а уж подружке — что останется!

— Подружке?

Оскорбление было слишком сильным, и Жанина вся затряслась от ярости и возмущения. Он позволяет себе пренебрежительно именовать ее «подружкой», ее, из кожи вон лезущую, чтобы всеми доступными средствами ублажить его!

Побагровев, потеряв контроль над собой, она замахнулась, словно собираясь его ударить. Месье Бобу пришлось призвать на помощь весь свой сорокалетний жизненный опыт, а также изрядный запас впечатлений о выходках взбеленившихся шлюх, чтобы умирить Жанину. Получив сильный мгновенный удар ногой в живот, она упала, задыхаясь, почти хрипя. «Покровитель» воспользовался удобным моментом и, наклонившись над нею, сказал не терпящим возражений тоном:

— Теперь тебе все ясно? Надеюсь, такое не повторится, потому что в другой раз ты так легко не отделаешься! Подумать только, она позволяет себе не только чего-то там требовать, но и поднимать руку на Фреда! Чтобы научить тебя почтительности, накладываю на тебя штраф: по пятьдесят тысяч в течение пяти дней! Если ты слишком разгорячилась, прими холодный душ! — И он захлопнул за собой дверь.

Жанина почти лишилась сознания, но все расслышала. Ей потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя и дотащить до ванной, а потом и осознать, что тот, кого она считала своим кумиром, мог избить ее. Разве могла она понять, что сутенер обращается со своими «подопечными» в соответствии с тем, к какому типу их относит. Например, от какой-нибудь Агнессы не добьешься никаких результатов без убеждения и ласки. А с Жаниной чего миндальничать? Чуть приласкаешь ее в самом начале, чтобы приручить, а потом, если нужно, пускай в ход кулак. Разве она не самая обычная шлюха?

Но на этот раз месье Боб оказался не слишком тонким психологом: он не понял, что бывшая швея готова перенести ради него что угодно, но только не побои. Оказалось, что Жанина не из тех бабенок, которые становятся покорнее и проникаются уважением к тому, кто их бьет.

С этого момента месье Боб приобрел в лице брюнетки злейшего врага. Инстинктивно, не признавая пока в истинной причине этого, Жанина еще сильнее сблизилась с «Корой», с которой ежедневно встречалась в баре на улице Марбёф и которая становилась для нее все большим авторитетом.

Хотя Агнесса и почувствовала кризис в отношениях Жанины с ее «другом», она предпочла не задавать лишних вопросов. Жанина сама выложила все, когда дошла до последнего предела. Она появилась в баре на несколько минут раньше приятельницы, а увидев ее, сходу задала странный вопрос:

— Скажи, Кора, тебе нравится наше ремесло?

— Наверное, да, иначе бы я занялась чем-то другим, — ответила Агнесса удивленно.

— Не верю! Не может быть, чтобы такой шикарной женщине нравилось торговать

собой! Хотя, может, ты так безумно втюрилась в Андре!..

Агнесса молчала.

— Не отвечаешь? Значит, не больно-то втюрилась? Как и я в своего... Сколько ни строй себе иллюзий, рано или поздно все станет на свое место. Пока он был нежен со мной, еще куда ни шло, но теперь я гожусь только на то, чтобы нести ему бабки! Да к тому же он еще вздумал руки распускать! С меня хватит!

— Вы поругались? — спросила Агнесса. — Ничего, скоро помиритесь.

— Ни за что не помирится. Фред — просто хам. А твой, Андре, какой он?

— Да все они хороши!

— Он тоже тебя колотит?

— Этого я бы не допустила, но он еще хуже: притворяется влюбленным, а на самом деле терпеть меня не может!

— Какие мы невезучие... Подумать только, ведь есть же девчонки, которым удается найти классных парней...

— Ты думаешь?

С этого времени дружба двух «жертв» стала еще более тесной и превратилась в настоящий тайный союз перед лицом общей опасности, исходившей от их «покровителей» — Фреда и Андре. Теперь у Агнессы была союзница. Она все больше убеждалась, что подруга совершенно искренна с ней и полна решимости при первой же возможности избавиться от невыносимой опеки...

Десятки раз у Агнессы буквально язык чесался, так хотелось рассказать, что у них один и тот же «покровитель», но она заставляла себя промолчать, считая такое признание вредным и даже опасным. Наступит час, когда она откроет Жанине глаза!

А пока она не смогла удержаться и поделиться с нею другой тайной:

— Завтра я не смогу прийти к двум часам.

— Как! Мы не увидимся?

— Увидимся попозже. Хочешь, часов в восемь, после работы?

— Чем же ты занята?

— Это секрет, но тебе я его открою, только тебе. Я только что познакомилась с чудесным человеком...

— Выходит, такие еще бывают...

— Да, он, например...

— Рада за тебя. А какой он из себя?

— Для меня — красавец, ведь я его люблю!

— А где ты с ним познакомилась?

— Случайно...

— Думаешь, это серьезно?

— Еще как!

— Правда?

— Завтра я первый раз обедаю с ним.

— Надо загадать желание!

— Уже загадала!

— Разумеется, твой Андре ничего не знает?

— Разумеется. И потом, он больше не «мой» Андре, так же, как и у тебя больше нет «твоего» Фреда. У меня есть человек, которого я люблю и который любит меня.

— Как его зовут?

— Я тебе потом скажу, давай пока подождем!

— Он француз?

— Нет, иностранец, он американец.

— Вот как! Не хочется тебя огорчать, но будь осторожна! Никогда не знаешь, чего ждать от иностранца!

— Я ему доверяю.

— А чем он занимается?

— Военный...

— Военный, говоришь? Тогда тем более надо быть начеку! В особенности если любишь его. С американскими солдатами держи ухо востро: они ведут себя, словно оккупанты. Наобещают тебе золотые горы, а получишь шиш с маслом! Уж мне-то этого не знать! До Фреда я закрутила с одним. Он заявил, что женится на мне. А я наивная была и уши развесила. Совсем сдурела! Вот мы и обручились. Две недели я была на седьмом небе от счастья, а тут — на тебе: он делает ноги... Потом узнаю: оказывается, он уже трижды так «обручался» и с другими проделывал такой же номер. Да еще оказалось, что у него в Техасе жена и трое детишек. Представляешь, какой мерзавец?

— Мой не такой.

— Хорошо, если так. Желаю удачи!

К Агнессе и в самом деле пришла удача...

Но почему появилась потребность поделиться с Жаниной? Да просто потому, что та оказалась рядом. Вдруг неожиданно сбывается то, на что уже совсем не надеешься, и тогда смертельно хочется хоть с кем-то поделиться своей радостью. Сперва она подумала об Элизабет. Но к чему торопиться: нужно прежде разобраться в чувствах друг друга. А когда никаких сомнений не останется, можно поделиться с сестрой. Куда лучше признаться ей в этом, чем в другом. «Вот что, оказывается, ты скрывала, — скажет та. — Но в этом нет ничего постыдного, совсем наоборот». И радостная новость поможет Элизабет быстрее выздороветь.

Все произошло донельзя прозаично: как-то во второй половине дня она медленно ехала в своей «аронде», подыскивая клиента, и вдруг заметила толпу на углу Елисейских полей и улицы Берри. Она притормозила и остановилась посмотреть на сценку, которую нередко увидишь в столице; сегодня она почему-то оказалась более трогательной, чем обычно: окруженная кольцом любопытных, скептиков, откровенных насмешников и просто зевак какая-то активистка в форме Армии Спасения пела религиозный гимн. Ей аккомпанировали нещадно фальшивившие музыканты. Перед женщиной стоял складной столик, и наиболее сознательные прохожие клали на лежавший на нем поднос скромные пожертвования.

Агнесса никогда прежде не помогала Армии Спасения, потому что в юности ее воспитанием руководил наставник, придерживавшийся догматических католических взглядов. Он внушил ей, что эта организация — недостойное порождение протестантизма. Но тут вдруг такое отношение показалось ей диким. Почему бы не помочь Армии Спасения? Истинное милосердие, желание возлюбить ближнего не могут ограничиваться формальными рамками. Элизабет всегда так считала. Она вышла из машины и подошла к женщине в синем облачении. Та явно не была интеллектуалкой, она механически повторяла заученные фразы, и то, что она говорила, отражало ее наивную веру. Она рассказывала о собственном

духовном опыте: однажды она поняла, что ей открылась воля Божия, и она призывала всех смертных быть чуткими к зову Всевышнего, который всегда найдет способ обратиться к человеку в той или иной форме. Агнесса внимательно выслушала ее и положила на поднос деньги, собираясь побыстрее улизнуть из кольца зевак. Ей все больше нравилось отдавать на милосердные деяния часть своего постыдного заработка. Проталкиваясь сквозь толпу любопытных, она нечаянно толкнула плечом какого-то мужчину и чуть слышно извинилась.

И тут ее глаза случайно встретились с глазами прохожего, она буквально застыла на месте, почувствовала, что вся дрожит, что не может ступить ни шагу, точно какая-то сила вдруг околдовала ее. Неужели ей все только пригрезилось? Или этот гигант в бежевой форме, с эмблемой в виде якоря на золоченом козырьке фуражки, этот голубоглазый блондин с нежным цветом лица в самом деле похож на архангела? Всякий раз, когда она, бывало, предавалась мечтам, ей казалось, что спасти ее может одна Элизабет. Представить себе, что спасителем может оказаться мужчина, она не могла бы даже в самых дерзких фантазиях. И тем неожиданней было внезапно испытанное Агнессой пронзившее ее чувство, равнозначное откровению: вот он — ее спаситель, он стоит перед ней, чудесным образом материализовался рядом — такой прекрасный и чистый! Она едва ли даже заметила, как он, козырнув, посторонился, уступая ей дорогу, не разобрала ни единого сказанного им слова, не почувствовала, что он говорит по-французски с легким англо-саксонским акцентом. Чарующая музыка слов обволокла ее.

— Прошу вас, мадемуазель...

Но идти дальше, к машине, было совершенно невозможно. Она почувствовала, что краснеет — не от стыда. Забытое ощущение: только в девичестве возможен такой румянец. Вдруг в памяти воскрес полузабытый эпизод: маленький провинциальный городок из далекого детства, они вместе с сестрой отправляются на прогулку, им пятнадцать лет и одеты они совершенно одинаково. И какой-то долговязый парень восклицает: «Бедное мое сердце, оно не знает, которую из них предпочесть!» Элизабет искренне смеется, а у Агнессы краска заливает лицо... Никогда в жизни не доводилось ей больше испытывать подобное ощущение, когда волна тепла опалает твое лицо и ты сама не знаешь, то ли тебе чуточку неприятно, то ли восхитительно хорошо. Видя, как она смутилась, и подумав, что ей стало дурно, незнакомец проводил ее взглядом и, когда, споткнувшись, она едва удержалась на ногах, бросился на помощь и поддержал за руку.

— Вы плохо себя чувствуете, мадемуазель. Давайте я вам помогу.

— Спасибо, — прошептала она, опершись рукой о рукав с золотыми пуговицами. — Меня растрогала эта сцена. Но сейчас мне уже лучше. Спасибо, месье.

— Капитан Джеймс Хартвел, — представился он.

Они подошли к машине Агнессы. Он открыл дверцу. Она не спешила сесть: не хотелось расставаться с ним. Ах, где сейчас то кокетство, которое всегда позволяло ей сходу подцепить клиента?!

— Не могу ли я узнать, как вас зовут, мадемуазель?

— Агнесса...

Неожиданно для себя, совершенно забыв, что для всех она Ирма, Агнесса назвала свое настоящее имя.

— Какое красивое имя. Агнесса — звучит так нежно!

— Вы находите?

— Мне оно нравится. И мне нравится ваш поступок...

И он махнул рукой в сторону проповедницы.

— При нынешнем темпе жизни, — продолжал он, — немного найдется людей, готовых остановить машину по такому поводу. Теперь, когда мы познакомились, можно ли мне надеяться на еще одну встречу с вами?

— Где бы вы хотели встретиться?

Ее застали врасплох подобная ситуация и подобный вопрос, так часто повторявшиеся в ее насыщенной похождениями жизни. Слова не находились, и она не знала, что ответить.

И все же, хотя в мыслях царила неразбериха, она мгновенно почувствовала (быть может, потому, что смиренная монахиня молилась сейчас за нее на больничной койке), что лишь одно средство способно излечить ее от скверны окаянной любви — очистительное пламя любви истинной...

Состояние Элизабет неожиданно улучшилось, она стала вставать с постели, хотя еще оставалась в лазарете. Okрепнув, она взяла себя в руки, и ей захотелось вернуться к своим обязанностям, от которых временно отвлекла болезнь. Она подумала о своих монастырских сестрах, которые то и дело забегали на минутку ее навестить; бедняжки, им приходилось сейчас много трудиться не только за себя, но и за больную. Но чаще всего мысленно возвращалась она к своим старикам, которые изо дня в день передавали ей пожелания скорейшего выздоровления.

С утра до вечера, не зная, чем себя занять (хотя, правда, ее безделье было не совсем полным, потому что, по ее просьбе, ей принесли кое-какое шитье), она мысленно возвращалась к своим повседневным нелегким обязанностям. Ее день обычно был наполнен до предела: встав на заре и помолившись на утреннем богослужении, она посвящала — как и все остальные монахини — двенадцать часов кряду уходу за стариками. В доме престарелых у каждой сестры была своя, строго определенная функция. Элизабет занималась главным образом «хрониками» из лазарета, а также «врединами» — самыми несносными строптивцами, которые пользовались своим преклонным возрастом как предлогом для постоянных капризов. Как они там, бедные, пока она разлучена с ними? Все «хроники» и «вредины», о которых пеклась Элизабет, были старичками. В доме престарелых на авеню-дю-Мэн ей ни разу не довелось ухаживать за женщинами, и это ее не огорчало.

— Легче иметь дело с сотней старичков, чем с десятью старухами, — призналась она Агнессе.

Едва ли хоть одна из сестер-благотворительниц думала иначе, но, творя добро, не полагается обнаруживать свои пристрастия. Для многих старичков Элизабет становилась последней женщиной, которую им доводилось видеть в жизни, ее белый чепец и черное облачение отождествлялись пожилыми мужчинами с бесценным образом Женщины, в котором присутствовали и материнское — ведь она о них заботилась, — и дочернее — обусловленное ее юным возрастом — начала.

Устав монастырских домов престарелых строго определял: старики и старухи должны жить отдельно. Исключения допускались крайне редко — и только для супружеских пар. Если не удавалось из-за нехватки помещений подыскать им отдельную комнатку, то мужу и жене разрешалось встречаться в определенные часы в комнатах отдыха, в библиотеке и, чаще всего, в саду. Из окна лазарета Элизабет иногда с волнением наблюдала за пожилыми супругами, сидящими рядышком на скамейке.

Все дома престарелых сестер-покровительниц устроены одинаково: в одном крыле мужской корпус, в другом — женский. Их разделяют большие дворы, сад и часовня, единственное место, где все собираются для общей молитвы. Но и в церкви они разделены: скамьи слева предназначены для женщин, справа — для мужчин. Подобное разъединение считается необходимым для поддержания спокойствия среди массы стариков обоего пола, где не все обладают хорошим характером. Возраст иногда очень ожесточает.

Труднее всего со старухами. Почти все они терпеть не могут друг друга, и их никогда не удовлетворяют забота и внимание, которыми их столь щедро одаривают. В отведенных им спальнях, столовых, комнатах отдыха, внутренних двориках процветают сплетни, злословие, зависть и мелочные обиды. Не раз и не два монахиням приходилось наводить порядок, и

если иной раз не хватало улыбки, то приходилось и повышать голос. Казалось, что наступил мир, но он неизменно оказывается лишь временным перемирием.

Из всех сестер-покровительниц наибольшим авторитетом среди старух пользовалась ирландка сестра Кэйт. Ее боялись, потому что она умела гаркнуть, как никто другой в обители:

— Если вы не прекратите, Мелани, я попрошу Мать Настоятельницу лишить вас десерта сегодня вечером!

Иногда старухи очень злились на тех, кто добровольно согласился ухаживать за ними. Если бы Жанне Жюган, основательнице Ордена, пришла в голову мысль учредить награду для наиболее отличившихся сестер-благотворительниц, те из них, кто посвятил свою жизнь уходу за старухами, заслужили бы, все без исключения, право на Большой Крест за терпение.

Старики же ершились куда меньше. Думая о них, Элизабет повторяла про себя: «Это всего лишь дети, которые слишком быстро состарились!»

Семь часов утра. После мессы наступил час «посещений» — так в общине шутливо именовали самые неприятные процедуры, проводимые в лазарете, где было много лежащих больных. Некоторые из них, полностью парализованные, не вставали годами. Тем не менее они всегда лежали на чистом белье, менявшемся ежедневно.

Элизабет умела делать все: она мыла стариков, кормила с ложечки, как маленьких детей, помогала читать молитвы, рассказывала какие-нибудь истории или читала газеты, пыталась развлечь, выслушивала жалобы или сетования... Ведь нельзя же допустить, чтобы хоть кто-то из этих несчастных почувствовал себя покинутым...

Среди «хроников» были больные, полностью выжившие из ума или потерявшие дар речи. К ним Элизабет умела относиться с еще большей заботливостью. Ее светлые, как и у Агнессы, глаза любовно останавливались на несчастных, и иногда она ловила в их взглядах проблеск сознания и готовность смириться со своей участью, лишь бы лицо сестры склонилось над ними.

После этих долгих и тяжелых процедур Элизабет находила некоторое утешение в уходе за категорией стариков, которых называла «врединами». Почему «врединами»? Эти пациенты составляли активное, беспокойное, ворчливое и вечно недовольное ядро дома престарелых. В остальном же они были милейшими существами, всегда готовыми услужить; особенно охотно они помогали Элизабет, потому что видели в ней добрую фею.

Среди «врединов» были люди самых различных профессий... Например, Ипполит Дюко, по прозвищу Кавалерист, когда-то работал сапожником при школе кавалерии в Самюре, которую ностальгически вспоминал и по сей день. По мнению Ипполита, французской кавалерии не стало с тех пор, как лошадей заменили машинами, и он неустанно повторял: «Разве можно радоваться, когда тачаешь сапоги людям, даже не знающим, что такое лошадь?» Кавалерист горевал об исчезающей профессии. Однако Элизабет сумела найти применение его навыкам и уговорила чинить обувь пациентам. Иногда она поручала ему «произведения искусства», заказывая специальную обувь для стариков с больными ногами. Это льстило старому Ипполиту, ощущавшему себя полезным. За «произведения искусства» его премировали пачками табака для трубки, с которой он никогда не расставался.

В число «врединов» входил и Финансист, предпочитавший, чтобы к нему обращались месье Раймон. В прошлом он действительно был банкиром, но, к несчастью, обанкротился. Он долго влачил жалкое существование, всеми забытый, оставленный близкими, пока его не приютили сестры-благотворительницы. Верная своему принципу — использовать

профессиональные навыки каждого — Элизабет поручила ему вести бухгалтерский учет «расходов на роскошь». Эти относительные роскошества помогали скрашивать серые будни: покупались сладости, книги, игры, игральные карты, позволяющие скоротать долгие зимние вечера. Месье Раймон выполнял свои обязанности с необычайной добросовестностью, достойной всяческих похвал, приходно-расходная книга велась им безукоризненно. Занимая чуть ли не официальный пост, он пользовался в доме престарелых особым уважением.

Арсен, бывший золотых дел мастер, звался Ювелиром. Его способности такжегодились: он чинил металлические дешевые колечки, составляющие все богатство старушек, ремонтировал часы, столь же древние, как и их владельцы... Но его главным творением стал ковчежец для часовни.

Наконец, среди них был Певец, чье настоящее имя не было известно, но псевдоним звучал гордо: Мельхиор де Сен-Помье. Несмотря на свои семьдесят семь лет, он выглядел еще весьма импозантно и обладал особой манерой откидывать назад пышную седую гриву, как будто по-прежнему возвышался на подмостках над толпой восторженных почитателей... Мельхиор де Сен-Помье выступал когда-то в кафе-шантанах во время расцвета подобных заведений. Послушать его, так он исполнял там все песни: «Когда я был в Эден д'Аньере... Вспоминаю Алказар де Сен-Флур... Какой всеобщий восторг вызвала моя песня «Когда расцветет белая сирень!»» Выходило, что Майоль, Дранем, Морис Шевалье лишь жалкие подмастерья. А о современных шансонье он и слышать не хотел: «Настоящие исполнители давно перевелись!» Элизабет сумела найти чувствительные струны в его сердце и поручила ему руководство хором, выступавшим по большим праздникам. Тот, кому не довелось видеть величественную фигуру Мельхиора де Сен-Помье, энергично отбивающего такт и яростно распекающего исполнителей во время репетиций в столовой, никогда не познает скрытых достоинств бельканто...

Элизабет, как и другие ее сестры по вере, никогда не теряла из виду глубинного смысла благотворительности: дать приют беднякам старше шестидесяти лет, не обращая ни малейшего внимания на их вероисповедание или национальность. Только таким может быть истинное милосердие.

Но Элизабет не стремилась только к тому, чтобы самой приобщиться к святости, живя добродетельно и исполняя религиозные обряды; она старалась, не слишком обременяя своих великовозрастных друзей, открыть их души для принятия Господа. В своем призвании, вдохновляемая любовью к Богу и бедным, она следовала словам Иисуса: «Пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть царствие Божие». Смирненно исполняя наискромнейшие обязанности и пытаясь дать хоть немного радости старикам, Элизабет служила своему Божеству. Часто в глубине души она повторяла про себя один из заветов основательницы Ордена: «Нам надлежит считать себя всего лишь смиренными проводниками воли Господней...»

Со времени основания благотворительного Ордена в пяти частях света появились 320 домов престарелых, подобных тому, что находился на авеню-дю-Мэн, и в них нашли приют и утешение 80 тысяч стариков, которые перед смертью испытали никогда не иссякаемую любовь своих служанок.

С удивлением и радостью Агнесса услышала обращенные к ней слова сестры-привратницы:

— Хочу вас обрадовать, наша милая сестра Элизабет наконец вышла из лазарета! Она еще не совсем окрепла, но ей гораздо лучше. Она спустится к вам в приемную, как прежде.

И минуто спустя Элизабет действительно пришла: ее лицо было еще бледным, но очень оживленным. Агнесса бросилась к ней навстречу.

— Дорогая! Я так рада, что ты выздоровела!

Они долго смотрели друг на друга, держась за руки, и каждая пыталась понять душевное состояние сестры. Агнессе так хотелось, чтобы «гораздо лучше» означало, что сестра полностью выздоровела, а Элизабет думала о том, удалось ли сестре избавиться от тяготившей ее тайны.

Агнесса выглядела почти хорошо, но ее лицо, выражавшее радость и надежду, казалось немного озабоченным. В ее улыбке и движениях чувствовалась какая-то нервозность, и было видно, что ей не удалось полностью избавиться от тревоги.

— Ну как ты? — спросила Элизабет тоном, в котором звучала материнская забота: так она обращалась к некоторым из своих стариков. — Как твои дела? Тебе тоже лучше?

— Гораздо лучше, все устраивается почти наилучшим образом.

— Почти? — повторила монахиня. — А чего же тебе не хватает, чтобы полностью успокоиться?

— В моей жизни сейчас совершается чудо. Надо уповать на Божью помощь, — ответила Агнесса.

— Он поможет тебе! Господь милостив. Но, может быть, теперь ты наконец поделишься со мной мучившей тебя тайной?

Агнесса покраснела, как это случалось с ней, когда Джеймс находился рядом. Она опустила голову, смущенная и счастливая.

— Я полюбила...

— Ты полюбила? И это мучило тебя? Значит, такова любовь земная? Это — мука? Мне известна лишь такая любовь, которую ничто не способно замутить, любовь, дающая блаженство. Ты видишь, что мне выпала лучшая доля! А почему ты страдала? Мужчина, которого ты полюбила, не любил тебя?

— Что было, то было, теперь это неважно! — ответила Агнесса, опустив голову на плечо сестры. — Сейчас я знаю, что любима.

— Значит, все хорошо? А кто он?

— Морской офицер, американец...

— Морской офицер, американец! Расскажи же скорее!

Агнесса говорила долго, голос ее был едва слышен, глаза оставались полужакрытыми. Она не обращала внимания на статую святого Иосифа. Доброму святому, однако, было известно многое из того, о чем Агнесса и не подозревала; конечно, он с удовлетворением слушал слова, не содержащие мольбы о помощи. Но он знал также, что как заступник еще не выполнил до конца своего предназначения.

Когда Агнесса умолкла, сестра спросила ее с сомнением в голосе:

— А ты уверена, что эта любовь взаимна?

— О, да, — убежденно ответила Агнесса. — Он хочет жениться на мне, и поскорей.

— Почему такая спешка?

— Понимаешь, через месяц он уезжает в Сан-Франциско и хочет взять меня с собой.

Элизабет задумалась. А Агнесса продолжала:

— Знаешь, я так часто говорила ему о тебе! Он столько знает о сестрах-благотворительницах!

— Он протестант, конечно?

— Нет, католик, из Бостона...

— В этом городе есть отделение нашего Ордена. Он бывал там?

— Сама спросишь его об этом. Можно я приду с ним сюда завтра к двум часам? Мне хочется вас познакомиться.

— Я еще слишком слаба, — неуверенно произнесла Элизабет.

— Джеймс будет для тебя лучшим доктором!

— Для меня одной?

— Для нас обеих, — призналась Агнесса. — Ты же видишь: я теперь совсем не та. Наконец я по-настоящему живу!

— Но из-за чего ты все-таки так мучилась?

— Я расскажу тебе об этом позже, — ответила Агнесса. — А сейчас давай думать только о хорошем!

— Тогда приведи поскорей этого чудо-человека! Только я буду робеть. Он придет в форме?

— Конечно... Знаешь, он уже любит тебя!

— А мне хотелось бы полюбить его душу!

— До завтра, дорогая!

Агнесса убежала, хотя на этот раз не требовалось скрывать слезы или краску стыда. Она знала: нужно еще выполнить трудную задачу. Предстоит тяжелая борьба за счастье. Но она справится. Иначе и быть не может, когда на твоей стороне любовь Джеймса и нежная забота Элизабет.

Вечером того дня, когда Агнесса побывала на авеню-дю-Мэн, она поздно вернулась домой. Все труднее давалось возвращение в квартиру на улице Фезандери, где ее ждал человек, ставший ей отвратительным.

— Как успехи? — спросил Боб.

— Прекрасные, — холодно ответила Агнесса.

— Сколько?

— Десять тысяч...

— И это, по-твоему, прекрасно? Ты смеешься надо мной?

— Не надо упреков, пожалуйста. Я сегодня устала, дай мне спокойно лечь спать.

— Хотя успехи и не блестящи, милая, отдай-ка мне все-таки эти деньги.

Она протянула их ему привычным жестом. Так же привычно пряча их в карман, он сказал:

— Надеюсь, завтра будет больше...

Он не стал продолжать, лег и вскоре заснул. Его присутствие стало невыносимым для Агнессы. Ей не спалось, да и как уснешь, когда твои мысли заняты предстоящей борьбой? Ведь достичь заветной цели, обвенчаться с Джеймсом, можно, лишь обманув бдительность сутенера. Целый месяц ожидания и хитростей! Каким долгим будет этот месяц!

Она снова мысленно вернулась к событиям, происшедшим со времени ее встречи с Джеймсом...

Перед ее внутренним взором возникло их первое свидание в кафе «Клозери де Лила», выбранном ею из-за удаленности от поля деятельности Боба и своего собственного. Она вспомнила, с каким сдержанным вниманием слушал ее офицер; казалось, она вновь слышит его рассказ о себе, семье, службе. Проговорив два часа, они расстались, и она дала ему номер

телефона на улице Фезандери. Полдня она тревожно ждала звонка, но он не позвонил.

Боб мог оказаться дома, когда позвонит Джеймс. Поэтому нужно было что-то рассказать ему об этом знакомстве, предложить приемлемую версию.

Последнее время он часто упрекал ее:

— Может, ты стала менее привлекательной потому, что изменила прическу и меньше красишься?

— Сейчас просто неудачный период: подошел срок уплаты налогов, у мужчин меньше денег. Вчера смогла подцепить только одного, да и то... посмотрел бы ты на это рыло! Он вызвал у меня такое отвращение, что я пошла в кино.

— И правильно сделала. А фильм-то хоть оказался хороший?

— Гангстерский боевик... Но на меня клюнул сосед справа, американский офицер.

— Знаешь, лучше бы тебе с такими не связываться! Оставь их профессионалкам!

— Но это такой красавчик! Капитан корабля.

— Черт возьми!

— Он тихоня, вел себя очень смирно. Спросил, нельзя ли снова меня увидеть. Я сделала, как ты советовал: дала ему наш номер телефона. Предупреждаю на тот случай, если он позвонит. Мне показалось, что такого клиента надо принимать дома. Я сказала ему, что работаю манекенщицей.

— Прекрасно!

— Но дело в том, что, если он позвонит, я не смогу назначить ему свидание раньше шести или семи часов вечера.

— Это еще почему?

— Надо, чтобы он верил, будто я занята на работе!

— Ты права. Думаешь, он позвонит сегодня?

— Надеюсь.

— Раз так, я вернусь на рассвете. Но имей в виду, прием здесь, с виски, должен влететь ему где-то тысяч в пятьдесят. Не меньше!

— Хорошо. Можешь на меня положиться.

— Ты умная девчонка.

— Но может так выйти, что он позвонит после моего ухода, а ты будешь еще здесь. Не нужно, чтобы он слышал твой голос... Ну, мужской голос! Он догадается, что я живу не одна, как я ему это сказала. Что ты ответишь?

— Да все равно. Скажу, например, что я твой брат!

— Нет, так не пойдет.

— А он хорошо говорит по-французски?

— Как ты и я. Скажи лучше, что ты — швейцар и пришел убирать квартиру...

— Швейцар! А почему бы не твой слуга, милочка! Хватит об американце!

А Джеймс все не звонил. Агнесса не решалась уйти и напрасно прождала до пяти вечера... С тоской в душе пришлось отправиться «на работу». Она ехала в «аронде», ни на кого не обращая внимания, забыв, для чего совершает этот привычный объезд. У нее перед глазами стояло светлое лицо, голубые глаза и белокурые волосы Джеймса, чье имя уже звучало для нее, как музыка. Продолжать заниматься проституцией именно сейчас, когда ей открылось, что любовь не только чувственность, казалось кощунственным. При виде каждого американского офицера она притормаживала, надеясь встретить единственного

героя всех своих помыслов... Увы, каждый раз она ошибалась.

Рано вернувшись на улицу Фезандери, она даже и не думала о том, что не нашла ни единого клиента и не выручила никаких денег. Так хотелось, чтобы Джеймс объявился. Может, он позвонит во время ужина? Какая жуткая ночь! Она не сомкнула глаз, в ужасе от того, что Джеймса, вероятно, послали куда-то далеко, в другую страну. А вдруг ему уже все известно?.. Нет, не может быть, прошло слишком мало времени.

Жорж, как и обещал, вернулся лишь на рассвете. Взглянув на Агнессу, он все понял:

— Твой американец не звонил?

Она не нашла в себе сил ответить.

— Ты что, влюбилась? Да что с тобой, втюрилась в субъекта, которого видела только один раз! Это его форма так на тебя подействовала?

Поскольку она упорно молчала, он перешел к главному:

— Хорошая выручка?

— Никакой!

— Что ты сказала?

— Я не нашла ни одного клиента.

— А почему?

— Потому что не хотелось, представь себе!

— Это что, бунт?

— Может быть...

— Бунтовать опасно, моя милая! И все это из-за американца, который не позвонил тебе!

Ты его любишь, отвечай — да или нет?

Она заколебалась, потом ответила:

— Не знаю...

— Ничего себе ответ! Не лги! Сколько раз ты его видела?

— Я же тебе уже сказала — один раз.

— И ты отдалась ему?

— Нет!

— Ах, какие мы стали сентиментальные! Мадам позволила завести роман! А теперь у нее смятение чувств! Хочешь, скажу тебе правду? Твой американец и думать о тебе забыл! Придется поставить на нем крест! Но если тебе непременно понадобится моряк из США — Париж ими просто наводнен! Выбрось эту фантазию из головы и принимайся за работу!

— Как ты низок!

— Просто я трезво смотрю на вещи даже в пять часов утра! А сейчас отправляюсь на боковую. Тебе все не спится?

— Нет.

— Очень вредно для здоровья... Бессонные мечты... Мечты о любви...

Но пророчество Боба не сбылось: через четыре часа Джеймс позвонил.

— Вы, наконец-то! — вырвалось у нее.

Джеймс, похоже, несколько удивился:

— Извините, милая Агнесса, но я счел неудобным беспокоить вас вчера. В котором часу мы увидимся?

— Хотите, сегодня вечером, в семь?

— Идет!

— Буду ждать вас у себя, я давала вам адрес.

Несмотря на эту радость, поводов для беспокойства хватало. Необходимо срочно раздобыть деньги, чтобы сохранить расположение Боба. Пятьдесят тысяч! Именно такую цену он назначил за визит американца, который не должен был ничего узнать о постыдной профессии Агнессы.

Она была словно в лихорадке. Во что бы то ни стало надо достать пятьдесят тысяч франков, чтобы Боб позволил ей и дальше принимать своего нового поклонника «дома», если можно, конечно, именовать так квартиру, принадлежащую месье Бобу. Нельзя терять ни минуты. Она перелистала записную книжку, чтобы найти телефон клиента, способного удовлетворить денежные аппетиты месье Боба. Надо назначить свидание сразу после полудня и обслужить как можно быстрее, чтобы пораньше вернуться домой и приготовиться достойно встретить Джеймса... В спешке, стора от желания увидеть его, она не отдавала себе отчета в низости тех средств, к которым приходилось прибегнуть.

Тихонько выйдя из квартиры — Боб еще спал, — она отправилась в соседнее кафе, чтобы оттуда позвонить клиенту, на котором остановила свой выбор. Когда она вернулась, так же бесшумно, как и вышла, Боб по-прежнему спокойно спал.

Он появился в гостиной лишь в полдень:

— Ты уже на ногах, милая? Удалось немного отоспаться?

— Пожалуй, удалось. Спалось даже лучше, чем я рассчитывала.

— Браво! Я же говорил тебе, что твой американец скоро тебя забудет.

— Да, кстати, он позвонил.

— Ну да, не может быть! В котором часу?

— Около девяти.

— Это доказывает, что встречаются американцы, способные последовательно осуществлять свои планы. В котором часу он придет?

— В семь вечера.

— Значит, мне снова придется исчезнуть, как и вчера?

— Да, придется, если ты хочешь, чтобы все прошло удачно.

— Можешь быть спокойна. Я найду, чем заняться. Пойду в новый игорный дом, он только что открылся. Жаль только, что вчера ты ничего не заработала и у меня нет денег для серьезной игры!

— Обещаю, ты получишь их завтра утром.

— Пятьдесят?

— Пятьдесят.

— Если тебе удастся каждый раз раскалывать его на такую сумму, то, скажу тебе, игра стоит свеч...

В половине второго, собравшись уходить, он спросил:

— А сейчас что собираешься делать?

— Схожу в парикмахерскую.

— Во потеха! Мадам наводит красоту для месье!

Не прошло и четверти часа после отъезда «шевроле», как «аронда» тоже выехала из гаража и покатила к дому клиента, заинтересовавшегося предложением дообеденного секса. Вернулась она к шести часам. Агнесса привезла пятьдесят тысяч, которые собиралась выдать за полученные от Джеймса, но ее била лихорадка, и времени на размышления не оставалось. Она едва успела убрать вещи Боба, чтобы Джеймс не заподозрил, что здесь живет мужчина.

Она нарядилась с кокетством юной девушки, но не стала краситься: Джеймс говорил,

что его удивляло пристрастие француженок к косметике. Впрочем, так она казалась еще красивее и больше походила на сестру. Она безотчетно стремилась походить на Элизабет, и, может быть, наступит день, когда ее жизнь в миру будет столь же безупречна, как бескорыстное служение ее сестры.

И вот, наконец, он. Какой он обаятельный, когда на губах его играет улыбка, и какой трогательно неловкий — прямо-таки не знает, что делать с букетом цветов. Смешнее и нелепее не придумаешь: верзила в форме, растерянно сжимающий в руках розы.

Воспоминание об этом эпизоде надолго запало ей в душу. Тот вечер казался чудесным, ослепительным сном, от которого сохранились лишь чувство опьянения и обрывки разговоров, простых, но таких важных.

— Вы говорили, Агнесса, что свободны?

— Вы мне верите, Джеймс?

Потом провал, а за ним — эта фраза, произнесенная торжественно и с неподдельным волнением:

— Агнесса, вы согласны стать моей женой?

Голова шла кругом. Неужели мужчина, которым она так восхищалась, сделал ей предложение! А вдруг он шутит? Ведь они видятся всего второй раз в жизни! Разве он знает ее?

— Нет, я давно вас знаю, моя восхитительная француженка. Знаю, что вы той же породы, что и ваша сестра, которая, не колеблясь, целиком посвятила себя служению бедным. Мне так не терпится познакомиться с ней! Я знаю, что вы из тех женщин, которые целиком принадлежат своему мужу, если любят его.

Она слушала с восторгом, этот чудесный незнакомец был первый, кто сказал ей, что она способна на такое же благородство, как Элизабет, что они похожи друг на друга. Разве можно не полюбить такого мужчину? Она едва слышно пролепетала:

— Я люблю вас...

И прильнула к нему.

Он поцеловал ее, и она до сих пор ощущала нежность этого поцелуя: так ее еще никто и никогда не целовал. Искренняя мужская любовь в один миг уничтожила все прежние лживые ласки.

Прикосновение его губ вместило в себя столько подлинных чувств: простодушную любовь, готовность оберегать и защищать ее, стремление всегда нравиться ей. Вчерашний незнакомец стремительно превратился в центр ее существования. Пока она прижималась к его груди, ей казалось, будто время остановилось.

Ей вспомнилось, как они обедали вдвоем в кафе на площади Тетр, на самой вершине Монмартра, — месте, словно специально сотворенном для влюбленных. После обеда с его интимной обстановкой, за столиком, едва освещенном слабо горящей лампой, они подошли к смотровой площадке возле базилики, откуда долго любовались панорамой ночного Парижа, его разноцветными огнями. А потом она отвезла Джеймса в Сен-Жермен, в расположение его части.

Так прошел первый вечер их любви — добропорядочной и чистой, воспоминания о нем и сейчас дарят радость.

А затем вновь пришлось окунуться в атмосферу лжи. Как вырваться из этого адского круга? Ей пришлось сказать Джеймсу — отчасти по привычке, отчасти потому, что она не сумела найти ничего лучшего, — что работает в доме моделей. Обстоятельства вынуждали

вновь воскресить миф о манекенщице.

— Хотите, я встречу вас после работы? — спросил он.

Она упросила его не делать этого, «чтобы не вызвать зависти подруг».

— Мне бы хотелось посмотреть на вас во время демонстрации моделей. Тогда бы я знал, какие платья вам больше всего идут, и мог бы подарить их вам перед нашим свадебным путешествием в Сан-Франциско.

— Вы уже думаете о свадебном путешествии? — спросила она, удивившись.

— Вы же не хотите, чтобы я вернулся домой один, без жены?

— А что потом?

— Может, останемся в Соединенных Штатах? А может, меня пошлют на Филиппины или в Японию. Поедем туда вместе...

Какое счастье было бы уехать из Франции, навсегда расстаться с прошлым и месье Бобом.

— Ты довольна вчерашним вечером? — спросил сутенер на следующий день.

— Суди сам, — сказала она, швырнув ему пачку денег.

— Поздравляю!

За первым свиданием последовали и другие. Весь вечер они не сводили глаз друг с друга и разговаривали. Но хотя и Агнесса, и Джеймс чувствовали сильное взаимное влечение, их любовь оставалась целомудренной.

Агнессе удалось, наконец, осуществить свою давнюю мечту — обед на речном трамвайчике. Только романтические влюбленные, какими были Агнесса и Джеймс, способны оценить сполна всю прелесть такой прогулки по Сене в сердце Парижа.

Тем не менее Агнесса продолжала оставаться в плену у страшной дилеммы: либо днем по-прежнему обслуживать клиентов, чтобы приносить Бобу деньги, якобы получаемые от американского офицера, либо потерять Джеймса... Снова обстоятельства вынуждали жить во лжи, и она с тревогой спрашивала себя, сможет ли когда-нибудь сказать правду, всю правду?

Часто, находясь рядом с Джеймсом, от которого веяло такой доверчивостью, верностью и надежностью, она чувствовала желание во всем признаться, пусть даже она утратит его любовь. Нельзя же обманывать такого порядочного человека. Но стоило подумать о признании, как слова застывали на кончике языка, и она ничего не могла сказать Джеймсу. Да и как признаться в такой чудовищной мерзости! Балансирование на грани счастья и муки продолжалось, и оставалось уповать лишь на чудо, которое положит конец ее испытаниям.

Да, лишь бы Джеймс поскорее женился на ней, как он обещал, и увез ее подальше от Парижа, где она не могла больше оставаться. Эта надежда поддержит и придаст сил продолжать добывать для Боба требуемую сумму, иначе у него возникнут подозрения и он помешает задуманному бегству. Оставалось потерпеть еще совсем немного!

Так продолжалось целых две недели, пока однажды в пятницу вечером Агнесса, которой страстно хотелось осуществить план, предложенный Джеймсом, сказала Бобу:

— Американец предлагает провести с ним уик-энд. Мы вернемся в воскресенье поздно вечером.

— Если тебе хочется, поезжай. А куда вы собрались?

— Он предложил Барбизон...

— Прелестное местечко... Барбизон в это время года очарователен. Но за подобную прогулку не грех и раскошелиться: как-никак, ты уезжаешь на два дня — это уже тянет на сто тысяч. Надо еще накинуть за «уик-энд» и за «мое доброе согласие». В общем, с тебя сто пятьдесят!

— Ты своего никогда не упустишь!

— Но ведь и у меня есть какие-то права! Ты же — моя жена! Пусть я согласен иногда уступать тебя поклонникам, но ведь мне причитается за это какая-то компенсация!

— Хорошо. Получишь сто пятьдесят тысяч.

— Нисколько не сомневаюсь. Такому клиенту отвалить эту сумму ничего не стоит, — продолжал он вкрадчиво. — Тебе кажется, что его надо удержать как можно дольше? Но, знаешь ли, я другого мнения. Мой долг дать тебе совет. Завязывай с этим типом поскорее.

— Почему? — спросила она, побледнев. — Ты же получаешь деньги.

— Так-то оно так... Но боюсь, как бы ты не наделала глупостей и не втюрилась в него. А это тебе ни к чему, ты принадлежишь мне! А рвать после длительного романа ой как больно! Мне не хочется, чтобы ты страдала без нужды... Знаешь, как тебе лучше сделать? Воспользуйся этим уик-эндом и сообщи ему, что между вами все кончено и ты не сможешь больше встречаться с ним, потому что выходишь замуж...

Пораженная, она повторила:

— Выхожу замуж?

— Ну да... за меня.

— Ты с ума сошел!

— Ах, вот как ты разговариваешь со мной именно сейчас, когда может наконец осуществиться мечта нашей жизни! Да, признаюсь, уже давно я твердо решил жениться на тебе.

— А если я не захочу?

— Вот ты и создалась. Выходит, ты действительно втюрилась в американца.

Застигнутая врасплох, она тем не менее поняла, что надо солгать:

— Втюрилась! Чего это ты заладил одно и то же!

— Во всяком случае, милочка, предупреждаю: с понедельника все должно войти в норму, а с американцем завязывай! Во второй половине дня займешься обычной работой, а вечером вернешься домой и будешь обедать со мной. Понятно?

Она почувствовала полную растерянность. Ну что же! Раз больше нет надежды на спасение, надо по крайней мере отведать счастья и отдаться Джеймсу во время этой поездки! А потом рассказать ему все как есть — и расстаться. Но не хотелось сейчас представлять себе такой печальный финал. Лучше сначала насладиться двумя днями счастья...

Они провели уик-энд не в Барбизоне, а в гостинице неподалеку от Шантийи. Агнесса сознательно пошла на эту меру предосторожности. Пусть Боб сколько угодно рыщет в районе Фонтенбло, там их ему не найти.

Они великолепно провели время, и Агнесса забыла, что все должно очень скоро кончиться. Она снова на что-то надеялась, ведь трудно поверить, что такая прекрасная мечта обернется кошмаром. Часы текли за часами, полные нежности, планов на будущее, взаимного уважения. Джеймс забронировал две отдельные комнаты. Он был сама предупредительность и внимание, и она легко вошла в роль целомудренной невесты. Нетрудно было проявить сдержанность, настолько все происходившее казалось

естественным. Как она была счастлива! Иногда ею овладевало безумное желание кричать о своем счастье, обращаясь к деревьям, к небу... В какой-то момент она даже заплакала от волнения. Джеймс забеспокоился:

— Что с вами, дорогая?

— Как жаль, что я еще не стала вашей женой!

— Скоро станете... Необходимо выполнить некоторые формальности. Я уже получил разрешение жениться во Франции от моего непосредственного начальника. Как ни неприятно, но существует порядок: когда один из нас собирается жениться на иностранке, наши службы должны предварительно навести справки.

— Навести справки? — повторила она испуганно.

Он добродушно рассмеялся:

— Ну да... относительно морального облика дамы! Но для вас это простая формальность.

— А в чем состоит это расследование?

— Интересуются семьей невесты, если она у нее есть.

— Но я же вам сказала: у меня есть только сестра, монахиня. Мы близнецы.

— Лучшей рекомендации не придумать! Надо еще, чтобы вы мне дали справку из дома моделей! Кстати, как называется эта фирма?

Она быстро и привычно ответила:

— Клод Верман.

— Известная фирма?

— Она недавно заявила о себе, но кое-чего достигла. Там очень красивые модели...

— И на вас они, должно быть, отлично смотрятся. Мне так хочется подарить вам все платья, которые вам нравятся! Вы не против, если я туда зайду на следующей неделе? На все взгляну и заодно получу справку для спецслужб.

Необходимость снова прибегнуть к уловкам не слишком пугала: счастье сделало ее оптимисткой.

— Я обо всем договорюсь. А что еще нужно?

— Ну, конечно, медицинская справка — впрочем, и для меня тоже. И еще кое-какие официальные бумаги, предусмотренные французским законодательством, — ведь мы поженемся здесь. Я уже осведомлялся: во Франции этим занимается мэрия по месту жительства невесты. Для вас это мэрия Шестнадцатого округа?

— Да.

— Там мы оформим гражданский брак. Я передам туда свои документы. Потом надо дать объявление о предстоящем бракосочетании, как это принято у вас. Мне сказали, что это займет не более десяти дней.

— Вы меня поражаете, милый! Все предусмотрели!

— Не хочется тянуть со свадьбой. Если все пойдет хорошо, мы сможем пожениться недели через три. И тогда можно сразу же уезжать в Соединенные Штаты. А что касается религиозного обряда... Знаете, есть одна очень красивая часовня при Штабе Верховного главнокомандующего вооруженными силами НАТО в Европе. Я там был недавно на свадьбе немецкого офицера и француженки... Мне очень понравилось. У выхода из часовни молодых ожидал почетный караул в формах всех стран-союзниц. Такие браки еще больше сближают народы. А вы не против подобной церемонии?

Она позволила себе увлечься этой мечтой...

— Мне вот что пришло в голову... Вы знаете, как я люблю свою сестру Элизабет. К тому же я ее единственная привязанность в миру. Она так обрадуется, если мы скромно обвенчаемся в часовне дома престарелых на авеню-дю-Мэн среди бедных стариков.

— Прекрасная мысль! Поженимся в обители очаровательных сестер-благотворительниц. Как вы думаете, уже бывали свадьбы в часовнях домов престарелых?

— Может, и бывали, когда требовалось узаконить отношения старых супругов, которые не были обвенчаны. Но вряд ли там когда-либо венчались молодые!

— Тем прекраснее будет наша свадьба!

Когда она отвезла его в Сен-Жермен, он сказал:

— Дайте мне руку, дорогая...

Он надел ей на палец кольцо, поцеловал руку и быстро вышел из машины. Агнесса оцепенела, не находя в себе сил включить зажигание и разглядывая свою все еще дрожащую руку, на которой в лунном свете сверкал изумруд, символ их обручения.

Прежде чем войти в квартиру на улице Фезандери, ей пришлось снять кольцо и спрятать в сумочку. Если месье Боб его увидит, то немедленно присвоит, чтобы перепродать и бросить на зеленое сукно этот неожиданный трофей...

Боб был дома и мирно курил в своем любимом кресле в гостиной.

— Заждался я тебя. Хорошо, что ты не слишком поздно. Удачно съездили? Американец заплатил?

— Возьми. Можешь проверить, там вся сумма.

— Но, милочка, я всегда доверял тебе.

Он положил деньги в карман, оставаясь, как обычно, невозмутимым, и добавил:

— Наверное, Барбизон ослепительно красив в такую погоду?

— Да, там очень мило, — рассеянно ответила она.

Агнесса припомнила и то, как ей удалось раздобыть сто пятьдесят тысяч франков... Накануне поездки, во второй половине дня в пятницу, она получила пятьдесят тысяч от одного клиента. Но искать другого и добирать недостающие сто тысяч было уже некогда, и она отправилась к двум часам в бар на улицу Марбёф, где Жанина буквально бросилась ей на шею:

— Наконец-то! А я-то гадала, куда ты сгинула! Я и беспокоилась, и радовалась за тебя. Боялась, как бы твой Андре не подложил тебе свинью, и радовалась, потому что надеялась, что ты потихоньку улизнула со своим американцем и милуешься с ним.

— Почти угадала...

— А с американцем порядок?

— Я его люблю все сильнее! Но знаешь, у меня не все ладится. Так хочется провести с ним уик-энд, да вряд ли удастся. Ведь надо отвалить Андре куш пожирнее. Понимаешь?

— Еще бы! Фред точно такой же! Что за собачья жизнь у нас с тобой!

— А что нам еще остается? Приходится доставать деньги! Можешь одолжить мне сто тысяч франков? Обещаю вернуть на следующей неделе, дней через пять. У меня на примете выгодные клиенты, но именно потому, что денег у них куры не клюют, они каждый раз сматываются из Парижа в конце недели.

— Вот уж точно, по воскресеньям и в праздники мне тоже попадаются одни голодранцы. Так тебе ста тысяч не хватает?

— Да.

— Когда они есть, это не Бог вещь что, но когда их надо раздобыть, становятся целой историей! Будь я на твоём месте, то и не знала бы, как выкрутиться; я сэкономила сорок тысяч, о которых Фред не знает, хочу купить пару платьев. Они мне нравятся, и обещали уступить со скидкой. Давай я заплачу там на следующей неделе, а пока отдам их тебе. Все-таки кое-что!

— Ты просто ангел!

— Могу перехватить остальные шестьдесят у двух-трех подружек. Они независимы, и у них водятся деньги. Им не трудно меня выручить, потому что они ни перед кем не отчитываются. Попрошу у каждой по двадцать тысяч, и не буду объяснять зачем. Что-нибудь придумаю, чтобы их растрогать: скажем, что у меня подружка сейчас в больнице рождает тайком... Когда начинаешь так заливать, действует безотказно!

— Если выгорит, ты здорово меня выручишь!

— В котором часу ты уезжаешь со своим военным?

— Около одиннадцати.

— Давай встретимся здесь завтра утром в половине одиннадцатого. Если я не законченная дура, то раздобуду денежки. А теперь бегу. Пора за дело!

— Спасибо!

— Послушай, хоть ты и счастливая, но не забудь обо мне! Мне тоже нужен любимый. Среди знакомых твоего американца наверняка найдется кто-нибудь подходящий и для меня!

На следующий день в назначенный час малышка Жанина принесла сто банковских билетов своей «лучшей подруге», которая приняла их с благодарностью, подумав, что истинные сокровища дружбы могут скрываться даже в душе проститутки.

Пока Агнесса вспоминала, месье Боб с любопытством наблюдал за нею.

— Мечтаешь?

Она не ответила.

— Понимаю. После каникул всегда есть о чем вспомнить!

— Ну, мои-то каникулы не слишком затянулись.

— Не жалуйся, моя милая! У многих девушек и таких не бывает.

— Что-то устала.

— Выспись как следует, это полезно, а завтра обо всем и думать забудешь. Сейчас еще не поздно, да и ты принесла мне хороший куш, пойду-ка рискну, испытаю судьбу. Ты ведь знаешь теперь, что самые выигрышные партии заканчиваются на рассвете.

Она презрительно взглянула на него, но Боб, казалось, не обратил на это никакого внимания. Он подождал, пока она ляжет, и, наклонившись к ней с видом человека, проявляющего внимание к усталой подруге, тихо спросил:

— Сказала ему?

— О чем?

— ...Что вы видите в последний раз?

— Ну да, раз ты этого хотел!

— И что он ответил?

— Что не забудет меня никогда...

— Можно его понять... Спокойной ночи!

Как только дверь закрылась за ним, Агнесса вскочила с постели и, подбежав к окну,

убедилась, что «шевроле» действительно укатил.

Тогда она схватила сумочку, которую сначала небрежно бросила в шкаф. Она очень боялась, что Боб начнет рыться в ней, как делал уже не раз. Разве подобный субъект поймет, что кто-то готов подарить дорогое украшение лишь в знак скрепления клятвы? Снова Агнесса любовно разглядывала драгоценный камень. Только безумцы или невежды считают, будто изумруд приносит несчастье! Ведь ее он сделал счастливой. Она спрятала кольцо между двумя вышитыми носовыми платками на полке, где хранила свои личные вещи. Вернувшись в гостиную, она попросила телефонистку соединить ее с номером, который дал Джеймс.

— Алло! Это вы, Джеймс? Еще не спите, милый? Я тоже — не могу уснуть. Я так счастлива. Спасибо за кольцо. Оно прекрасно! Я люблю вас! Так хотелось снова сказать вам об этом. Встретимся завтра пораньше. В пять вместо семи. Мне пришло письмо из фирмы: завтра вечером, оказывается, будет демонстрация моделей...

— Согласен, дорогая, — ответил любимый голос. — Но воспользуйтесь случаем и предупредите об уходе...

— Клод Верман отпустит меня, когда я захочу. Но я предупрежу ее завтра же. Спокойной ночи, любимый!

— До завтра, невестушка!

Боб вернулся только к девяти утра. Агнесса, уже давно проснувшаяся и готовая к выходу, сразу поняла по его искаженному лицу, что он проигрался в пух и прах. Она ожидала, что он заявит, как обычно: «Опять не повезло!» Но Боб ограничился словами:

— Как ты рано встала!

— У любви нет расписания...

— Что верно, то верно. Желаю удачи! А я ложусь спать... Не забудь, что сегодня вечером мы обедаем дома.

В память Агнессы крепко засел разговор с Клод Верман. Старая подруга то осторожничала, то умилялась, но в конце концов согласилась помочь. Модельерша поняла, что в ее интересах ни в чем не отказывать невесте американца.

На следующий день в четыре часа Джеймс появился в салоне Клод Верман. Красавец в военной форме привлек к себе внимание клиенток, ожидавших показа коллекций. Но Джеймс оставался совершенно невозмутим.

Началась демонстрация. Сперва появились три манекенщицы в платьях с выразительными названиями, а затем Агнесса в элегантном дорожном костюме. Она выходила на сцену семь раз — то в платьях делового стиля, то в вечерних туалетах, в которых выглядела особенно изящной. Глядя на нее, Джеймс вдруг понял, как трудно быть манекенщицей. Под конец Агнесса появилась в белом платье: жених увидел невесту, о которой мечтал.

Через несколько минут, когда она подошла к нему вместе с Клод, он заявил:

— Платье вам очень к лицу, Агнесса! Давайте купим все.

Она улыбнулась.

— Особенно я настаиваю на свадебном платье, — добавил он. — Когда ваша сестра и ее старики увидят вас в нем, им будет приятно, что вы выбрали такое красивое платье для церемонии в их церкви!

— Сколько я вам должен за все? — спросил он директрису.

— Для вас мы сделаем скидку, потому что ваша невеста работала у нас. Кстати, возьмите справку.

— Мой свадебный подарок, — шепнула она Агнессе.

Когда они вышли на улицу, до встречи с Бобом оставался всего час.

— Милый, — сказала она Джеймсу, — я огорчена, что не смогу провести этот вечер с вами, но я не могла отказать подругам из дома моделей, сегодня у нас прощальный обед. Ведь я там проработала три года!

— Иначе говоря, — сказал он с улыбкой, — сегодня прощание с жизнью манекенщицы! Что ж, день прошел с пользой, потому что теперь вы свободны и хорошо одеты. Но ведь приданое моей жены не может состоять только из платьев. Вам предстоит еще много предсвадебных покупок. Я не могу себе представить, чтобы такая красавица уехала из Парижа, самого элегантного города в мире, не купив себе самого необходимого.

Теперь наступил его черед краснеть, затрагивая тему, казавшуюся ему деликатной.

— Милая, — сказал он, волнуясь и опуская глаза, — полагаю, что заработков парижской манекенщицы, пусть даже высококвалифицированной, не хватит для предстоящих расходов. Вероятно, офицер из натовского штаба располагает более значительными возможностями. Позвольте будущему мужу помочь вам. Мне хочется, чтобы моя жена была хорошо одета. Поэтому я должен взять расходы на себя. Милая, доставьте мне удовольствие, возьмите это!

И он вручил ей толстый бумажник из белой кожи. Она приняла деньги привычным жестом, с каким столько раз брала плату от клиентов, разумеется, не отличавшихся деликатностью. Так же она когда-то приняла и помощь от Жоржа Вернье, казавшегося столь же заботливым. Как откажешься от денег, если они тебе позарез нужны? Она спрятала бумажник в сумочку с чувством облегчения, пересилившим стыд.

Оставшись одна, она взглянула на часы: может, попытаться вернуть долг, прежде чем идти домой? Ведь улица Марбёф совсем рядом. Через несколько минут она была уже там.

Жанина сидела на своем привычном месте за чашечкой кофе:

— Я обещала тебе вернуть долг сегодня, — сказала Агнесса, — возьми.

И она сунула купюры в сумочку подруги:

— Еще раз спасибо! Никогда не забуду этого. Ты просто прелесть!

— Как нельзя кстати. А то с Фредом совсем сладу нет!

— Почему?

— Не знаю, что ему в голову взбрело, но последние два дня к нему не прикоснешься. Ты только послушай, он требует, чтобы я приносила по пятьдесят тысяч в день! Совсем обалдел!

— Все они одинаковые...

— Расскажи лучше, что у тебя. Как поездка?

— Прекрасно — благодаря тебе!

— Вот здорово!

Глаза брюнетки светились радостью, когда она слушала рассказ Агнессы. Тронутая ее дружбой, Агнесса подумала, что, освободившись сама, она обязана помочь освободиться и этой простой, но такой преданной ей девчонке.

На улице Фезандери ее поджидал месье Боб.

— Сколько принесла сегодня?

— Вот, — ответила она. — Тридцать.

— Как я погляжу, расставшись с американцем, ты зарабатываешь гораздо меньше. Но пусть уж лучше так! А теперь пообедаем вместе, как влюбленные голубки!

— Нет аппетита, — сказала Агнесса, — и потом у меня голова раскалывается.

— Ничего, пройдет, детка! Сейчас чудесная погода, на днях съездим с тобой отдохнуть на Лазурный берег! А пока спи спокойно, тебе нужно быть красивой!

Посещение Джеймса стало беспрецедентным событием на авеню-дю-Мэн. Никогда еще на памяти монахинь нога американского офицера в форме не переступала порога дома престарелых. Придя сюда вместе с Джеймсом, Агнесса сразу поняла, что Элизабет не удержалась и рассказала радостную новость всему своему окружению. В каждом окне были зрители. Даже на пятом этаже, где помещался лазарет, любопытство придало сил «хроникам», способным еще вставать с постели. Из-за каждой двери первого этажа выглядывали чепцы не слишком ловко спрятавшихся монахинь.

Провожая гостей в приемную, привратница сестра Агата комментировала событие:

— Вот уж радость так радость, мадемуазель Агнесса. Возблагодарим Небо за этот день! Если бы вы только знали, как счастлива сестра Элизабет! Вчера вечером мы сотворили общую молитву за ваше счастье!

В большом корпусе обители не было заметно никаких перемен, и тем не менее ощущалась атмосфера праздника... Казалось, земная любовь, воплощенная в этой красивой паре, внезапно проникла сквозь монастырские стены и придала новую силу царившей здесь Божественной любви. Все подглядывали, перешептывались и сплетничали не столько из-за Агнессы, которую давно знали и любили, сколько из-за белокурого светлоглазого гиганта, шагавшего через двор рядом с невестой спокойно и несколько небрежно, как ходят все моряки, оказавшись на суши. На стариков и старух повеяло молодостью, и пробудились далекие воспоминания...

Очувтившись рядом с Джеймсом в приемной, Агнесса с благодарностью взглянула на святого Иосифа.

Элизабет вошла так тихо и незаметно, что ни Агнесса, ни Джеймс не услышали ее приближения. Джеймс обернулся и застыл на месте, пораженный сходством сестер. Инстинктивно он переводил взгляд с Элизабет на Агнессу и с Агнессы на Элизабет: на лицах обеих была одинаковая веселая улыбка, и офицер, тоже в конце концов улыбнувшись, смущенно пробормотал:

— Какое чудо! Воистину Господь Бог проявил щедрость, сотворив такое прелестное существо в двух экземплярах!

— Вы тоже не из самых неудачных Его творений, Джеймс, — ответила монахиня, отступая, чтобы лучше разглядеть их вместе. — Семья одобряет твой выбор, Агнесса! Твоя семья — это я! Поцелуй меня, мой будущий зять! Впервые в жизни я прошу об этом мужчину, а тем более моряка!

— А мне впервые приходится целовать монахиню! — сказал, смеясь, белокурый гигант.

— Ну что же, — заключила Элизабет. — Видно, нашим форменным облачениям было предначертано однажды соприкоснуться! Не пойти ли всем вместе в церковь, чтобы поблагодарить Бога за дарованную нам истинную радость?

Они снова пересекли двор, Джеймс шел между сестрами-близнецами. Все головы снова показались в окнах, но ни Элизабет, ни Джеймс, ни Агнесса не обращали на них внимания, ведь они шли в святилище...

Выйдя из часовни, Агнесса сказала сестре:

— Мы с Джеймсом подумали, как чудесно было бы обвенчаться в этом храме. Как ты думаешь, это возможно?

— Возможно? — воскликнула Элизабет. — Да просто совершенно необходимо! В последнее время у нас слишком много хоронили. Нужна свадьба, чтобы восстановить равновесие. Спасибо вам, я так рада... Я поговорю об этом с Преподобной Матерью Настоятельницей и священником. Надо получить специальное разрешение от Архиепископа. Святой Иосиф возьмет все на себя...

— Дорогая, — сказала Агнесса, — Джеймсу хотелось бы зайти в дом престарелых.

— Но это так и задумано с самого начала! Вас здесь ждут!

Они зашли в здание, где жили старухи. Сестре Кейт не без труда удалось собрать их в столовой. Не обошлось и без угроз, сказанных сердитым тоном:

— Если кто-нибудь из вас затеет ссору перед приходом «наших» молодых, я пожалуюсь американскому генералу!

Для сестры Кейт Джеймс обрел чин никак не ниже генеральского!

Угроза возымела действие, все пересуды смолкли, как по мановению волшебной палочки, когда белокурый гигант появился в большом зале в сопровождении сестер-близнецов. На минуту Джеймс растерялся и оробел в присутствии трех сотен пожилых женщин, которые сидели, не сводя с него глаз.

Сестра Кейт, подобно капитану, выстроившему свою роту перед вышестоящим чином, подошла и сказала:

— Доброе утро, генерал!

— Нет! Пока лишь капитан, — уточнил Джеймс с улыбкой. — А вы англичанка?

— Я ирландка. И очень горжусь этим.

И удивительный смотр этого «войска» начался. Офицер переходил от стола к столу, пожимая мозолистые руки, которые тянулись к нему одна за другой, а сестра Кейт называла имена: Евдокия, Берта, Жанна, Люси, Бланш, Фелиситэ... Сама Мелани, невыносимая дикарка Мелани, одарила красавца-офицера ослепительной беззубой улыбкой.

Это был подлинный успех. Агнесса шла следом за Джеймсом и тоже пожимала руки старухам, у которых, похоже, возникали воспоминания о былой любви... Красноречивые взгляды, казалось, говорили: «Мы с тобой, детка! Спасибо, что поделилась с нами своим счастьем!»

Прежде чем выйти из столовой, офицер повернулся и встал по стойке смирно, отдавая честь всем присутствующим. И тогда произошло событие, потрясшее сестру Кейт, потому что от нее на этот счет не поступало никаких распоряжений: старушки неожиданно зааплодировали и даже закричали «ура!». Джеймсу дали понять: он здесь свой.

Обходя по порядку весь дом, они зашли в отделение «хроников», где находились подопечные Элизабет. Американец приветливо улыбался даже тем из них, по чьим застывшим лицам и бессмысленному взгляду было видно, что разум покинул их. С теми же, кто не мог ходить, но сохранил ясную голову, Джеймс смело вступал в разговор. Дольше всего его удерживал подле себя Константин, чемпион по игре в домино, которому пришлось пообещать, что как-нибудь они сыграют партию «как мужчина с женщиной».

— Вы хорошо играете, капитан? — спросил старик.

— Вообще-то у меня больше опыта игры в покер!

— Карты! Нет, шахматы — это еще куда ни шло, но карты!.. Но ничто не сравнится с

наслаждением, которое доставляет удачная партия в домино. Правда, сестра?

— Видите ли... — начала Элизабет.

Но чемпион не дал ей закончить. Он уже наклонился к Джеймсу и Агнессе, приложив палец к губам в знак особой секретности сообщаемого, хотя глухота заставляла его кричать во весь голос.

— Не хочу огорчать сестру, но ведь она никогда не научится играть как следует! Она старательна, вот и все... Но хорошо играть в домино, как и в бильярд, — это особый дар, такое должно быть в крови!

После лазарета гости зашли на кухню, где пышная и величественная сестра Дозифея, француженка из Канады, царила над плитой с громадными кастрюлями.

— Вкусно пахнет, — заметила Агнесса.

— Сегодня вечером, — сказала сестра Дозифея, — в вашу честь и в честь вашего жениха подадим любимый всеми десерт: крем с карамелью.

И, вздохнув, она добавила:

— Это самое доступное угощение для беззубых.

Сестре Дозифее помогали три итальянки. Их смуглость и акцент (они не выговаривали шипящих) сразу подсказали Джеймсу, что они южанки. И он не удержался и сказал:

— Великолепно! Вы напомнили мне нашу высадку в Неаполе в 1944 году... Все население вышло нам навстречу, несмотря на нищету и испытания, выпавшие на долю прекрасного города... Как мило, что вы принесли немного солнечного тепла в этот дом, где столько стариков в нем нуждаются!

На такие слова сестры Паола, Марчелина и Катарина ответили лучезарными улыбками.

Из кухни они перешли в прачечную, где за стиральными машинами наблюдали две сестры, которые тоже могли объясняться друг с другом на одном языке — испанском; одна из них родилась в Мадриде, другая — в Чили.

Наряду с Ирландией, Канадой, Италией, Испанией, Южной Америкой была представлена и Голландия — сестрой Беатрисой, непревзойденной мастерицей аккуратно складывать стопки постельного белья, усиленное потребление которого составляло серьезную проблему для дома престарелых.

— Каждую неделю нам нужно полторы тысячи пар простыней и две тысячи полотенец для наших шестисот стариков и старух! Если бы не стирали сами — ни за что бы не справились.

Стопки белья сестры Беатрисы, аккуратно уложенные на полках высоких этажерок, приятно благоухали лавандой и сверкали особой белизной, какая встречается лишь в Голландии.

— Короче говоря, — сделал вывод Джеймс, выходя из бельевой, — ваш дом похож на наш штаб, в нем говорят на всех языках и собраны представительницы всех народов.

— Одно из наших основных правил — использовать каждую в соответствии с ее возможностями. Поместили бы меня на кухню, я бы там опозорилась!

— Да, ты никогда не любила готовить! — заметила Агнесса.

— Мне кажется, научиться этому искусству может только такая гурманка, как ты! Да, Джеймс, в юности за вашей невестой водился такой грешок. А вот когда она надумала стать манекенщицей, пришлось отказаться от него, чтобы сохранить фигуру. Но мне даже жаль: так нравилось, что она любит покушать. Это одно из достоинств хорошей хозяйки.

— Вот поэтому-то я и женюсь на француженке! — признался Джеймс, смеясь, — я

тоже люблю вкусно покушать.

Последними они посетили «вредин». Здесь на долю капитана выпал наибольший успех. Все были на месте: Ювелир, Кавалерист, Финансист, Певец и другие «знаменитости». И каждый счел своим долгом рассказать о своей профессии и задать Джеймсу самые нелепые вопросы:

— А что думают в Соединенных Штатах о французском ювелирном искусстве?

Офицер понял, что обязан ответить, пусть даже никогда не интересовался этим вопросом. Он сумел дать ответ, вполне удовлетворяющий собеседника и позабавивший сестру Элизабет:

— Франция всегда имела великих художников и прекрасных мастеров, таких, как вы, например, и мы в США ей в этом завидуем... Вы — творцы во всем, а мы — исполнители, поэтому мы взаимно дополняем друг друга!

Кавалерист тоже предпринял наступление:

— Ваши ковбои не знают элементарных принципов конного спорта. Они держатся в седле, как акробаты.

— У наших ковбоев были предшественники: стражи из Камарчи. Не забывайте, что мы молодая нация! Но мы восхищаемся настоящими кавалеристами: их самообладание и ловкость приводят нас в восторг. Может, это и странно слышать, но все моряки любят лошадей. Это один из парадоксов нашей жизни.

— А кто больше всех любит верховую езду в вашей стране?

— Женщины, уважаемый. У американок психология настоящих амазонок; они понимают, что мужчину, с которым они соединяют свою жизнь, нужно взнудать.

— И мужчины служат у вас тяжеловозами?

— А что в этом плохого? Вы же гордитесь своими першеронами? Я бывал на ваших конных заводах в Пэне. Это потрясающе!

— Вы знаете даже заводы Пэна. Странно слышать такое от моряка и, тем более, от американца! С ума сойти, мне так и хочется отдать вам честь! Не думайте, что на меня так подействовали погоны, нет, главное — ваши личные качества! Какой глупец говорил еще вчера вечером, когда узнали, что сестра нашей Элизабет выходит замуж за американца, что вы все сделаны по одному стандарту? Где он, этот кретин?

— Это я! — с гордостью заявил Мельхиор де Сен-Помье, — да, я не собираюсь скрывать, капитан, и смею надеяться, что ваша очаровательная невеста, которую мы очень любим и принимаем, как свою, потому что она как две капли воды похожа на нашу сестру, не рассердится на меня за мою искренность. Я не люблю американцев!

— Мило, — весело сказал Джеймс Агнессе, — это высказывание приводит меня в восторг! Они просто чудесные, старые друзья вашей сестры. Могу ли я узнать, почтенный месье, за что вы нас не любите?

— Считаю нужным уточнить, капитан, — с пафосом ответил неудачливый комедиант, — что не имею в виду ни Бенджамина Франклина, ни генерала Лафайета, ни Буффало Билла. Я смотрю с позиций искусства. Факт остается фактом: в США нет артистов!

— У нас их, напротив, слишком много. К нам приезжают артисты со всего света, потому что они предпочитают доллары всем другим денежным знакам!

— Разве это артисты? Настоящий артист работает лишь из любви к Искусству! Он чувствует себя на подмостках, как вы на своем капитанском мостике, — там он царь и бог!

— Вы драматический актер?

— А что, не видно? — величественно ответил Мельхиор де Сен-Помье, привычно откидывая назад свою пышную гриву. — Да, я — актер и имел честь принадлежать к ныне исчезающей категории артистов кабаре, былых кумиров публики. Это вам ни о чем не говорит: в такой стране, как ваша, не было ни «Концертс Пакра», ни «Пети Казино», ни «Фоли — Бельвиль», ни «Эден — д'Аньер»...

Пока Мельхиор де Сен-Помье перечислял места былых триумфов своим хорошо поставленным голосом, Джеймс, улыбаясь, начал потихоньку насвистывать старый мотив. Услышав знакомую мелодию, певец удивленно спросил:

— Вы знаете эту мелодию, капитан?

— Ручаюсь, что она американская.

— Верно! Я исполнял ее в 1918 году. «Розы из Пикардии»... Я имел грандиозный успех. Как мне аплодировали!

— В одном кабаре, о которых вы так сожалеете? У нас такие были в любом городе, и не успевала там войти в моду песня, как вы ее подхватывали здесь...

— У вас и кабаре были? — повторил Мельхиор восторженно и недоуменно. — Мне остается только извиниться. Простите меня, капитан... В вашей стране, выходит, тоже были настоящие артисты...

Джеймс не стал афишировать своего торжества, тем более что предстояло отразить последний натиск: в атаку ринулся Финансист.

— Вы только что упоминали о долларах, капитан, но не создается ли у вас впечатления, что вскоре Франция начнет одалживать деньги Соединенным Штатам, ведь курс франка растет!

— Мы будем очень рады, если самая прекрасная в мире страна станет обладать достойной ее валютой. Когда этот день наступит, ваши туристы поедут к нам. А у нас есть что показать!

— Мы посетим вас с величайшим удовольствием, капитан.

Одерживая победу за победой, Джеймс сумел выиграть решающую битву и завоевал всеобщую симпатию. «Вредины» редко демонстрировали такое единодушие. Уже давно они «признали» Агнессу, потому что она была родной сестрой их любимой Элизабет, единственной из всех монахинь, сумевшей не только подчинить стариков дисциплине дома, но и вызвать всеобщую привязанность. Для них Элизабет была «табу», и они перенесли свое отношение к ней на Агнессу... Но накануне, когда сестра Элизабет объявила о предстоящем приходе Агнессы с женихом, американским морским офицером, в комнате наступило молчание... Никто из «врединов» не задал вопроса, но Элизабет почувствовала их сдержанность... Поэтому она обрадовалась, что ее будущий зять с честью вышел из трудного положения.

Элизабет внимательно и со все возрастающей симпатией следила за ответами Джеймса.

Его человечность пленила ее. Этот белокурый гигант оказался не просто человеком, а Человеком с большой буквы. Она поняла, что офицер принял правила игры в том числе и потому, что хотел косвенно выразить глубокое восхищение и ею, и Орденом, к которому она принадлежала.

В приемной они встретили Мать Настоятельницу, которая пришла поздравить их. Она одобрила идею организовать брачную церемонию в ее доме. Джеймс вручил ей банковский билет со словами:

— Преподобная Мать, приготовления к свадебной церемонии потребуют некоторых

расходов...

— Да ведь это тысяча долларов! — воскликнула Мать Настоятельница. — Не слишком ли много? Сколько это во франках?

— Точно не знаю, — ответил офицер, смеясь. — Если что-то останется, можно от нас сделать небольшие подарки друзьям сестры Элизабет, «врединам»!

— Обещаю вам, что часовня будет красиво украшена, — сказала настоятельница, собираясь выйти. — Она будет утопать в белых цветах.

— А свадебное платье у тебя есть? — спросила Элизабет.

— Уже купила.

— Как похоже на мою собственную свадьбу, — задумчиво сказала она. — Да, Джеймс! Я тоже венчалась в день принятия обета: это было первое венчание в нашей семье. Я не имела права заставить ждать моего Супруга!

Сестра-благотворительница что-то достала из большого кармана своей черной юбки и спрятала с таинственным видом за спиной.

— Теперь моя очередь сделать вам подарок, Джеймс! Надеюсь, он вам понравится! — сказала она и достала фотографию, на которой можно было разглядеть двух молоденьких девушек.

— Это мы с вашей невестой в пятнадцать лет. Я сохранила эту единственную фотографию, оставшуюся от нашей юности, потому что подумала: «В день помолвки Агнессы я подарю ее моему будущему зятю».

— Вы доставляете мне и в самом деле большое удовольствие, дорогая сестра, — сказал офицер, взяв фотографию. — Но я огорчен, что она не останется у вас.

— Неважно. Ведь в день свадьбы мы снова сфотографируемся, все трое вместе, вы, Джеймс, в центре, и мы по обе стороны от вас. Вашу форму и мое облачение затмит платье Агнессы, ведь оно символизирует самый волнующий момент земных устремлений...

— Как ни печально, но мне пора покинуть вас, сестра, нужно возвращаться.

— А меня заждались в лазарете! Каждому свое...

Высадив Джеймса у входа в штаб, Агнесса в задумчивости вернулась в Париж. Цель почти достигнута: оглашение о предстоящем бракосочетании сделано, и через десять дней состоится свадьба. Дата освобождения назначена! Гражданский обряд произойдет в мэрии в три часа дня, а церковная служба — на следующее утро в десять часов в часовне на авеню-дю-Мэн. Будет много цветов, выступит хор под управлением Мельхиора де Сен-Помье, соберутся все старики и старухи. Вся община примет участие в церемонии.

В тот же вечер молодожены отправятся в аэропорт Орли и вылетят в Соединенные Штаты. Джеймс уже заказал билеты. Из аэропорта Агнесса отправит письмо, которое на следующее утро будет доставлено Прокурору республики. Так она освободит и Жанину. Это будет прощальным подарком брюнетке от ее подруги Кору. Письмо, потрясающее своей правдивостью, уже написано:

«Господин Прокурор!

Считаю своим долгом довести до вашего сведения, что в течение трех лет я была во власти сутенера, из-под которой наконец мне удалось освободиться. Сегодня утром я стала женой Джеймса Х., капитана американского военно-морского флота. Находясь в безопасности, я подаю жалобу на Роберта Х., известного в преступном мире как «меся

Боб», а также «Жорж Вернье» или «месье Фред». Под этим последним именем он продолжает «покровительствовать» несчастной девушке, обеспечивающей ему средства к существованию тем же способом, что и я: речь идет о Жанине...

Мне известно, господин Прокурор, что вы можете принять должные меры, только получив официальную жалобу в письменном виде. Девушки, запуганные преступниками, нечасто осмеливаются к вам обратиться. Сегодня я посылаю вам необходимый документ, но, принимая во внимание положение благородного человека, пожелавшего вступить со мной в брак, прошу сохранить в тайне его имя, а также мое собственное. Если бы речь шла только обо мне, я не задумываясь предала бы это дело огласке, чтобы помочь освободить женщин, терпящих муки, через которые пришлось пройти и мне. Но я не имею права так поступить из уважения и любви к двум людям: мужу и моей сестре-монахини, посвятившей жизнь служению бедным старикам.

Господин Прокурор, я убеждена, что, столкнувшись при исполнении своих высоких обязанностей со множеством несчастных судеб, вы не могли не проникнуться глубокой человечностью. Умоляю вас положить конец чудовищному промыслу этого негодяя.

Вот его адрес: улица Фезандери...

Если понадобятся другие сведения, пишите мне по адресу: До востребования, Сан-Франциско, США, где я буду жить с мужем.»

И она поставит подпись: миссис Х., когда по закону получит право носить это имя.

Тщательно спрятав письмо на дне коробки из-под шляпы в своем шифоньере, Агнесса почувствовала, что теперь совесть ее спокойна. Может быть, она ошиблась, и этого письма недостаточно для возбуждения дела против месье Боба? Но что еще она может сделать, не рискуя, что Джеймс узнает о ее подлинной профессии? Конечно, настанет день, когда она откроет ему всю правду. Она выберет подходящий момент, когда их любовь будет так сильна, а их союз так крепок, что ничто на свете, даже страшное признание, не сможет поколебать их! Джеймс уже доказал своим поведением, что достаточно добр и великодушен; он сможет простить...

Чтобы не вызвать подозрений у Боба, Агнесса старалась встречаться с Джеймсом только во второй половине дня, а вечером регулярно возвращалась на улицу Фезандери, ссылаясь на необходимость готовиться к отъезду.

— А как вы поступите с квартирой, дорогая? — спросил Джеймс.

— Уже предупредила владельца, что уезжаю.

— А машина?

— Уже продала, но с тем условием, что буду пользоваться ею до самого последнего дня.

Что касается квартиры, пришлось опять чуточку слукавить, но об «аронде» она сказала правду: суммы, вырученной от ее продажи вместе с деньгами, подаренными Джеймсом, как раз хватило, чтобы по-прежнему выдавать сутенеру ежедневно от двадцати пяти до тридцати тысяч франков. Она рассчитала, что денег хватит до самого отъезда. Ведь не продолжать же в самом деле «обслуживать» клиентуру. Агнесса больше никогда не изменит тому, кто скоро станет ее мужем перед Богом и людьми.

Чем меньше времени оставалось до дня свадьбы, тем сильнее волновалась Агнесса. Сто раз на день она твердила себе: «Не может быть! Неужели это правда? Неужели через несколько дней я действительно стану женой Джеймса?!» И она снова и снова перебирала в уме все детали тайного плана своего освобождения, чтобы убедиться, что не упустила ни

одной мелочи, способной разрушить ее стремительно приближающееся счастье. Чем больше она все обдумывала, тем становилась увереннее в том, что не должна помешать никакая случайность. Когда месье Боб узнает, что произошло, будет уже слишком поздно что-либо предпринять.

Сколько раз у нее возникало желание открыться Жанине и рассказать о приближении свадьбы. Но она удержалась, боясь, что брюнетка захочет поделиться этой радостью с мнимым «месье Фредом». Могла же она прощепетать:

— Знал бы ты, как я рада! Моя ближайшая подруга выходит замуж! Это тайна, но тебе-то я могу сказать: она станет женой американского морского офицера!

Нельзя так рисковать. Надо соблюдать осторожность до последней минуты.

По вечерам, находясь в обществе Боба, ей все труднее было держать себя в руках и ничем не выдавать своего состояния. Как нарочно, уже четыре дня подряд он оставался дома после обеда и не уходил попытать счастья в игре. Агнесса не решалась предложить ему куда-нибудь пойти, чтобы не вызывать подозрений. Как хорошо было бы не видеть его в эти последние дни! А ежевечерняя комедия «семейного» быта казалась ей невыносимой!

Оставалось всего два дня до гражданского бракосочетания Агнессы и Джеймса и три дня до церковного.

И вот начался новый вечер на улице Фезандери. Агнесса курила сигарету за сигаретой, переходя из гостиной в спальню, из спальни в ванную, из ванной в кухню, из кухни в гостиную... Она не могла оставаться на месте, пытаясь уклониться от беседы с Бобом, устроившимся на своем излюбленном месте с газетой в руках. Казалось, никогда еще он не выглядел таким уверенным в прочности их союза. Его спокойствие лишало Агнессу равновесия. Иногда ей казалось, будто он притворяется, чтобы заставить ее еще больше нервничать. Когда она в четвертый раз подряд пришла из кухни в гостиную, он спросил, не отрывая глаз от программы завтрашних скачек:

— Да что с тобой сегодня, что ты мечешься, как угорелая?

— Ничего особенного.

— Скучаешь?

— Вовсе нет.

— Хочешь, проедемся по Булонскому лесу на машине?

— Нет уж, спасибо. Мне и дома хорошо...

— Тогда успокойся! Тебе что, не хватает послеобеденных «тренировок»?

— Ты всегда сама любезность!

Она вышла на балкон подышать свежим воздухом и после затянувшейся паузы спросила, не оборачиваясь и не смея взглянуть на него:

— А ты что, перестал играть?

— Нет, хочется провести вечер с женошкой... Женошка довольна?

Агнесса ничего не ответила. Тогда, спокойно сложив газету, он спросил снова:

— Значит, у женошки нет желания побыть с муженьком?

— С чего ты взял?

— А вот с чего... — он протянул ей рекламное объявление: — Прочти! Это очень поучительно!

Она взглянула на заголовок и побледнела:

«Организация свадеб и банкетов. Солидная фирма»

— Ну да, — продолжал Боб, улыбаясь. — Это пришло по почте сегодня утром, когда ты

уже ушла, в красивом конверте на твое имя. Обычно я не читаю рекламу и сразу отправляю ее в корзину. И на этот раз чуть было не выбросил, но меня привлек изящный заголовок. И я подумал: «А с какой такой стати шлют подобные письма моей обожаемой Агнессе? Уж не собралась ли она замуж втайне от своего Боба? Не подготовила ли она ему такой очаровательный сюрприз?» Слово «свадьба» по ассоциации вызывает в уме другое: «мэрия». И я подумал, что организаторы «свадеб и банкетов», должно быть, находят адреса своей клиентуры в мэрии, где на стенах вывешивают объявления о бракосочетаниях. Подгоняемый любопытством, я отправился в мэрию Шестнадцатого округа, к которому мы относимся, и вижу: в самом деле, мне заготовлен сюрприз! Узнаю, что моя прелестная Агнесса собирается сочетаться законным браком не более и не менее как с блестящим капитаном американского флота! Там же, в мэрии, я без труда узнал день и час готовящейся церемонии. Если тебе это неизвестно, имею честь сообщить, что бракосочетание состоится послезавтра, в 15 часов... Что ты думаешь обо всей этой истории, милая Агнесса?

— Никакая это не история, — ответила она с внезапно обретенным спокойствием. — Это правда!

— Правда? Так я и предполагал. Но публикация объявления — еще не свадьба! Это предварительное сообщение на тот случай, если возникнут какие-то помехи. Так вот, моя дорогая, я могу помешать этой церемонии, и бракосочетание не состоится без моего согласия.

— Неужели? Но я же не замужем. Ты ведь мне не муж, насколько мне известно? Ты мне никто, просто месье Боб!

— Не-ет! Я для тебя все! И ты сейчас сама поймешь. Признаюсь, сделав такое открытие, я потерял всякую охоту идти на скачки. Благоразумно возвратился сюда, и у меня было время спокойно поразмыслить до твоего возвращения. И теперь хочу познакомить тебя с результатом этих размышлений. Похоже, мне предоставляется выбор из нескольких вариантов. Первое и, казалось бы, самое простое решение — устранить тебя...

— Так же, как Сюзанну?

Он не ответил. Она настойчиво повторила:

— Я знаю, что ты убил ее, Боб!

— Допустим, так оно и есть; все равно об этом известно только нам двоим. Ясно?

— Мне все ясно, но я не боюсь. Если помешаешь свадьбе, я стукну в полицию, что ты преступник и сутенер. Что мне смерть, если я теряю надежду на жизнь!

— Ты не сделаешь этого по двум причинам: дело Сюзанны закрыто несколько месяцев тому назад: полиция не любит возвращаться к делам, не представляющим для нее никакого интереса. Одной Сюзанной на земле больше, одной меньше — не все ли им равно? А какие есть доказательства моей виновности? Никаких! Во-вторых, если ты вздумаешь стукнуть насчет Сюзанны или обвинить меня в сутенерстве, надо успеть до свадьбы! А у тебя уже мало времени! И благодаря этим заявлениям американец узнает о твоих подлинных занятиях, которые ты от него тщательно скрываешь. Ты этого хочешь? Давай без драм. Предлагаю третий вариант, наилучший. Помнишь, ты спросила меня однажды, в какую сумму я оценил бы тебя, если бы согласился освободить? Ну что же, в принципе, я согласен. Остается решить вопрос: во что оценить твою шкуру?

У нее возникло ощущение тошноты:

— Тебе кажется, что ты на рынке Ла-Виллем?

— Нет, меня интересуется только двуногий скот. Что бы там ни было, ты приносишь

доход. И поскольку принадлежишь мне, сама понимаешь, надо назначить цену твоей шкуре! Твой американец богат... коль скоро такой, как он, решил жениться на такой, как ты, то за деньгами не постоит! Ну, скажем, пятьдесят тысяч долларов!

— Ты с ума сошел!

— Напротив, мне кажется, я очень благоразумен. По нынешнему курсу это составит эдак двадцать пять миллионов франков. Дело, разумеется, не в миллионах: тебе известно, что я презираю деньги, и ты вполне можешь представить, на что я их употреблю... Многие годы я мечтаю сорвать банк в казино... Может быть, эта мечта осуществится благодаря твоей свадьбе! Заметь, кстати, ты ведь стоишь таких денег! Если бы я тебя немножко пришпоривал, ты бы мне их наработала за два года. Видишь, я должен получить компенсацию за убытки!

— Как будто ты уже не подобрал мне замену!

— От тебя и в самом деле ничего не скроешь!

— И, разумеется, знакомство состоялось на улице Понтье?

— Да, в баре на улице Понтье. У меня свои традиции... Девчонка недурна собой, в чем-то она даже напоминает тебя: блондинка, высокая, изящная, не без гонора, но это скоро пройдет.

— Манекенщица?

— Я же сказал: я верен своим принципам. Нужно только обучить это прелестное дитя! Понадобится не меньше двух лет, пока она начнет приносить такой же доход, как ты! Ты видишь, мой расчет верен!

— И ты воображаешь, что сможешь так поступать всю жизнь?

— А почему бы и нет? Я знаю свое дело. Предупреждаю, могу и обидеться... Ну что же, по рукам? Пятьдесят тысяч долларов! Согласен и на франки, если так удобнее твоему жениху. Они несколько повисились в цене. Но я хочу получить наличными! Я не доверяю чекам. И, разумеется, из рук в руки! Не через банк!

— А где, по-твоему, я найду такую сумму за сутки?

— В кармане своего капитана. Он же ни в чем тебе не откажет!

— При всем желании он не сможет быстро достать такую сумму!

— Однако придется!

— Почему?

— И ты еще спрашиваешь? Если завтра до трех часов дня я не получу денег, твоя свадьба не состоится! Вот мое последнее слово!

— Не понимаю, что мне может помешать?!

— Я! И совершенно элементарно. Ты должна догадываться, что у меня есть кое-какие связи... Я уже принял меры. Если в назначенный час не получу денег, два моих близких друга, чьи сведения не вызовут сомнений, так как они принадлежат к полиции нравов, явятся в штаб и сообщат непосредственному начальнику твоего жениха — он, кстати, в чине вице-адмирала — о роде твоей деятельности в последние четыре года.

— Но они расскажут и о тебе?

— Что я им? Я всего лишь добропорядочный буржуа, занимающий прекрасную квартиру на улице Фезандери, за которую выложил кровные денежки, соблаговоливший принять тебя из милости, чтобы ты не осталась на улице или на панели...

— Бог накажет тебя, Боб!

— Бог? Если он существует, то должен ценить в первую очередь умных людей. И зря ты

думаешь, что он будет заниматься нашими мелкими заботами. У него есть дела и поважнее! Уверяю, все будет именно так, как я предсказываю, даже если со мной что-нибудь случится... Представь себе, что произойдет в штабе. Капитана вызовут к вице-адмиралу, и, пока твой бедный возлюбленный будет стоять навтыяжку, тот ему скажет: «Капитан, вы не можете жениться на этой женщине. Она — шлюха!» Эффектная выйдет сценка... Не допускаю мысли, что твой моряк решится послушаться, выйдет в отставку и так далее, ради шлюхи!

— А если я тебя убью?

— Тем хуже для тебя! Сначала тебя упекут надолго в тюрьму. И свадьбу придется отложить... Может быть, тебя в конце концов и оправдают, но это наделает столько шума, что у меня есть все основания опасаться, что блестящий капитан еще сильнее засомневается, стоит ли давать тебе свою фамилию. Поверь, наилучший для тебя выход — принести мне деньги в назначенный час. Принесешь их сама. Я не жажду встречи с твоим будущим мужем. И думаю, это взаимно. Такого рода семейный совет отдавал бы дурным вкусом. Вот и все, моя милая Агнесса! Это наилучший для тебя выход.

— А если, предположим, мне удастся достать деньги, чем ты докажешь, что оставишь меня после этого в покое и прекратишь свой отвратительный шантаж?

— Похоже, ты плохо себе представляешь, что такое честное слово в нашей среде? Это — свято. Готов тем не менее ради твоего спокойствия написать расписку, в которой поклянусь своей честью...

— Честью?

— Да, конечно! Заявлю, что ты была мне лишь подругой, которой я временно предоставил квартиру, потому что ей негде было жить, и что мы в расчете, так как ты полностью заплатила причитающуюся за поднаем квартиры сумму. Это — общепринятая формулировка. Признай, что я действительно славный малый.

— Мне нужно подумать.

— Разумно: размышления проливают свет на истину! Этим, кстати, я и занимался, пока ждал тебя. Не поразмысли я вдоволь, то мог бы начать кричать, бушевать, даже дать тебе взбучку... Только к чему это? Уж лучше решить все полюбовно.

— Делаешь вид, что сила на твоей стороне. Пусть так! Но есть человек, которого ты боишься. Это Джеймс!

— Как бы не так! Знаешь, эти американцы...

— Ты боишься его, потому что он честный и сильный. Такой, как он, если захочет, сможет убить тебя, как собаку!

— Да никогда в жизни — по двум причинам: во-первых, ты ни за что не скажешь ему, кто ты такая! Во-вторых, ты слишком уважаешь его, чтобы допустить, чтобы он унизился до объяснений с субъектом вроде меня! Моя прелесть, нам больше не о чем говорить... Предоставляю тебе свободу действий до завтра. Я вернусь ровно в три часа за деньгами. Само собой, когда дело будет сделано, можешь забрать все свои вещи. Одежду, белье и все такое. Можешь увезти все в машине, я тебе ее оставлю.

— Какой добренький!

— Я всегда говорил, что машина твоя. И ты немедленно уберешься отсюда, чтобы больше никогда не возвращаться!

— А когда приедет «новенькая»?

— В тот же вечер, дорогая! Я не теряю времени даром, а красотке не терпится жить со

мною! До завтра!

И снова Агнесса посмотрела вслед отъезжающему «шевроле». На этот раз, несмотря на угрозы Боба, она осталась совершенно спокойной, хотя знала, что не расскажет ничего Джеймсу и не достанет денег. Остается один выход, к которому уже давно следовало прибегнуть, — покончить с собой. Сегодня же. Как только напишет прощальное письмо жениху.

Сохраняя спокойствие, она села за журнальный столик, и рука ее вывела: «Любимый!..» Написав это слово, которым все было сказано, она замерла, невозможно было писать дальше, потому что тихий голос, столько раз звучавший в ее ушах в минуты отчаяния, прошептал: «Почему ты забыла обо мне, Агнесса? Я молюсь за тебя. Приди ко мне! Расскажи наконец, что не решилась сказать в то утро... Жду тебя...»

Агнесса смяла ненужный уже лист бумаги и встала из-за стола.

Через несколько минут она ехала к авеню-дю-Мэн, зная, что сейчас во всем признается сестре. Только смиренная монахиня способна помочь ей спасти свою любовь.

Бог есть любовь

Более двух часов подряд говорила Агнесса. Выслушав ее, Элизабет сказала:

— А теперь пойдем в часовню молить Бога о прощении.

И снова их объединила совместная молитва.

Агнессой овладело раскаяние:

— Господи, я знаю, что за всю оставшуюся жизнь не смогу искупить грехи этих нескольких лет, когда пренебрегла не только божественной, но и человеческой моралью. Знаю, что не заслужила такой милости, как любовь Джеймса. Но Ты, Боже, сам есть Любовь, так не откажи мне в искуплении любовьюю.

В молитве Элизабет звучала покорность воле Божьей:

— Господи, у меня нет права в чем-то упрекать сестру. На то воля Твоя, чтобы я помогла ей выдержать бесчестье, как Симон помог Тебе нести крест на Голгофу... За годы монашества я узнала, как Ты милостив; и простила сестру, зная, что она уже прощена Тобою. Господи, направь меня: Ты можешь наставить меня, как вести себя, чтобы помочь ей вернуться на путь праведный. Я готова пожертвовать жизнью ради нее. Научи, Господи! И да пребудет во всем воля Твоя!

Поглощенные молитвой, они почти не замечали оживления, царившего в церкви. Бригада «вредин» резво сооружала за алтарем леса под руководством Кавалериста, видимо, вспомнившего, что в Сомюре предпочитали скакать галопом.

— Что они делают? — тихо спросила Агнесса.

— Украшают церковь к твоей свадьбе.

— Они и не подозревают, что церемония не состоится...

— Это еще неизвестно, дорогая! Ведь Господь и не такие творил чудеса. Я уповаю на лучшее.

Из глубины церкви донеслись жалобные звуки фисгармонии.

— Мельхиор Сен-Помье решил, что нельзя сопровождать такую прекрасную свадьбу звуками хриплой фисгармонии! Он попросил слепого старика, бывшего настройщика, исправить ее. Можно не волноваться: через три дня из фисгармонии польются райские звуки! Все будет как полагается!

— К чему теперь все эти хлопоты? Почему бы не сказать им все?

— Если церемония, которой они так ждут, не состоится, это будет настоящей драмой для всех стариков, которые любят тебя и сразу признали твоего жениха.

Когда они вышли во двор, их догнал Мельхиор де Сен-Помье, готовившийся через три дня наполнить своды часовни священной музыкой...

— Я сбежал с хоров, чтобы узнать мнение мадемуазель, — он поклонился Агнессе, — по очень серьезному вопросу. Капитан, ваш будущий супруг был так мил с нами, что хочется сделать ему сюрприз... Обещайте ничего ему не говорить!

— Обещаю! — сказала Агнесса, пытаясь улыбнуться.

— Так вот, когда после обряда вы выйдете из церкви, хор прямо у входа встретит вас пением единственного американского гимна, который может соперничать — в очень малой степени, разумеется, — с нашей доброй старой «Марсельезой» — «Гимн Союзы». Что вы на это скажете?

Агнесса так разволновалась, что не находила слов для ответа. Элизабет пришла ей на

помощь:

— Прекрасная мысль! Нисколько не удивлюсь, что она пришла вам в голову, маэстро!

— Я долго думал, что выбрать, и решил, что для офицера больше всего подходит именно такой бравый гимн. У него есть еще одно преимущество: его можно петь в полный голос, и не будет заметно, если кто-то сфальшивит. К сожалению, такое случается часто. Особенно среди дам. Мы уже несколько раз репетировали, и, знаете, — получается! Самое трудное — заставить их выучить английские слова...

— Неужели вы споете по-английски? — спросила пораженная Агнесса.

— Не думаете же вы, что мы собираемся нанести оскорбление блестящему офицеру американского флота, исполнив для него гимн по-французски?

И, отбросив назад свою гриву величественным движением головы, каким он привык производить впечатление на «невежественную толпу», Мельхиор продолжал:

— Окажись мы у него на родине, неужели нас не порадовал бы знаменитый военный марш «Самбр-э-Мёз», исполненный по-французски!

— Но где же вы раздобыли английский текст? — спросила заинтригованная Элизабет.

— Иногда полезно быть знаменитым артистом! В квартале Сен-Мартен, излюбленном месте музыкантов, меня еще все знают. Стоило только появиться там, как они из кожи вон лезли, чтобы мне угодить. Они раздобыли один-единственный экземпляр марша Союзы на английском языке, изданный в Лондоне Эпеллом в 1913 году! И в каком жутком состоянии! Месье Раймон переписал его в тридцати экземплярах для всех певцов хора. Уж писать-то он мастак, не зря в банке работал!

— Передайте мое огромное спасибо и месье Раймону, — прошептала Агнесса.

— Не знала, что вы говорите по-английски, месье де Сен-Помье, — сказала Элизабет.

— Я, сестричка? Да я в нем ни бельмеса не смыслю! Да и никто из певцов не говорит по-английски. Не забудьте, что наше поколение еще застало время, когда по-французски говорил весь мир. А сегодня, как это ни глупо, французский уступил место английскому!

— А как же быть с произношением, месье де Сен-Помье? Как же вы научите певцов, если вы сами им не владеете?

— В пении произношение не так уж существенно. Самое главное — мелодия! И я вам гарантирую, что красоту марша Союзы оценит каждый! Но все-таки сестра Кейт дала нам кое-какие советы.

— В таком случае, — заключила Элизабет, — я спокойна за уши Джеймса. Все будет идеально.

— За «идеально» не поручусь, — ответил Мельхиор де Сен-Помье, — но красоту гарантирую.

И он удалился, безусловно считая, что последнее утверждение в комментариях не нуждается.

Элизабет подождала несколько секунд, а потом спросила сестру:

— Ты примирилась с Господом?

— Мне кажется, да...

— Я была в этом уверена! Он не так суров, как считают те, кто Его не знает. Ты переночуешь у нас.

— А можно?

— Уверена, что Преподобная Мать Настоятельница разрешит. Скажу ей, что перед свадьбой тебе хочется ненадолго уединиться здесь, да так оно и есть. Она это одобрит. Но у

нас нет отдельных комнат, и тебе придется спать в общей спальне с другими сестрами. Наверное, мы с тобой последний раз в жизни ляжем спать в одной комнате. Помнишь, как было раньше? Нам никак не удавалось уснуть, если мы не были вместе!

— Спасибо за все, что ты делаешь для меня, Элизабет.

— Пока еще благодарить не за что! Но сегодня ночью я помолюсь святому Иосифу, я уверена, что к утру он найдет способ передать мне волю Господню! Он такой же прекрасный дипломат, как и Мельхиор де Сен-Помье. Ты не обедаешь с Джеймсом сегодня вечером?

— Нет.

— Тем лучше.

— Ужасно не хочется возвращаться на улицу Фезандери!

— И не думай об этом! Хотя этот страшный субъект и сказал, что вернется только завтра за так называемым «выкупом», я не верю ему! Лучше оставайся под нашей защитой. Никто тебе здесь не станет досаждать, а если такой вдруг найдется, то целая армия выступит на твою защиту! Ты не знаешь наших стариков и старух: скажи им сегодня вечером, что их большому другу Агнессе, которая так баловала их при каждом своем посещении, угрожает опасность, как у них найдутся силы защитить тебя! А если выяснится, что дело дрянь, я выставлю ударную бригаду «вредины» под командой Кавалериста.

Прозвучал гонг.

— Час вечерней трапезы, — сказала Элизабет. — У нас обедают рано: старики как дети, они нуждаются в длительном отдыхе. Пойдем.

Вставали в монастыре тоже рано.

После заутрени Элизабет спросила сестру:

— Сколько времени ты не принимала причастия?

— С тех пор, как сошлась с этим негодяем.

— Господь поможет тебе вырваться из его когтей. Думаю, что святой Иосиф отлично справится с миссией заступника... Назначенный срок истекает сегодня в три часа дня?

— Да.

— Тогда слушай меня.

Они вдвоем долго прогуливались по саду. Теперь они поменялись ролями: говорила в основном Элизабет. Под конец она спросила:

— Твоя машина у ворот?

— Да.

— Поедем вместе в два часа.

— Мне страшно.

— На все воля Божья. До самого отъезда мы будем вместе и ты поможешь мне в повседневной работе. Даже сегодня я ни в чем не отступлю от своих привычек. Начнем с мужского лазарета. Ты лучше представишь себе мои обязанности. И потом, живя в Сан-Франциско, как-нибудь вспомнишь: «Знаю, чем сейчас занимается Элизабет: она ухаживает за «хрониками» и пытается время от времени поразить папашу Константина мастерской игрой в домино...» А когда устроишься там, то пришьешь мне длинное письмо, где подробно опишешь свой день, час за часом. Тогда и я смогу, ухаживая за стариками, сказать себе как-нибудь: «Сейчас Агнесса готовит завтрак. Потом она пойдет за покупками...» Может быть, наступит день, когда я скажу себе: «А сейчас она учит своего ребенка утренней молитве». Каждая из нас будет знать, о чем думает другая, и никакое расстояние не

помешает. И мы все время будем чувствовать связь друг с другом. Твои заботы станут моими заботами, мои молитвы — твоими. Нас, близнецов, не разлучить... Что ж, пошли в лазарет.

А тем временем месье Боб, сидя в большом кресле в гостиной на улице Фезандери, несмотря на привычное хладнокровие, все-таки слегка нервничал. С самого утра он не мог решить, какой способ действия наилучший. Может быть, стоит прийти с некоторым опозданием? Пусть лучше Агнесса первая явится в назначенный час. А не запросил ли он слишком крупную сумму? Таковую не так-то легко найти сразу, и пусть даже она и найдется, где гарантия, что заинтересованным лицам будет легко с ней расстаться? Да и как знать, какой финт выкинет американец? Вдруг морячок не поддастся на шантаж и применит силу? Вполне вероятно, что он в какой-то степени представляет себе, что к чему, — ведь до сих пор исправно давал деньги. Боб делал ставку на страх англосаксов перед скандалами и на желание Агнессы как можно дольше скрывать свое прошлое.

Тем не менее, почему бы не предположить, что Джеймс все-таки встрянет в эту историю, и Боб представил себе, как тот входит вместе с Агнессой, опустив правую руку, сжимающую револьвер, в карман кителя, а левой поддерживая свою перепуганную невесту? Бобу даже пришла в голову мысль пригласить сюда одного-двух приятелей, но тогда пришлось бы делиться с ними долларами, да и потом он привык действовать в одиночку.

Взвесив все, он решил, что можно не бояться скандала; но на случай осложнений лучше явиться первому: тогда не рискуешь угодить в западню, хватит времени подготовиться, а там будет видно...

Вот почему за час до условленного срока Боб расположился в большом кресле с заряженным револьвером в кармане, поставив коробку сигар и виски на журнальный столик. Он устроился так, чтобы сразу увидеть входящего, как только приоткроется дверь, и, в случае неприятного сюрприза, действовать быстро. Реакция у него что надо! В конце концов, в собственном доме можно позволить себе разрядить револьвер в опасных незваных гостей. Если даже дойдет до суда, его оправдают: ведь налицо явная самооборона.

Целый час ожидания показался бесконечно долгим. Ведь он привык, что женщины охотно идут навстречу его желаниям. Он чувствовал себя весьма неудобно, так как к беспокойству примешивалась еще и досада.

Он хлопнул одну за другой пару рюмок виски. Все напоминало о том вечере, когда умерла Сюзанна. Тогда они вместе выпили — и разве не это помогло ей легко и быстро умереть? Но сегодня дело обстояло иначе. Агнессу нужно освободить по-иному, а заодно и самому от нее избавиться — в печенке у него сидит эта девка!

Без десяти три: Боб наливает еще одну рюмку виски. Уж сегодня-то вечером в Ангиене он отыграется! Весь зал, все казино соберется вокруг него!

Без пяти три... Боб гасит сигарету. Револьвер наготове. Боб чувствует себя натянутым, как пружина.

Часы бьют три. В замке поворачивается ключ, тихо открывается дверь...

Элизабет вошла без робости, но и без излишней смелости, смиренная, но спокойная и уверенная в себе, какой бывала, собирая пожертвования для дома престарелых. Она обвела безразличным взглядом изящную обстановку квартиры, где ничто не привлекло ее внимания.

Наконец она заметила мужчину, специально занявшего позицию, позволявшую увидеть вошедшего, самому оставаясь незамеченным. Остановившись, она обратила на него свой ясный и безмятежный взор, молитвенно соединив руки.

Месье Боб, ничего не понимая, таращил глаза... Монахиня — здесь! И эта монахиня... Агнесса! Не американец, не полиция, а... монахиня! И подумать только, да ведь это Агнесса, шлюшка Агнесса!

Придя в ярость, он снова обрел дар речи.

— Что это значит? — заорал он. — Что за маскарад?

— Это не маскарад, — тихо ответила Элизабет.

Он хотел подойти к ней, но его парализовал вид монашеского облачения. С дрожащими губами он продолжал:

— Ты чокнулась?

— Нет, у меня совершенно ясная голова.

— Так какого же черта ты так вырядилась?

— Теперь я всегда буду носить это одеяние.

— Смеешься надо мной?

— Разве не видно, что я говорю серьезно? Я отреклась от мира, и мир не властен надо мной.

Какая бы ни была эта монахиня — настоящая или мнимая, она явно действовала Бобу на психику. От нее веяло чистотой, смущавшей сутенера. Конечно же, это Агнесса, но как она далека, не похожа на ту, с которой он расстался сутки назад! Может, ее лицо кажется тоньше и прозрачнее из-за белого чепца? Бобу стало не по себе, как бывает порой с богохульниками при виде святыни. Но он быстро взял себя в руки:

— Завязывай, Агнесса! Скидывай это тряпье! На тебя смешно смотреть!

— На мне платье монахини-благотворительницы, которое она надевает, став невестой Христовой.

— Так чья же ты невеста — американца или Иисуса?

— Я невеста Христова, — ответила она с восторженной улыбкой.

— А почему бы тебе не выйти замуж за Бога-отца?

— Я целиком принадлежу Господу. И вы не властны надо мной. Такую одежду носят все сестры моей общины.

— И много их, таких сестер?

— Несколько тысяч...

— Всего-то! И все раскаялись, конечно же! И все обручились с Господом? Черт возьми, у твоего супруга целый гарем! С ним не сравнится ни один из моих приятелей!

— О, да, вы правы.

— Ну и ас! Как это он поспекает присматривать за всеми вами?

— В этом нет нужды. Мы покоряемся ему добровольно. Мы любим его.

— Он вам тоже «покровительствует»?

— Да, он нас защищает.

— А как зовется твоя так называемая «община»?

— Община сестер-благотворительниц... Даже неверующие относятся к нам с уважением.

— Сестры-благотворительницы! Ну знаешь, милочка, завязывай! Поиздевалась над монашенками, вырядившись в их одеяние, и будет! Шлюха шлюхой и останется. Окажу-ка я лучше услугу настоящим сестрам и избавлю их от такого пополнения. Это все равно, как если бы я напялил сутану и отправился в игорный дом в Ангиене. Хорошенького понемножку!

В его тяжелом стальном взгляде, затуманенном алкоголем, сверкнули искры безумия. Он протянул руки, стараясь вцепиться в эту черную фигуру, но бессильно уронил их.

Элизабет молитвенно соединила руки, и он увидел висящие на них четки.

— Боже! Сжался над этим несчастным! — прошептала она.

— Сжался! — взревел сутенер. — Оставь свою жалость при себе, идиотка! Одного этого слова хватит, чтобы вывести меня из терпения. Да пойми же, я тебе шею сверну, уничтожу, если захочу!

— Только Бог распоряжается жизнью своих созданий, Бог, сотворивший нас.

— Долго ли еще будет продолжаться эта комедия? — завопил Боб в ярости. — Меня не проведешь. Даю тебе полминуты, чтобы снять этот костюм, иначе я сам сорву его!

Элизабет подняла руки, храня спокойствие перед безумцем, чьи глаза метали молнии:

— Вы не тронете меня.

— Мало я тебя тискал за эти три года! А полчища клиентов, которые тебя лапали со всех сторон! И она еще рядится монахиней! Тоже мне нашлась — девственница и мученица!

Элизабет дрогнула перед натиском грубости.

— Я бы не желала для себя иной участи.

А Боб продолжал злобно измываться:

— Ты что, будешь обслуживать клиентов в таком виде?

От подобных выпадов Элизабет бледнела все сильнее.

— Не богохульствуйте, — сказала она скорбно.

— Да, может, какие-нибудь извращенцы и клюнут! Мадам постриглась. Мадам больше не красится. Да, это действительно пахнет каким-то вывихом! Смотри-ка, ты меня возбуждаешь своим нарядом. Я человек без комплексов и не прочь отведать запретных радостей!

Он вплотную придвинулся к ней, и лицо его скривила звериная гримаса.

— Не прикасайтесь ко мне! — прошептала Элизабет сдавленным от ужаса голосом.

— Мадам привередничает! Мадам забыла ласки своего Боба? Ну, хватит: в постель, милочка! Сама знаешь, что никто не мог заставить тебя так стонать от наслаждения, как я! Что вам, потаскухам, еще надо? Марш в постель!

Он схватил Элизабет за руки, сорвал четки, бросил на пол и потащил ее в спальню, к постели.

— Да, моя красавица... Сейчас увидишь, как я тебя успокою! Попросишь еще повторить! Ты меня классно возбуждаешь своим маскарадом! Хочу поймать Агнессу-монашенку!

Агнесса ждала у Порт-Дофин в кафе «Сюлли».

Она в точности исполнила все, что предложила Элизабет в саду на авеню-дю-Мэн. Этот план сначала показался чистым безумием, но затем она согласилась с аргументами монахини:

— Есть лишь один-единственный способ окончательно избавиться от негодя — я пойду к нему вместо тебя... Ты говоришь, он ничего не знает обо мне?

— Ничего. Когда мне казалось, будто я люблю его, часто хотелось рассказать обо всем, но каждый раз какой-то тайный голос останавливал меня.

— Голос свыше... Единственный проблеск разума среди безумия, в котором ты жила! А, кроме Джеймса, говорила ли ты обо мне еще кому-нибудь?

— Нет. Даже Жанине.

— Той девушке, с которой подружилась?

— Да.

— Итак, во второй половине дня отправимся вместе. Есть ли неподалеку от твоего дома какое-нибудь кафе или даже бар — раз уж ты привыкла, к несчастью, к подобным заведениям, — куда этот тип не имеет обыкновения заглядывать и где ты можешь подождать полчаса?

— Есть — кафе «Сюлли». На Порт-Дофин. Я там ни разу не была. У него хорошая репутация.

— Оставишь где-нибудь машину, чтобы он не смог заподозрить, что ты там. У тебя, конечно, есть ключ от квартиры на улице Фезандери?

— Да!

— Приедем за полчаса до назначенного часа. Думаешь, он может быть там?

— Конечно, нет. Он до болезненности точен: раз назначил на три часа, значит, его ключ повернется в замке ровно в три. Не раньше!

— Когда ты откроешь дверь, я войду в квартиру, а ты останешься ждать меня в «Сюлли».

— А что сделаешь ты?

— Встречу месье Боба в назначенный час. Он не знает, что мы близнецы, и примет меня за тебя... Не беспокойся, я воспользуюсь тем, как он удивится, увидев «тебя» в монашеской одежде. И спокойно заявлю, что отрекаюсь от мира и мирской суеты, чтобы посвятить остаток жизни бедным и больным. Бог простит мне эту ложь... Но, — прибавила она вдохновенно, — у меня такое чувство, будто я не лгу...

Агнесса в тревоге соединила руки — точь-в-точь как Элизабет.

— Ты встретишься с самим сатаной, — сказала она.

— С Божьей помощью...

Они спали в соседних постелях. Вместе отстояли мессу. Вместе приняли причастие. Как ни был велик ее страх за Элизабет, Агнесса все же хранила строгое спокойствие, какое обретаешь только в монастыре: она вверилась Божьей воле и уповала на Элизабет, чья святость, она верила, способна сотворить чудо. Замысел, который показался бы безумным или наивным еще два дня назад, больше не пугал. Она чувствовала, что подчиняется высшей воле. Джеймс представлялся далекой и второстепенной целью: ведь главное — побороть зло. Вот почему она дала убедить себя сестре-благотворительнице и согласилась на благочестивую комедию, которую та собиралась разыграть.

— Убеждена, что уже через полчаса ты меня снова увидишь в «Сюлли», — сказала Элизабет. — А потом вместе поедem в штаб к Джеймсу.

Как только она ушла, Агнесса потеряла покой. В какую пропасть она толкнула сестру! Она закрыла глаза и стала мысленно молиться. Она отгоняла страшные мысли, полагаясь целиком на Господа... Иисус... Элизабет... Ничего другого нет на свете. Иисус... Элизабет...

Прошло полчаса, но монахиня не возвращалась. С каждой новой минутой возрастали мучения Агнессы. Прошло еще четверть часа... Значит, дело осложнилось, и Элизабет заблуждалась в своей святой наивности, будто можно побороть Демона. Агнесса поняла, какую неосторожность они допустили, она горько упрекала себя за то, что согласилась на

авантюру. Чем больше она размышляла, тем яснее становилось, какая допущена глупость — безумная глупость: это надо же — вообразить, будто на месье Боба произведет впечатление облачение монахини!

Прошел час.

Агнесса вышла из «Сюлли» и бросилась на улицу Фезандери. Она чувствовала, что должна срочно вмешаться, прийти на помощь сестре... Взбежав по лестнице, она остановилась на площадке у дверей квартиры и, приложив ухо к двери, прислушалась: ничего. Агнесса достала ключ и тихо открыла дверь. В гостиной никого не было, но взгляд Агнессы упал на предмет, валявшийся на ковре, — четки Элизабет. Дрожа, она подняла их, как реликвию. Дверь спальни была закрыта. Агнесса снова прислушалась — ни звука. Дрожа мелкой дрожью, она открыла дверь и застыла на пороге. Она не сразу осознала, что видит распростертое поперек кровати тело Элизабет. Ее остекленевшие глаза смотрели в потолок. Агнесса коснулась ее лица, волос, черной шали... Она упала на колени, похолодев от ужаса, Агнесса едва нашла в себе силы склониться к груди сестры: сердце не билось.

— Не может быть! — прошептала Агнесса, убитая горем.

Она сжимала холодные руки сестры, обливаясь слезами.

— Не может быть, — твердила она, рыдая и не находя других слов.

Она даже не пыталась представить себе происшедшее: невозможно было объединить Боба и чистый облик Элизабет, неподвластный силам тьмы. Душа ее уже отлетела в область вечного света...

Агнесса долго молилась. Странное спокойствие овладело ею. Умиротворенная, она, наконец, нашла в себе силы подумать о мирском и огляделась вокруг.

Царящий вокруг беспорядок говорил о том, что месье Боб растерялся после содеянного и скрылся, не пытаясь инсценировать самоубийство. Преступление налицо. Нельзя же задушить себя без посторонней помощи. Человек, обычно просчитывавший все варианты и выбиравший самый выгодный, потерял самообладание. Все подтверждало, что убийца он, и главное доказательство — его бегство.

Агнесса снова преклонила колени перед постелью, моля Бога помочь ей и направить ее. Сейчас она думала уже не столько о сестре, сколько о смысле и обстоятельствах ее жизни. Убийство скромной монахини-благотворительницы, целиком посвятившей себя служению бедным, скромно отступившей на второй план, неприметной в течение всего своего короткого земного существования, — это убийство неизбежно влекло за собой драматические человеческие и социальные последствия. Что будет с бедными стариками, для которых сестра Элизабет стала последним лучиком солнца в царстве тьмы, последней надеждой в этом мире?

Но не только старики пострадают из-за гибели Элизабет; она болезненно скажется и на всей Общине! Какой лакомой добычей для прессы, падкой на всякие ужасы, станет это чрезвычайное происшествие! Всеобщее внимание будет привлечено захватывающим дух заголовком: «Монахиня-благотворительница задушена в квартире сутенера»... Вот это настоящая сенсация! Начнут смаковать все детали, упиваться скандалом, в который втянут и дом престарелых с авеню-дю-Мэн; благороднейший религиозный Орден окажется скомпрометированным. Противники церкви получают повод для зубоскальства. Агнесса представляла себе их враждебные выпады: «Посмотрите, как далеки от святости эти монахини! Они ведут себя похуже других женщин, ханжески прикрываясь монашеским одеянием! Только не вздумайте убеждать нас, будто сестра Элизабет задушена сутенером без

всякой на то причины. А что она у него делала? Наверняка это убийство — сведение счетов! Должно быть, она была его любовницей! Отдавала ему деньги, пожертвованные на бедных!..» Нет, нельзя допустить подобный скандал.

Агнесса поняла, что долг повелевает избежать скандала во что бы то ни стало; надо действовать, не откладывая.

В приливе какой-то странной энергии она принялась за работу. Казалось, тайный голос, столько раз помогавший в трудные минуты, по-прежнему направлял ее: «Ты не ошибаешься, Агнесса... то, что ты собираешься сделать, совершенно необходимо. Это — твой долг передо мной: я спасла тебя своей жертвой. Настал твой черед».

И Агнесса заспешила...

Она открыла ящик, взяла оттуда тонкие перчатки, надела их, чтобы отпечатки ее пальцев не обнаружили рядом с отпечатками пальцев убийцы... Затем старательно и хладнокровно раздела сестру... Встав на колени перед трупом, она прошептала:

— Прости меня за то, что я сейчас сделаю, Элизабет...

Сняв с нее чепец, она почувствовала волнение при виде коротко остриженных волос сестры. Вдруг она ясно осознала, что, расставшись со своими золотыми кудрями, сделала первый шаг навстречу сестре и делу, которому та посвятила жизнь. Она поступила так под действием какой-то высшей силы. Стремясь к физическому сходству с сестрой, она явно пыталась уподобиться ей и морально. И, наконец, она поняла, что милосердие Божие никогда не оставляло ее полностью.

Она выбрала один из костюмов и одела в него Элизабет: именно в этом строгом костюме она бывала на авеню-дю-Мэн, и сестра говорила ей:

— Всем твоим туалетам я предпочитаю этот черный английский костюм!

Кто знает, может, сестра-благотворительница представляла себе и то, какая монахиня вышла бы из Агнессы, укажи ей Господь этот путь.

Костюм пришелся впору, ведь у сестер были одинаковые фигуры. Потом, сняв свою одежду, Агнесса облачилась в монашеское одеяние сестры. И вот уже в комнате нет никого, кроме монахини, охраняющей тело молодой женщины...

Сколько времени ушло на все это? Три четверти часа, может, чуть больше. Какая разница! Превращение мертвой в живую и живой в мертвую было полным, идеальным, окончательным. Лицо Агнессы, обрамленное белым чепцом, дышало покоем. В последний раз взглянув на себя в зеркало, она поняла, что тоже распростилась с миром. Никогда больше не носить ей другой одежды. Жертва Элизабет не бесполезна: на смену ей придет сестра. С тем же спокойствием мнимая сестра Элизабет подошла к шифоньеру, достала из шляпной коробки спрятанное ею письмо Прокурору Республики и сожгла его: необходимость заявлять на месье Боба отпала.

Вернувшись в гостиную, она сняла телефонную трубку:

— Полиция? Срочно приезжайте! Совершенно преступление, улица Фезандери, номер... четвертый этаж...

Оставалось только ждать; встав на колени перед постелью, она перебирала четки, поднятые с ковра, время от времени повторяя:

— Сестричка, заступись за меня перед Господом, чтобы он позволил мне во всем походить на тебя...

Вскоре прибыла полиция. Вслед за первой группой полицейских подкатали машины уголовного розыска. Все были поражены, обнаружив здесь монахиню-благотворительницу,

охранявшую тело убитой сестры. На смену удивлению пришло почтение.

Агнесса назвала свое имя:

— Сестра Элизабет из монастыря на авеню-дю-Мэн...

Установить ее личность было нетрудно.

Новость о смерти Агнессы распространилась по дому престарелых и вызвала всеобщее потрясение. Возможно ли, чтобы погибла та, чью свадьбу собирались праздновать через два дня? Никто, кроме Настоятельницы, не знал обстоятельств драмы.

А на улице Фезандери продолжалось следствие.

— Можете рассказать нам, сестра, как это произошло?

— Я ничего не видела, господин инспектор! Я нашла бедную Агнессу в том виде, в каком вы ее видите сейчас.

— Вы договорились встретиться?

— Да. Нам надо было уточнить некоторые детали ее бракосочетания, которое должно было состояться послезавтра в нашей часовне.

Она упомянула все то, что можно было назвать — ни слова больше. Теперь полиция будет знать об обручении и предстоящей свадьбе с американским офицером.

— У вас есть ключ от квартиры, сестра?

— Нет. Я здесь раньше никогда не бывала. Но из-за свадьбы...

— Кто же открыл дверь, когда вы позвонили?

— Никто... мне не пришлось звонить, дверь была открыта. Это меня сразу удивило. Я вошла... Кроме Агнессы, здесь никого не было.

— Значит, убийца в спешке даже не успел закрыть за собой дверь... Подозреваете ли вы кого-нибудь?

— Да.

За этим категорическим ответом последовало молчание...

— Расскажите, сестра. Все, что знаете.

И мнимая Элизабет рассказала о том, как накануне к ней пришла «покойная Агнесса» и поведала о существовании некоего месье Боба, о котором до того дня ничего не рассказывала... Она говорила, а инспектор заполнял протокол. Когда она замолчала, он сделал вывод:

— Очень похоже на сведение счетов.

Затем обратился к одному из сотрудников и спросил:

— Вы еще не получили результаты проверки отпечатков пальцев?

— Пока нет.

— Соедините меня с отделом.

Он взял трубку.

— Алло! Это ты, Дювре? Посмотри-ка в картотеке, нет ли там материалов о некоем Робере, по кличке «месье Боб», который выдавал себя также за Жоржа Вернье, коммерсанта, специализирующегося на импорте и экспорте? Перезвони мне сюда.

— А что это за картотека? — с наивным видом спросила монахиня.

— Ну, разумеется, сестра, это не по вашей части! Специальная картотека содержит сведения о представителях преступного мира, в ней много имен... Но вернемся к преступлению: итак, у вас создалось впечатление, что Боб задушил вашу сестру, потому что пришел в ярость от того, что она собиралась оставить его, выйдя замуж за американца?

— Да, это так...

— Вполне вероятно, но пока еще не факт. Если этот человек не новичок в своем деле, как вытекает из вашего рассказа, — он не мог так поступить. Зачем ему подвергать себя подобному риску? Такие люди предпочитают действовать осторожно. И никогда не оставляют улик! Разве что он совершил это в припадке слепой ярости? Вот единственно возможное объяснение. Как вам кажется, сестра, Агнесса сильно любила своего жениха?

— Да, и мечтала освободиться из-под власти Боба. Благодаря замужеству с американским офицером эта цель едва не была достигнута.

— По-видимому, месье Боб угрожал ей. Не исключено также, что он просто хотел наказать вашу сестру... Но довольно-таки неуклюже взялся за дело... У вас есть фотография сестры?

— Нет.

— Вероятно, у вас нет и фотографии ее сожителя?

— Какое отвратительное слово, господин инспектор!

— Знаю, сестра. Но если судить по вашему рассказу, то кем еще мог быть для нее месье Боб в течение трех лет? Представляю себе, как ужасно обнаружить такой обман со стороны родной сестры, которой полностью доверяешь с раннего детства!

— Агнесса никогда не обманывала меня... Просто она боялась меня огорчить и потому ничего не рассказывала раньше.

— Может быть... Поставьте себя на ее место: нелегко ведь признаться сестре-монахине, да к тому же и единственной родственнице, что ведешь такую жизнь! И то, что она наконец решилась на это вчера вечером, за двое суток до свадьбы, свидетельствует, что она дошла до последнего предела и чувствовала себя затравленной «покровителем»... Как жаль, что ей не достало мужества рассказать обо всем раньше, сестра! Скольких бы неприятностей избежали мы все, и в первую очередь вы!

— Не говорите обо мне. Мое сердце знает, что Агнесса — всего лишь жертва.

— Хорошо, что у вас есть опора в религии, сестра! Вера позволяет все перенести! Кроме того, вы видели уже столько несчастий вокруг вас и среди ваших стариков...

Монахиня опустила глаза.

Раздался телефонный звонок. Инспектор взял трубку:

— Алло! Да, это я... Слушаю.

Невидимый собеседник о чем-то долго говорил. Прежде чем повесить трубку, инспектор сказал ему:

— Это проясняет дело... Спасибо.

И обернувшись к монахине, добавил:

— Выходит, сестра не сказала вам настоящего имени этого господина.

— Она знала его под именем Робер и двумя кличками, которые я назвала.

— Бедняжка, она не отличалась любопытством. Его имя действительно Робер, а фамилия Мерель. Он значится в специальной картотеке. Это известный сутенер. Он ни разу не получал срока, не сидел, но это вовсе не означает, будто нам о нем неизвестно. Мне кажется, сестра, что вы правы!

— В чем?

— Очень похоже, что этот человек задушил вашу сестру в припадке гнева. Он — рецидивист.

— Что вы имеете в виду?

— Мы давно подозревали, что он так же поступил с другой девушкой... Некоей

Сюзанной. Она была найдена однажды утром в своей меблированной квартире, отравленная газом... Анализы показали, что девушка была совершенно пьяна перед смертью. Должно быть, он напоил ее, прежде чем открыть кран...

— Почему же вы не арестовали его тогда?

— По двум причинам, сестра. Во-первых, он очень ловко все проделал: на кране газовой колонки обнаружены только отпечатки пальцев девушки. Кроме того... Теперь могу вам все рассказать... Монахиня в одном похожа на священника: она умеет молчать. Этот Боб оказывал нам немалые услуги в качестве осведомителя... Нам ведь нужны подобные типы! Если всех их посадить, полиция больше не сможет работать! Должно быть, после этого преступления кто-то наверху решил, что лучше зачислить дело в категорию «самоубийств», чем потерять контроль, в случае ареста Боба, над одной политической организацией, от которой можно ждать неприятностей. Да, сестра, подобных тайн нет у религии, но их немало у полиции!

— Выходит, инспектор, подобная мораль позволяет убивать тому, кто служит осведомителем?

— Простите, сестра, вас, должно быть, шокировали мои слова.

— Как вы сами сказали, инспектор, я видела слишком много горя, чтобы что-нибудь могло шокировать меня.

— Не беспокойтесь! Если насчет первого убийства могли еще быть какие-то сомнения, то сейчас все абсолютно ясно. Клянусь вам, ваша сестра будет отомщена!

— Мое положение запрещает мне стремиться к мести. Любой преступник — несчастный человек, который будет держать ответ за свои злодеяния перед Господом, но, мне кажется, люди тоже должны вершить правосудие, иначе восторжествуют дурные инстинкты...

— Мудрые слова, сестра. А теперь необходимо разыскать месье Боба. Надо полагать, он еще недалеко ушел, не успел скрыться за границу... Как только мы отыскали его данные в специальной картотеке, всем отделениям полиции на вокзалах, в портах, на аэродромах, на границах сообщены его приметы. Сейчас он, скорее всего, прячется где-нибудь в окрестностях Парижа и хочет отсидеться, а потом смыться, когда о нем забудут. Обычная тактика этих мерзавцев... Вопрос в том, сколько у него наличности. Если много, он может прятаться месяцами. Если нет, то выйдет из берлоги.

— Вряд ли у него много денег, — заметила монахиня. — Иначе он не потребовал бы от моей бедной сестры такую сумму и дал бы ей спокойно выйти замуж.

— Это ни о чем не говорит, сестра! Он потребовал у нее компенсацию из принципа. И можете быть уверены, что у него нашлись бы помощники. Среди этой «публики» действует круговая порука!

При слове «помощники» в глазах монахини что-то мелькнуло, и инспектор тут же отметил это:

— У вас есть какие-то предположения, сестра?

— Я только что вспомнила, что Агнесса рассказывала... Но не хотелось бы никого обвинять...

— Когда речь идет о содействии полиции в поисках преступника, надо рассказывать все.

— Видите ли, господин инспектор, Агнесса дала понять, что месье Боб заставлял работать — ведь это так, кажется, называется? — чудовищно, правда?.. — заставлял

работать на себя еще одну женщину.

— Нисколько не удивлен, и это крайне важно! Если мы найдем девчонку, то сядем ему на хвост.

— Мне кажется, сестра говорила, что девушку зовут Жанина и что она брюнетка...

— Она упоминала даже такие подробности?

— Да... Бедняжка привязалась к Агнессе. Она тоже жертва месье Боба. Агнесса рассказывала, как они чисто случайно познакомились, когда Жанина ехала в своей машине по Елисейским Полям.

— У нее есть машина?

— Да, Агнесса, кстати, упомянула, что машина красного цвета.

— Извините за такой вопрос, но не показалось ли вам, что ваша сестра была здорово связана с этой бабенкой?

— Она тепло о ней отзывалась, говорила, что она милая малышка.

— Ничего себе, сестра! «Милая малышка»... вы уж скажете!

— Думаю, что женщина, падшая так низко, не обязательно дурна по своей природе...

— Что правда, то правда, всякое бывает. Но вернемся к Жанине. Раз ваша сестра с ней дружила, значит, они где-то встречались время от времени, не только на улице? Может быть, здесь?

— Конечно, нет! Агнесса объяснила, — и это, кстати, меня тогда очень удивило, — что девушка не понимала, что ее... как они их называют?

— «Покровитель»?

— Да, именно так. Какое слово! Она не знала, что это месье Боб. И называла его месье Фредом.

— И ваша сестра не рассказала ей об этом, чтобы, как они выражаются в этой среде, «вправить ей мозги»?

— Нет.

— Странно! А почему?

— Наверное, она боялась, что Жанина проболтается. Агнессе показалось, что она не слишком умная.

— Короче, если я правильно понял, ваша сестра Агнесса знала, что месье Боб получает доход не только от нее, но и от другой женщины? И хотя ей удалось с той подружиться, она не открыла ей правду?

— Да, похоже, что так.

— Это очень важно, сестра...

Он обратился к одному из помощников:

— Беги! Ты ведь все слышал? Предупреди сначала полицию нравов, в особенности участки в Восьмом, Шестнадцатом и Семнадцатом округах: именно там промышляют обычно эти дамы в автомобилях. Как только отловишь девчонку, тащи ее сюда. Мы ждем. Побыстрее!

Когда полицейский вышел, он снова обратился к монахине:

— Знаете, сестра, у вас прекрасная память!

Мнимая Элизабет скромно ответила:

— Нам нужно обладать памятью, чтобы компенсировать ее отсутствие у наших стариков.

— У вас благородная миссия!

— Я очень боюсь, инспектор, что этим делом займется пресса, наш дом окажется в нем замешанным, и выяснится не только то, что родная сестра жертвы — монахиня, но и то, что свадьба должна была состояться послезавтра в нашей часовне.

— Вы же видите, здесь нет репортеров! И если появится хоть один журналист, я попрошу его вернуться туда, откуда он пришел. Думаю, что в этом деле требуется исключительная сдержанность. Люди так злы, да и глупы к тому же! И их рассказы могут сказаться на репутации вашего Ордена, почитаемого во всем мире. Хоть в полиции служат и не ангелы, мы все-таки верующие люди.

— Убеждена, что вы гораздо лучше, чем может показаться на первый взгляд.

— Спасибо, сестра. Мне очень нравится называть вас так. Наверное, только сестры-благотворительницы могут с полным правом носить это имя!

Он посмотрел на мертвую.

— Должно быть, странно видеть свою мертвую копию. Воистину, сестра, вы теперь имеете точное представление, какой будете, когда придет ваш черед...

— Да.

— Потрясающее сходство! И самое удивительное в вашем рассказе — это то, что бедная жертва скрыла ваше существование от сожителя! Вы уверены, что это так?

— Господин инспектор, должно быть, вам не приходилось иметь дела с близнецами? Иначе бы вы знали, что они способны хранить тайну... настоящую тайну. И потом, она слишком уважала мой сан, чтобы рассказывать обо мне какому-то месье Бобу!

Он продолжал разглядывать мертвую:

— Она тоже носила короткие волосы?

— Сестра сказала, что хочет следовать моде.

— Но вы-то стрижете волосы не ради моды, а из жертвенности! Извините, но мне придется поговорить о тяжелых вещах: ведь надо думать и о похоронах.

Монахиня призадумалась:

— Я попрошу Преподобную Мать-Настоятельницу организовать похороны в нашей церкви на авеню-дю-Мэн. Едва ли она откажет, ведь она дала согласие на то, чтобы бракосочетание состоялось у нас послезавтра.

— Послезавтра? Выходит, дату можно не менять.

— Как ужасно!

— А как... ее жених? По-моему, следует сообщить ему о случившемся, сестра?

— Бедный Джеймс! Я возьму это на себя.

— И не откладываете, сестра. Вы знаете, где он может сейчас находиться?

— Должно быть, в натовском штабе.

— В Марли? Хотите, мы отвезем вас туда на машине?

— Была бы вам очень признательна...

Вновь зазвонил телефон:

— Да, это я, — ответил инспектор в трубку.

Он выглядел очень довольным и закричал:

— Уже! Bravo! Немедленно доставь ее сюда, но ни в коем случае ничего не говори!.. Протестует? Плевать! Объясни, что нам нужно установить ее личность и через полчаса ее отпустят на свободу.

Положив трубку, он обратился к монахине:

— Готово: брюнетка нашлась...

— А ваши люди не будут с ней дурно обращаться?

— Да они сущие ангелы, сестра!

— Где ее нашли?

— В машине, куда она села, выйдя из бара на улице Марбёф, где бармен — наш осведомитель... Вы правы, у нее красная спортивная машина... Они будут здесь через несколько минут. Вы уверены, что сестра ничего не рассказывала о вашем существовании ни Бобу, ни этой девчонке?

— Ни единого слова. Агнесса сказала мне вчера, что обо мне не знает никто, кроме Джеймса.

— Тогда я попрошу вас выйти на кухню, сестра. Я позову вас потом.

— К чему такая таинственность?

— Надо вызвать у нее двойной психологический шок... Первый — когда она увидит свою подругу, распростертую на кровати...

— Ваши инспектора не рассказали ей о происшедшем, когда задержали ее?

— Мои люди умеют держать язык за зубами. А второй шок вызовет ваше появление. Девице покажется, что она рехнулась... И она все выложит.

— Но что может «выложить» эта несчастная?

— Где скрывается ее покровитель... Другого нам от нее и не нужно.

— Вы думаете, она знает?

— Раз у него при себе было мало денег, когда он скрылся после преступления, ему первым делом пришлось пополнить кассу у другой работающей на него женщины. К этому времени та едва ли успела много заработать, и он, вероятно, приказал ей подсуетиться, чтобы как можно скорее раздобыть необходимые ему деньги. Мои люди ухватили девчонку в разгар работы, когда та собиралась увезти из бара клиента... Конечно, месье Боб мог обратиться с той же просьбой и к кому-нибудь другому из собратьев по среде, но это удивило бы меня: он должен остерегаться их, зная, что они, в большей или меньшей степени, как и он сам, полицейские осведомители. А теперь — внимание! — сказал инспектор, выглянув в окно. — Вот и наша молодая особа выходит из машины. Еще раз извините, сестра, прошу вас выйти.

— Подчиняюсь вам, господин инспектор, вы же должны делать свое дело! Но не противоречат ли христианскому милосердию приемы запугивания или «шока», которые вы собираетесь применить, чтобы заставить заговорить эту несчастную?

— Увы, сестра! Приходится признать: таковы полицейские методы. Но, к сожалению, только они эффективны по отношению к определенному разряду божьих созданий.

Когда брюнетка вошла в гостиную, вид у нее был растерянный. Инспектор мгновенно оценил ее взглядом и сразу понял, что она совсем не той породы, что убитая. Он без всяких церемоний указал на стул, поставленный спинкой к двери спальни, и гаркнул:

— Садись!

— Нечего мне «тыкать»! Кто вы такой?

— Может, подарить тебе визитную карточку? Тебе что, не хватило удостоверений, которые предъявили эти господа, когда взяли тебя на работе?

Девушка не ответила.

— Итак, ты Жанина?

— Мое имя вас не смущает?

— Ни в коей мере! Давно работаешь на Фреда?

Жанина молчала.

— Будешь отвечать или нет?

— По какому праву вы меня допрашиваете? Мы же не в префектуре?

— Послушай, малышка, не ломайся, иначе мы постараемся сбить с тебя спесь! Отвечай на вопросы!

— Я работаю только на себя и когда хочу.

— А, вольная художница! Понятно. Ну что ж, раз тебе нравится пускать пыль в глаза, я тебе тоже сейчас преподнесу сюрпризец.

Он взял ее за локоть и подвел к закрытой двери спальни. Затем рывком распахнул дверь и спросил, указывая на кровать, где лежала покойница:

— Знаешь ее?

Глаза Жанины расширились от ужаса. Она всплеснула руками, как бы отталкивая от себя ужасное видение, и вдруг упала без чувств.

— Ну вот еще! Упала в обморок! Ожидал, что это ее проймет, но не до такой же степени! Быстро холодной воды!

Кто-то принес из ванной единственные находившиеся там сосуды: два стаканчика для зубных щеток. Инспектор плеснул водой в лицо лежащей без чувств девушки, и дальше началась странная беготня между ванной и спальней: все бегали со стаканчиками, выливали воду из них на Жанину, чьи волосы стали уже совсем мокрыми, а затем стаканчики снова наполняли холодной водой. Наконец девушка открыла глаза.

— Тебе лучше? — спросил инспектор, с притворной заботливостью наклонившись над ней. — Знаю: ты любила подругу. И не зря — чудесная была девушка! Да и ты тоже симпатяга. Вы обе жертвы, вот и все. Когда видела ее в последний раз?

— Несколько дней назад.

— Где?

— На улице Марбёф, в баре, где я сейчас была.

— Это ваша штаб-квартира?

— Нет. Мы встречались там, когда надо было поговорить по душам.

— Жаль, что она не успела сообщить тебе главную тайну своей души, не сказала, что скоро умрет! Ну что, есть идеи?

Девушка молчала.

— Тебе, конечно, есть о чем сказать, но, как я понимаю, ты осторожничаешь. Вам, профессионалкам, болтовня обходится дорого. Печально только, что подругу задушили, и у тебя самой немало шансов последовать за ней!

— Откуда вы взяли?

— Бог троицу любит, малышка! Знаешь, чьих это рук дело? Конечно, догадываешься, но не хочешь ничего сказать. Правда? Ну что же, мы не будем тебя ни о чем спрашивать, нам и так все известно. Это дело рук покровителя твоей подруги, некоего Жоржа. Ты, конечно, слышала о нем?

— Она мне говорила только об Андре.

— Она не все тебе рассказывала. Андре или Жорж, это без разницы, оба имени вымышленные. Ты знакома с этим господином?

— Клянусь, никогда не видела.

— Да нет же, видела! Ты с ним прекрасно знакома! Представь себе, что его зовут также и Фред. Это тебе ни о чем не говорит?

Жанина побледнела. Она пробормотала:

— Фред? Не может быть!

— А зачем мне придумывать? Жорж или Андре твоей подруги, твой Фред или некий Робер, он же месье Боб — одно и то же лицо! И именно он так обошелся с твоей любимой подругой. Хочешь мы тебя отведем в комиссариат, чтобы ты взглянула на его карточку? Там этот мазурик давно известен.

— Вы лжете, — завопила Жанина. — Все это насочиняли, чтобы меня расколоть. Вранье: Фред — не Андре!

— Но зато Андре — это Фред! И потом, твоя подруга знала об этом.

— Если бы она знала, так сказала бы!

— Повторяю, она не всем делилась с тобой, малышка! Например, утаила от тебя, что бабенка, которую ты заменила в квартирке на улице Карно, вовсе не кончала с собой, а просто Андре, он же Фред, потихоньку ее убрал, свел с ней счеты... Та бабенка звалась Сюзанной. И она стала первой в ряду покойниц. Сейчас настала очередь второй, а скоро, если не сможешь найти этого проходимца, наступит твой черед. Улыбается такая перспектива?

— Нет, не хочу!

— Можно понять. А раз не хочешь, то, может, скажешь, где сейчас отсидживается Фред?

— Не знаю. Я его не видела...

— Видела каких-нибудь часа два назад... И приходил он за бабками... Ведь так? Но ты еще мало поработала сегодня, и он дал тебе адрес, чтобы вечером принесла. Поэтому-то ты так торопилась подцепить клиента в баре на улице Марбёф, где обычно не работаешь. Может, и это все я насочинял?

Потрясенная Жанина молчала.

— Больше нечего сказать? Ну что ж, раз ты не веришь, познакомлю тебя кое с кем, кто тебя заинтересует. Это некто, в чьих словах ты можешь не сомневаться и кому твоя подруга рассказала вчера обо всем. Она говорила даже о тебе! Поэтому-то мы и решили тебя задержать.

Он подошел к кухне и, открыв в нее дверь, сказал с уважением:

— Прошу вас, сестра, зайдите сюда.

Мнимой монахине пришлось сделать над собой сверхчеловеческое усилие, чтобы явиться перед той, которая несколько дней тому назад считала ее «лучшей подругой». Она вошла с грустным и спокойным выражением лица. Брюнетка взглянула на нее сначала с изумлением, а потом с каким-то ужасом. Она прошептала:

— Не может быть!

— Может, может! — сказал инспектор.

— Кто... Кто вы? — в растерянности спросила девушка.

— Сестра Элизабет, — тихо и мягко ответила монахиня, — мы с вашей подругой — сестры-близнецы. Вы ничего не знали обо мне, а она много говорила о вас. Она вас очень любила!

Обезумевший взгляд Жанины переходил с живой на мертвую, с мертвой на живую... Ее рот приоткрылся, но она не смогла выдать из себя ни звука. Вместо нее заговорил полицейский:

— Признаюсь, такое сходство действительно поражает. Она никогда не рассказывала тебе о сестре? Так ведь я уже объяснил, что она далеко не всем с тобой делилась! Ни словом

не обмолвилась о сестре, скрыла, кто такой на самом деле твой Фред... А теперь, сестра, прошу вас, повторите для этой женщины, что узнали вчера вечером.

Мнимая Элизабет коротко изложила факты, касающиеся Жанины. Та слушала, и по ее лицу было видно, что ей едва удастся владеть собой. В конце концов, она не выдержала и рухнула в кресло, которое вовремя пододвинул один из полицейских.

— Да... Я все расскажу!

— Налить еще стакан воды? — спросил инспектор.

— Не надо.

Она рассказывала монотонно и делала длительные горестные паузы.

— Он нашел меня на Елисейских Полях и дал знак остановиться в начале авеню Монтень... Сел в мою машину и сказал: «Поезжай прямо». Пока мы ехали в направлении Альма, объяснил: «У меня большие неприятности: нужно отсидеться, а потом дернуть за границу... Когда все уляжется, я вызову тебя и мы будем счастливы вместе... Но сейчас нужны бабки, и немедленно! Из кожи вон вылезь, но достань! Сколько ты уже набрала?» А я сегодня только одного обслужила, так что отдала ему всего десять тысяч. Он велел приехать к нему, когда раздобуду еще пятьдесят... Я ему сказала, что не знаю, смогу ли столько заработать, а он приказал: «Тогда перехвати у подруг! Я должен получить их до полуночи!»

— И куда ты должна отнести деньги?

— В небольшое кафе возле площади Бастилии.

— Давай адрес!

Она протянула листок бумаги с нацарапанным на нем адресом. Взглянув на него, инспектор пробурчал:

— «У Жюля»? Знаю! Он сказал, что сам будет там?

— Да, в глубине зала.

— В котором часу?

— В одиннадцать вечера.

— Ну что ж, влип твой Фред! Придется ему воздержаться от прекрасного путешествия! Дурной он все-таки. Разве на шестьдесят тысяч разгуляешься! Теперь, наверное, жалеет обо всех деньгах, что просвистел на ипподромах или спустил на зеленом сукне. Если бы он предвидел, что ссора так закончится, завел бы заначку. Так что, сестра, вот вам лишнее подтверждение тому, что убил он в приступе ярости. Гнев до добра не доводит.

Инспектор снова взглянул на брюнетку, которая так до сих пор и не совладала со своими чувствами:

— От таких дел голова кругом идет, верно? Ах ты, бедняжка! Ответишь еще на три-четыре вопросика, и я тебя с миром отпущу. Скажи, он расстался с тобой на площади Альма?

— Да...

— И сказал тебе, что задушил девчонку?

— Сказал.

— И объяснил причину?

— Сказал, что эта шлюха его заложила.

— Не больше не меньше! А имени ее не назвал? Не сказал, что она работала на него больше трех лет? Признайся, ты бы здорово удивилась, если бы он сказал, что ее зовут Агнесса?

— Агнесса? — повторила девушка, подняв голову. — Ее звали Кора...

— Кора? Это что-то новенькое. Скажите, сестра, Агнесса рассказывала вам о том, что

изменила свое имя?

— Да... Я забыла упомянуть об этом, господин инспектор! Агнесса даже объяснила, что этого потребовал месье Боб: он считал, что имя Агнесса слишком изысканное...

— Он был прав. Имя Агнесса подходит ей гораздо больше!

Затем, обратившись к Жанине, добавил:

— Тебя не арестуют, крошка. И ты останешься под нашей защитой до тех пор, пока мы не поймем этого редкостного зверя! Тебя отведут в комиссариат полиции на Кэ-дэз-Орфевр. Там — самое надежное место. А к часу ночи выпустят. Но хочу дать тебе совет: не хвастайся перед своими клиентами, что чуть не стала третьей жертвой месье Боба. Этой историей заинтересуется пресса, может, даже предложит сочинить мемуары... Не соглашайся, это было бы дурным тоном. И ты не имеешь права так поступить в память о подруге. Вы согласны, сестра?

— Уверена, господин инспектор, что девушка сумеет молчать.

— Да, сестра. Обещаю вам.

Тогда мнимая Элизабет спросила инспектора:

— Не разрешите ли вы мне провести с ней несколько минут наедине в этой комнате, прежде чем вы уедете?

— Ну, конечно, сестра...

Полицейские вышли.

— Я говорила вам, Жанина, что Агнесса вас очень любила.

— Ах, у вас тот же голос, мне кажется, будто слышу ее! Но почему она скрыла от меня свое настоящее имя? Она могла мне доверять, я ведь это доказала!

— Она говорила мне об этом. Сказала, что очень вам благодарна. В конце концов она назвала бы вам свое настоящее имя и имя того, кто обманывал вас обеих. К сожалению, Господь не оставил ей такой возможности.

— Господь? — удивленно и недоверчиво повторила девушка. — Скорее, Боб?

— Нет. Всеми нашими поступками управляет высшая воля. Если жизнь моей сестры оборвалась, значит, на то была воля Господа!

— Вы же не хотите сказать, что Господь Бог вдохновляет убийц!

— Может быть. Он использует их как орудие для исполнения своей воли.

И так как Жанина продолжала смотреть на нее, ничего, по-видимому, не понимая, монахиня продолжала:

— Господь посылает вам серьезное предупреждение! Вы должны возблагодарить Его за то, что Он хранит вас, и молиться за упокой души вашей подруги... Вас учили молиться?

— Да, сестра, когда я была совсем маленькой...

— Молитвы не забываются! Мы преклоним колени перед постелью и помолимся за упокой души нашей дорогой покойницы...

Они встали на колени рядом. Монахиня тихо начала: «Приветствую тебя, всемилостивейшая Богоматерь...» Резковатый голос девушки подхватил; «Заступись за нас, бедных грешников...» Когда они встали с колен, огромные черные глаза Жанины, которые показались такими красивыми Агнессе в день их знакомства, были наполнены слезами. И третья «подопечная» месье Боба спросила:

— Сестра, что же теперь будет со мной?

— Исполнится ваша мечта: вы снова станете честной девушкой. До свидания, Жанина.

— Спасибо, сестра...

Когда девушка ушла в Сопровождении двух полицейских, инспектор сказал мнимой Элизабет:

— Как жаль, что нельзя их всех направить в монастырь сестер-благотворительниц. Лучшего средства перевоспитания не придумаешь, а там они научились бы, наконец, приносить хоть какую-то пользу!

— Для жизни в монастыре нужно особое призвание, — ответила монахиня... — Могу ли я воспользоваться одной из ваших машин, как вы мне это предлагали, господин инспектор, чтобы съездить в штаб?

— Вас ожидают внизу, сестра.

— Потом я вернусь сюда и проведу ночь у тела сестры.

— Не бойтесь: пока вас не будет, она не останется одна. Двое моих сотрудников подежурят в квартире.

— Бедная сестра! Знала бы она, что настанет день, когда к ее телу будут приставлены полицейские!

— Полицейские — мастера на все руки! Но мы, похоже, кажемся вам слишком грубыми?

— Я отношусь с уважением к вам и вашим коллегам и абсолютно убеждена, что в подобных случаях только полиция может быть по-настоящему полезной.

— Вы правы, сестра! Позвольте выразить вам наши искренние соболезнования.

— Благодарю вас, инспектор.

По пути в Марли мнимая монахиня хранила глубокую задумчивость. От всего сердца она возблагодарила Бога за то, что он не оставил ее во время допроса и помог справиться с труднейшей ролью... А если это не роль? Неужели впредь предстоит лишь играть роль? Вряд ли шофер смог понять странные жесты монахини, сидевшей в одиночестве на заднем сиденье машины; она проводила руками то по белому монашескому чепцу, скрывавшему лоб и волосы, то по черному платью, стянутому на талии кожаным поясом. Погладив разбитые четки, как это делала Элизабет и другие монахини, она молитвенно соединила руки.

Этих рук грешницы, не ведавших тяжелого повседневного труда в доме престарелых, Агнесса теперь стыдилась, ей так хотелось бы очиститься служением Господу и обездоленным старикам... Почему ей так легко удалось войти в роль сестры? Помогла ли монашеская одежда, или просто хотелось подражать Элизабет? Агнессе не надо было смотреть на себя в зеркало, чтобы понять, что она уже сильно изменилась. К физическому сходству с сестрой добавилось духовное, словно мысли и чувства Элизабет возродились в Агнессе. Вот самое большое чудо, сотворенное той, чья душа уже вознеслась в царство Божественного Супруга.

Накануне, стремясь вырвать сестру из нечистого прошлого, Элизабет мгновенно приняла решение, как поступить; столь же быстрым и эффективным было ее вмешательство из потустороннего мира. Агнесса понимала, что во время мучительного допроса ей не пришлось ни минуты играть отвратительную комедию: ее ответы были искренними, потому что она на самом деле стала сестрой Элизабет. А умерла Агнесса-Ирма.

Через несколько секунд, когда она встретится с тем, кого любит всей душой, придется перенести труднейшее испытание: она добровольно пожертвует любовью, потому что того требует тень покойной. Элизабет без колебаний отдала жизнь, чтобы освободить ее от прошлого; настал момент, когда Агнесса должна заменить сестру, продолжив ее миссию на земле. Ни одна из сестер не предаст другую.

Если Джеймс был первым офицером американского морского флота, посетившим дом престарелых на авеню-дю-Мэн, то сейчас в одной из приемных натовского штаба впервые появилась скромная монахиня-благотворительница.

Капитан не заставил себя долго ждать.

— Элизабет! Какой сюрприз! Чему я обязан такой честью?

Не получив от монахини никакого ответа, он встревоженно спросил:

— Что-нибудь случилось?

— Да, Джеймс!

— Что?

— Агнессы больше нет...

Он смотрел на нее, не понимая, что она говорит, и она повторила:

— Господь призвал вашу невесту к себе, Джеймс!

Она с большой мягкостью повторила для Джеймса то, что уже рассказывала полицейским об обстоятельствах, связанных с гибелью сестры. Слушая ее со все возрастающей тревогой, офицер в ужасе прошептал:

— Убита? Но почему? Что она сделала плохого?

— Ничего тому, кто ее убил... Но по отношению к вам она поступила плохо!

— По отношению ко мне?

— Да, она скрыла от вас, какую жизнь вела... Поверьте, Джеймс, мне очень трудно сказать это вам... Но долг повелевает сделать это, потому что Агнессы уже нет в живых... Она была недостойна вашей любви.

Белокурый гигант долго смотрел монахине прямо в глаза:

— Не говорите так, Элизабет. Ни вы так не думаете, ни я. Я знаю, с какой нежностью вы всегда относились к Агнессе, и она отвечала вам тем же, как вы того и заслуживали, зачем же чернить то, что было так прекрасно? Я знаю, Агнесса любила меня и была готова на все ради нашего счастья!

— Я рада, что вы это знаете, Джеймс. Вы правы: Агнесса искренне любила вас. Я благодарю Бога за то, что он призвал ее к себе раньше, чем вы узнали всю правду...

— Какую правду? Есть только одна правда: мы любим друг друга! И я буду любить ее всегда...

— Молитесь за нее, Джеймс. Так будет лучше. Вы должны забыть о ней и соединить свою жизнь с одной из ваших соотечественниц.

— Никогда! Вы, ее сестра и монахиня, не имеете права говорить такое! Господь слышит вас...

— Знаю, что Он меня слышит... Но я тоже слышу Его! И Он один диктует мне эти слова.

Снова он внимательно посмотрел на нее. Он понял всю глубину ее горя. Монахиня избегала смотреть ему в глаза, точно боялась, что он догадается о чувствах, которые она тщетно пыталась скрыть в глубине своей измученной души. Ее взгляд выражал такую тревогу, что он, наконец, прошептал:

— Понимаю... Есть вещи, о которых вы не можете сказать из любви к Агнессе и уважения к покойной... Я ни о чем не прошу вас. Но должен признаться вам, сестра: я знал, что Агнесса жила с недостойным человеком...

Она почувствовала, как леденеет кровь, и повторила, пораженная:

— Знали?

— С того дня, когда я заявил своему начальству о намерении жениться на ней. Это выяснилось в результате расследования, проводимого обычно нашими службами в подобных случаях.

— И, несмотря на это, вы бы женились на ней?

— Я ответил начальству, что если бы я чувствовал, что одинок, то у меня, может, и не достало бы душевных сил помочь ей покончить с прошлым. Но я знал, что имею союзницу — вас! Я был уверен в том, что вы поможете мне сделать ее счастливой!

— А... Что ответило начальство?

— Оно тоже поверило в вас.

— Как вы любили ее, Джеймс!

В последний раз на одно мгновение полные любви глаза монахини поймали взгляд белокурого гиганта и снова со смирением опустили. Офицер, почувствовав внезапное смущение, увидел лишь слезы, текущие по лицу, обрамленному белым чепцом.

Взволнованный, он спросил:

— Могу ли я увидеть ее в последний раз?

— Вам лучше не видеть ее, Джеймс... Это будет слишком тяжело! Похороны состоятся послезавтра в нашей часовне.

— Послезавтра? В день, когда мы должны были венчаться?

— Да, в этот самый день.

— Я приеду.

— И еще мне нужно вернуть вам это...

Она протянула ему обручальное кольцо.

— Оставьте его себе, сестра!

— Не могу, ведь я дала обет жить в бедности.

— Тогда используйте средства от его продажи для друзей, «вредин».

— Они и без того достаточно избалованы! Можно мне употребить это кольцо на дело, которое более соответствует планам Агнессы?

— Поступайте, как найдете нужным. Я тоже должен кое-что вернуть вам.

И он продолжал, доставая из бумажника фотографию пятнадцатилетних близнецов, подаренную ему настоящей Элизабет:

— Знаю, это единственный ее портрет, оставшийся у вас... Мне он больше не нужен!

Взяв фотографию дрожащей рукой, она сказала:

— Спасибо, Джеймс... Мне кажется, нам пора расстаться...

— Хочу, чтобы вы знали, сестра: что бы ни случилось, какие бы расстояния ни разъединяли нас, вы останетесь навсегда членом моей семьи... Вы будете для меня образцом Франции! Вы понимаете меня?

— Да, и очень хорошо, Джеймс.

— И если однажды у меня возникнет непреодолимое желание вновь увидеть лицо моей невесты, я приеду в дом престарелых... Вы примите меня?

— Да, в приемной, пред ликом святого Иосифа.

— Значит, мы не прощаемся навсегда, сестра! До свидания!

— До встречи, Джеймс!

— Агнесса!

Она была уже в дверях, когда у него вырвался этот крик. Она застыла на месте, не имея

сил даже шелохнуться. Наконец тихо прошептала:

— Почему вы так меня назвали?

— Простите меня, Элизабет... Это вышло помимо моей воли. У меня вдруг возникло странное чувство, будто моя любовь оставляет меня ради служения Богу...

В полицейской машине по пути на улицу Фезандери мнимая Элизабет разорвала фотографию двух длинноволосых девушек и выбросила в окно обрывки, разлетевшиеся по ветру. Зачем ее хранить, если две сестры теперь слились в одной, навсегда простившейся с миром?

На улице Фезандери она провела всю ночь в молитве возле покойницы. Она была не одна: вместе с ней молилась настоятельница монастыря Преподобная Мать Мария-Магдалина.

Стоя на коленях рядом с мнимой Элизабет, настоятельница, привыкшая больше читать в душах, чем по лицам, не сводила с нее глаз. Под этим строгим, но доброжелательным взглядом Агнесса разрыдалась и преклонилась перед Преподобной Матерью, как бы в знак почтения перед ней.

— Встаньте, дочь моя, — сказала Мать Мария-Магдалина. — Я знаю, что здесь нет никакого маскарада. Не без моего ведома попыталась сестра Элизабет смягчить чудовище. Она исповедалась мне во всем: я полностью отдавала себе отчет в безрассудстве ее шага, но не воспрепятствовала ей в этом, понимая, что она действует по вдохновению свыше. Господь принял ее жертву, и сейчас она пребывает в Его божественном свете. Но подобную жертву могло оправдать лишь одно: искупление ваших грехов. Когда я увидела вас в этом одеянии, я поняла, что искупление свершилось.

— Я обязана заменить сестру, — сказала Агнесса. — И пусть мне далеко до ее святости, хотелось бы, чтобы замена была полной.

— Вы будете сестрой Элизабет, — сказала Преподобная Мать. — Сначала пройдете сокращенный срок послушничества в монастыре Тур Сен-Жозеф. А затем поступите в наш дом на авеню-дю-Мэн, где сестру Элизабет не забудут за такое короткое время. К тому же, благодаря этому перерыву, разница между прежней и новой сестрами не будет заметна. Вы станете сестрой Элизабет! Только ответьте мне: считаете ли вы себя способной во всем заменить ее?

— С Божьей помощью, да, Преподобная Мать.

— Мы будем молиться за вас. И у вас есть надежная союзница перед Его лицом.

И Мать Мария-Магдалина перевела взгляд на лицо покойницы:

— Помолимся за нее...

В два часа утра тишину их молитвы нарушил телефонный звонок. Мнимая сестра Элизабет вздрогнула: это напомнило ей ту ночь, когда она сказала Джеймсу, расставаясь с ним в Сен-Жермен: «Вы можете позвонить мне через полчаса, чтобы убедиться, что я благополучно возвратилась домой».

Трубку взял полицейский, оставленный охранять квартиру. Он вошел в комнату, где находилась покойница, и обратился к коленапреклоненной Агнесе:

— Сестра, у меня для вас сообщение...

Она встала и пошла за ним в гостиную.

— Инспектор просил передать вам, что преступник был вооружен, он оказал сопротивление при аресте и был убит.

Мнимая Элизабет склонила голову и вернулась к постели покойницы. Она снова принялась за молитву, добавив туда новые слова: «Сестра моя, я часто желала кары для этого подлеца, но с тех пор, как заменила тебя, в моем сердце нет больше места ненависти. Теперь он для меня один из тех несчастных, за которых, я уверена, ты бы молилась. Я последую твоему примеру и буду молиться за его душу».

Белые цветы, приготовленные для венчания, остались в церкви во время похорон.

Вся община собралась вокруг той, кого все, кроме Настоятельницы, принимали за Агнессу: Преподобная Мать Мария-Магдалина, ирландка сестра Кейт, сестра Дозифея, сестра Беатриса из Голландии, сестра-привратница Агата, итальянки сестры Паола, Марчелина, Катарина... Все молились за ту, на чьей земной свадьбе они мечтали присутствовать... Старики занимали скамьи справа, старухи — слева... Евдокия, Берта, Фелиситэ и даже тихо плачущая желчная Мелани. После отпустительной молитвы, прочитанной священником, гроб поместили на катафалк, но хор, сгруппировавшийся во дворе вокруг своего руководителя Мельхиора де Сен-Помье, хранил молчание: «Марш Союзы» в честь капитана не был исполнен.

А сам он, рыцарь нового времени, был здесь, в своей красивой форме... И он остался среди тех, кто сопровождал несчастную до ее последнего жилища — кладбища Пантен. Странное впечатление производила эта группа: монахиня-благотворительница, еще не ставшая таковой, Кавалерист, бывший сапожник из Сомюра, Финансист, обанкротившийся банкир, Ювелир, престарелый мастер ювелирных дел, Певец, в прошлом актер-неудачник, офицер американского флота, считавший, будто хоронит свою невесту, хотя кто знает, верил ли он в это или же понял и принял благочестивую ложь, Клод Верман, директриса дома моделей, представлявшая профессию, с которой Агнесса распростилась без сожаления, брюнетка Жанина, которая по этому случаю обошлась без косметики...

Все они склонились в последний раз над могилой, чтобы осенить крестным знаменем скрытую в ней тайну.

Перед тем как покинуть кладбище, Агнесса подошла к другой могиле и преклонила перед ней колени. Сопровождавшие последовали ее примеру. Никто не осмелился спросить, почему она это сделала, но все смогли прочесть имя Сюзанны, за которым следовали фамилия и даты жизни.

Когда они вышли на улицу, мнимая монахиня подошла к Жанине.

— Благодарю вас за то, что вы пришли, — сказала она. — Возьмите вот это...

Незаметно для других — ведь подлинное милосердие должно совершаться в тайне — она вложила ей в руку обручальное кольцо. Брюнетка вздрогнула.

Монахиня, приложив палец к губам, тихо сказала:

— Тсс! Это кольцо Агнессы... Знаю, с каким пониманием отнеслись вы к ней в тот день, когда ей так хотелось счастья. Мне известно также, что она обещала сделать вам подарок. Видите: она сдержала свое слово! Передаю вам ее пожелание: деньги, полученные за кольцо, должны помочь вам вернуться к более достойной жизни.

Затем монахиня подошла к офицеру и спросила:

— Сегодня вечером вы улетаете из Орли на родину?

— Да, сестра.

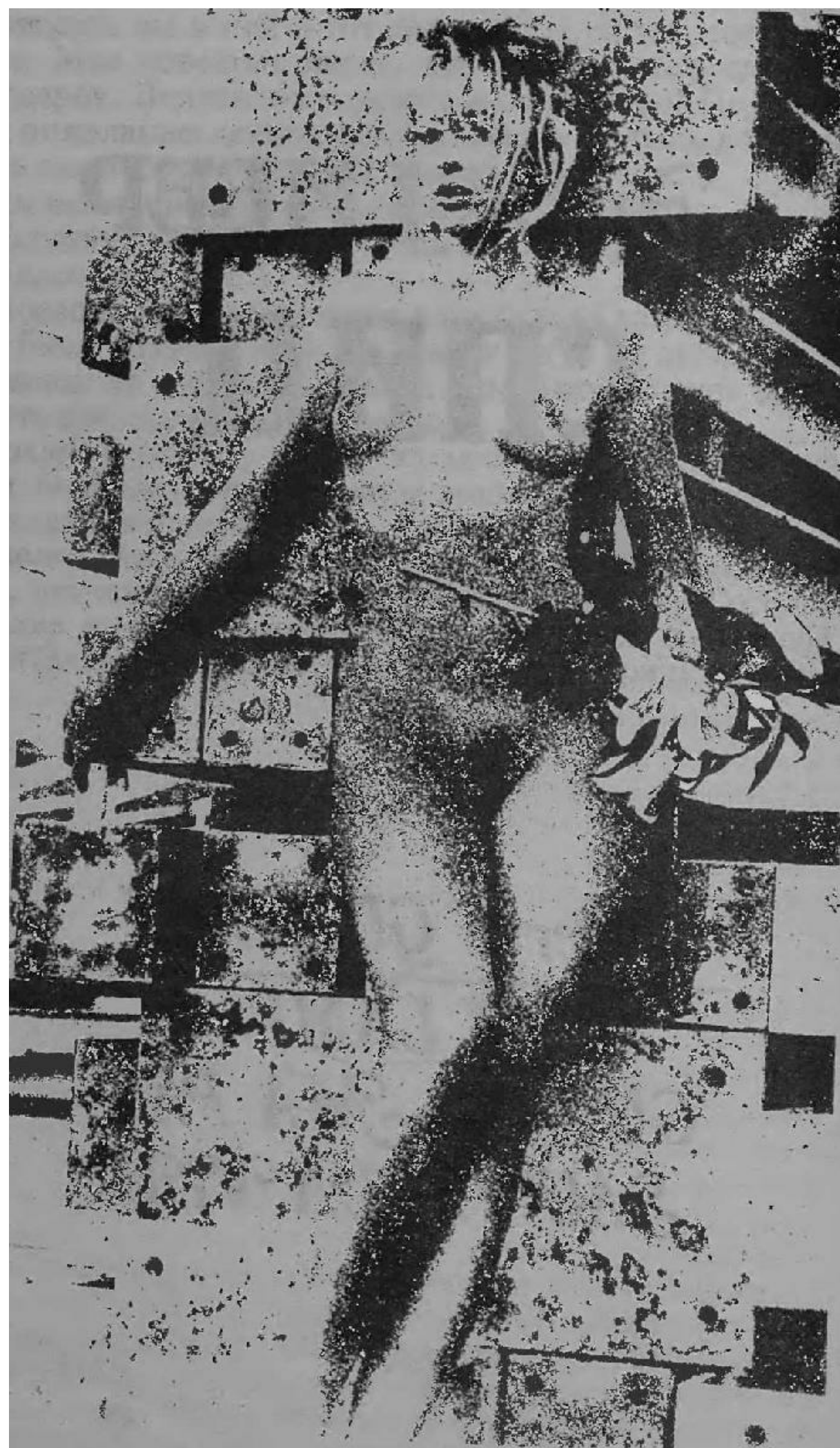
— Позвольте поцеловать вас в последний раз.

Она быстро поцеловала его в щеку и тут же побежала к ожидавшим ее старикам, прежде чем Джеймс смог осознать, что это подлинное прощание.

Белокурый гигант, застыв на месте, в последний раз следил за фигуркой смиренной монахини, которую сопровождали «вредины».

Он долго стоял неподвижно. Может быть, капитан догадается, что мнимая сестра Элизабет, испросив у Господа прощение за свою последнюю ложь, станет подлинной сестрой Элизабет, превратится в истинную жрицу Любви.

Эрве Гибер
СПИД



Три месяца я болел СПИДом. Вернее, целых три месяца мне казалось — у меня смертельная болезнь, именуемая СПИДом. Нет, это не выдумка, я был болен на самом деле, обследования и анализы подтверждали: в крови идет процесс разрушения. И все-таки три месяца спустя случилось чудо, и я почти поверил, будто сумею избавиться от болезни, которую весь мир до сих пор считал неизлечимой. Никому, кроме самых близких друзей, а их можно пересчитать по пальцам, я не говорил, что обречен, и никому, кроме тех же друзей, не сказал, что сумел выпутаться и благодаря чуду стану одним из первых людей в мире, выживших после этой неумолимой болезни.

Сегодня 26 декабря 1988 года, когда я начинаю свою книгу; в Риме, куда я приехал один, сбежав от горстки друзей, которые пытались удержать меня, опасаясь за мое душевное состояние; сегодня, в выходной день, когда все магазины закрыты и на улице можно встретить только иностранцев; в Риме, где я окончательно понял, что не люблю людей и готов бежать от них, как от чумы, и поэтому не знаю теперь, с кем и где мне пообедать; через много месяцев после тех трех, когда я каждой клеточкой мозга верил в свою обреченность, а потом точно так же поверил, будто произошло чудо и я спасен, — переходя от сомнения к уверенности и от отчаяния к надежде, живя меж двух крайностей, меж обреченностью и спасением, я не знаю теперь, за что мне уцепиться. Иногда мне кажется: мое выздоровление — всего-навсего приманка в западне, для утешения, или в самом деле научно-фантастическая история, героем которой избран я, или, скорее всего, я просто-напросто достоин осмеяния, ибо по-человечески жажду этой благодати, этого чуда. Пока я нащупываю костяк своей новой книги, которую уже несколько недель ношу в себе, но не знаю еще, какой она будет, конец у нее пока не один, их много, и каждый — не то предчувствие, не то некое смутное желание развязки, поскольку истина еще сокрыта от меня; и вот, пытаясь нащупать этот костяк, я убеждаю себя, что смысл существования книги — в вибрирующем, размытом сомнении, которым живут все больные на свете.

Здесь я один, но за меня тревожатся — я, мол, не жалею себя, со мной вместе мучаются; те самые друзья, которых можно перечесть по пальцам, как говорит Эжени, постоянно звонят мне, выражают сочувствие, а я окончательно понял, что не люблю людей, нет, совсем не люблю, скорее, ненавижу, и этой упорной ненавистью, пожалуй, все и объясняется; я задумал книгу, чтобы иметь собеседника, товарища, с которым можно обедать, спать рядом, видеть сны, хорошие и дурные, — иметь единственного реально существующего друга. Книга — мой друг, вроде бы я уже хорошо его знаю, — а сейчас она водит меня за нос, хотя иллюзия того, что капитан корабля — я, есть. Но дьявол, Т.Б. [\[1\]](#), засел у меня в трюме. Я перестал его читать, чтобы приостановить процесс отравления. Говорят, вторичное попадание в организм вируса СПИДа через кровь, сперму, слезы заново поражает страдающих этим недугом; а может быть, эти слухи просто помогают сузить область его распространения?

Начавшийся у меня процесс разрушения крови ширился день ото дня, мой тогдашний диагноз — лейкопения. В последних анализах, сделанных 18 ноября, число клеток Т4 равно 368, тогда как у здорового человека их от 500 до 2000. Т4 — та разновидность лейкоцитов, которую вирус СПИДа разрушает в первую очередь, постепенно ослабляя иммунную защиту организма. Окончательный распад (пневмоцистоз — разрушение легких, токсоплазмоз — мозга) начинается при падении уровня Т4 ниже 200, теперь этот процесс замедляют с помощью АЗТ^[2].

Когда СПИД только появился, Т4 называли «the helpers», сторожами, а другую разновидность лейкоцитов, Т8, — «the killers», убийцами. До того как заговорили о СПИДе, один изобретатель электронных игр показал на экране его распространение в крови. Он придумал игру для подростков: по лабиринту бегают приводимая в движение ручкой желтая фигурка, поедая все на своем пути, уничтожая в углах и закоулках исконных обитателей. Ей угрожает только одно: размножение и нашествие красных фигурок, еще более прожорливых. Со СПИДом все как в этой популярной игре, но аборигены лабиринта — Т4, желтые фигурки — Т8, которые преследует ВИЧ-вирус — красные фигурки, с ненасытной жадностью поглощающие иммунных аборигенов. Анализы пока не подтвердили мою болезнь, но как-то раз я неожиданно ощутил, что кровь у меня словно бы обнажилась, оголилась, а до этого ее словно бы защищала некая оболочка, покров, я не чувствовал его, но знал, что он есть, так и должно быть, а потом покров почему-то исчез. И теперь мне предстояло жить с обнаженной, уязвимой кровью, которой грозят всяческие ужасы, словно голому нежному телу. У меня беззащитная кровь, вся и навсегда, если только мне не заменят ее на чужую, что маловероятно, постоянно обнаженная кровь, она всюду под угрозой — в городском транспорте, на улице, на нее постоянно нацелено жало опасности. Интересно, можно ли угадать это по глазам? Нет, я не стараюсь придать взгляду выразительность, думаю лишь о том, чтобы он не стал чересчур выразительным, как у узников концентрационных лагерей из документального фильма «Ночь и туман».

Смерть пришла ко мне из зеркала, я увидел ее в собственных глазах задолго до того, как она и в самом деле прижилась во мне. Неужели я делюсь тайной смерти, когда смотрю другим в глаза? Я никому ведь об этом не рассказывал. Пока не начал писать книгу, никому особенно не рассказывал. Как Мюзиль, я предпочел бы иметь достаточно сил, неумемной гордыни и благородства, чтобы не брать друзей в заложники, оставить их вольными, как ветер, беспечными и вечными. Но что поделать, когда сил нет, когда ты издерган до предела, когда болезнь посягает уже и на дружбу? И я сказал кое-кому — Жюлю, потом Давиду, Густаву и еще Берте, я не хотел ничего говорить Эдвиж, но почувствовал, только раз пообедав с нею в молчании и притворстве, — она от меня отдалилась, и если сейчас же не вернуть наши отношения искренностью, произойдет непоправимое, и я сказал, чтобы не изменить дружбе. Обстоятельства вынудили меня поделиться и с Биллом; после этого мне показалось, будто я окончательно закабален и болезнь уже вышла из-под моего контроля. Еще я сказал Сюзанне, она так стара, что не боится уже ничего на свете, ибо в жизни никого и ничего не любила, кроме своей собачонки, которую недавно оплакала, отправив в душегубку. Сюзанне девяносто три года, но мы сравнялись с ней в возрасте благодаря моему признанию, хотя, может быть, она тут же забыла о нем или сочла его своей собственной выдумкой. Да, я сказал Сюзанне, которая способна тут же позабыть о такой чудовищно важной вещи. Не сказал я ничего Эжени, мы с ней завтракали в «Клозери», и, наверное, она все прочла по моим глазам. С Эжени я скучаю все больше и больше. Кажется, хорошо мне только с теми, кто знает, потому что все обесценилось, обесцветилось, стало пресным по сравнению со страшной новостью. Признаться родителям — значит стать мишенью, тут меня оболют грязью сразу все ничтожные людишки, сунут мордой прямо в кучу дерьма. Главная моя забота сейчас — умереть вдали от родителей, укрыться от их взгляда.

Когда я понял это, я сразу же сообщил доктору Шанди, едва став его пациентом. Я сказал ему: СПИД, собственно, не болезнь, счесть его болезнью было бы чрезмерно просто, нет, это — отсутствие сил, апатия, она выпускает на волю живущего в человеке монстра, и я вынужден добровольно отдать ему себя на растерзание, позволить изъязвить живую плоть, как бывает обычно с мертвой. Пневмоцистоз, что душит легкие, закрывая доступ воздуху, подобно боа-констриктору, и токсоплазмоз, разлагающий клетки мозга, скрыты в организме каждого человека, но сбалансированность иммунной системы лишает вредителей возможности окрепнуть и утвердиться. Зеленую улицу им открывает СПИД, он прорывает все шлюзы, и тогда приходят разрушение, хаос. Мюзиль, не зная всей серьезности своей болезни, уже лежа на больничной койке, сказал мне — до того, как это обнаружили ученые: «Зараза, видно, пришла к нам из Африки». СПИДом, перекочевавшим в нашу кровь из крови зеленых мартышек, болеют ведьмы и колдуны.

Доктора Шанди, у которого я лечился с год — после того как внезапно покинул доктора Насье, крайне нескромного, позволявшего себе сплетничать про обвисшие мошонки своих знаменитых пациентов; но главную вину Насье я, разумеется, видел в другом: когда он диагностировал у меня опоясывающий лишай, уже было известно, что у серопозитивных больных происходят обострения подобного рода герпетиформных заболеваний, однако, несмотря на это, он несколько лет складывал в ящик стола направления на мое собственное имя и на вымышленные тоже и так и не отправил меня на специальное обследование, выявляющее СПИД, который сначала называли ЛАВ, лимфаденопатическим вирусом, а потом ВИЧ, вирусом иммунодефицита человека, считая, что тем самым толкнет на самоубийство такого мнительного и нервного субъекта, как я, ведь результат ему был ясен и без всяких обследований, хотя Насье, то ли мудрствуя, то ли излишне упрощая проблему, утверждал, будто по элементарным нравственным соображениям, думая вступить в любовную связь, мы должны вести себя так, словно поражены болезнью, быть все осмотрительнее, ибо считал надежду одним из средств лечения и был уверен в бессмысленности обследования, оно только повергнет больного в отчаяние, раз средства излечения нет; именно так я и ответил своей матери, непроходимой эгоистке, когда она молила успокоить ее насчет моей болезни, — итак, моего нового терапевта доктора Шанди мне рекомендовал Билл, превознося его умение держать язык за зубами и подчеркивая, что именно он лечит от СПИДа нашего общего друга; да, я сразу понял, о ком идет речь, имя у пациента громкое, но за двери клиники слухи не просочились, и вот, каждый раз, когда доктор Шанди осматривал меня, после традиционного измерения давления и выслушивания стетоскопом он непременно внимательно изучал мои стопы, подъем, кожу между пальцами, бережно осматривал мочеиспускательный канал, место весьма чувствительное, ощупывал пах, живот, подмышки, подчелюстные лимфатические узлы, осматривал ротовую полость; потом я напоминал ему, что с детства не переношу прикосновения деревянной палочки, которой смотрят горло, лучше я открою пошире рот под лампой и сам, мускульным усилием, уберу язычок, загораживающий зев, но доктор Шанди каждый раз забывал об этом; хотя ему удобнее было так смотреть горло, я боялся гладкой палочки, казавшейся мне занозистой; кроме мягкого нёба, которое доктор осматривал как-то очень придирчиво, словно потом я сам должен был постоянно проверять, не появился ли бесспорный симптом прогрессирующей болезни, он смотрел еще голубоватые или ярко-красные ткани языка близ нервных окончаний и уздечку. Затем, держа мою голову одной рукой, большим и указательным пальцами другой давил мне на середину лба и спрашивал, не больно ли, следя за реакцией по зрачкам. Осмотр заканчивался вопросом: не страдаю ли я в последнее время частыми поносами? Нет, все в порядке, я же пью трофизан на глюкоидной основе; после истощения, вызванного лишаем, мой вес вернулся к норме — семьдесят килограммов.

Первым мне рассказал о необыкновенной болезни Билл, году, кажется, в 1981-м. Он вернулся из Штатов, а там в медицинской газете опубликовали первые клинические отчеты о смертельных случаях болезни, этиологически довольно неясной. Даже Биллу, реалисту и скептику, она показалась загадочной. Билл — менеджер большой фармацевтической фирмы по производству вакцин. На следующий день мы обедали с Мюзилем вдвоем, и я не преминул поделиться с ним привезенными Биллом тревожными новостями. Мюзиль, корчась от хохота, просто сполз со стула на пол: «Особый рак для гомосексуалистов? Нет, это слишком красиво, неужели правда? Ну надо же, просто помрешь со смеху!» Подумать только, а ведь тогда Мюзиль уже был заражен ретровирусом, инкубационный период длится примерно шесть лет, так мне сказал Стефан; сейчас врачи знают, но не очень-то об этом распространяются, чтобы не сеять лишней паники среди серопозитивных. В общем, я здорово повеселил Мюзилея, а спустя несколько месяцев у него началась жуткая депрессия; было уже лето, я услышал по телефону его искаженный голос и из окна своего кабинета с тоской глядел на его балкон. «Моему соседу» — так скромно выглядело посвящение одной из моих книг Мюзилею, а следующую придется посвящать — «умершему другу». Я боялся, вдруг он бросится с балкона вниз, и растягивал воображаемую сетку от своих до его окон в надежде помочь. Я не знал, что у него за беда, но по голосу понял, большая, а позже узнал — поделился он ею лишь со мной, в тот день он сказал мне: «Стефан болен мною, я наконец понял, для Стефана я — болезнь, и что бы я ни делал, так будет всегда, если только я не исчезну. Я понял: он не выздоровеет, пока не исчезну я». Но ставок уже больше не было.

В те времена мы еще дружили с доктором Насье. Он долгое время жил в Бискре, где проходил интернатуру, это ему зачли как воинскую службу, а потом занялся гериатрией и перешел в дом призрения под Парижем. Насье приглашал меня туда с фотоаппаратом, обещая одеть в халат и выдать за коллегу, приглашенного на консультацию, чтобы дать мне возможность поснимать. Из-за моего фоторомана о девяностопятилетней и семидесятипятилетней двоюродных бабушках он решил, что я питаю тайное пристрастие к дряблой стариковской плоти. Большого заблуждения нельзя было себе представить, я не сделал ни единого снимка в его приюте, даже не пытался, чувствуя отвращение и неловкость оттого, что я ряженный. Доктор Насье из тех хорошеньких мальчиков, которые обычно нравятся пожилым дамам, бывший манекенщик, попытавший счастья на подмостках, прежде чем, наступив себе на горло, пойти на медицинский, красавчик, хваставший, будто в возрасте пятнадцати лет в Веве, где они остановились с родителями в «Гранд-отеле» как раз накануне автомобильной катастрофы, в которой погиб его отец, его изнасиловал известный актер, исполнитель роли Джеймса Бонда; так вот, нашего честолюбца не устраивала карьера терапевта, берущего по 85 франков за визит с пузатых и пропахших потом нищих клиентов, жалких ипохондриков, в кабинете, смахивающем на выгребную яму. Поэтому он стал искать способа прославиться и для начала задумал создать что-то вроде фирменного санатория для обреченных, по типу современных набитых новой техникой клиник, словно бы собранных — последнее слово дизайна! — из готовых блоков; тошнотворную агонию там заменит феерическое переселение на Луну в салоне первого класса, не оплачиваемое, правда, социальной страховкой. Чтобы несколько сомнительный проект не смутил банкиров, доктору Насье нужна была поддержка по-настоящему авторитетного человека. Идеальным крестным отцом мог бы стать Мюзиль. По моей просьбе он охотно согласился встретиться с доктором. А после их встречи мы с ним собирались поужинать. Глаза у Мюзилья сияли, он глядел весело. Проект сам по себе казался ему нелепым, но подействовал возбуждающе. Мюзиль никогда столько не смеялся, как в те дни, когда был уже обречен. Насье ушел, и Мюзиль сказал мне: «Знаешь, я посоветовал твоему приятелю построить санаторий не для умирающих, а для тех, кто хотел бы разыграть собственную смерть. Повсюду замечательные картины, прекрасная музыка, все для того, чтобы как можно тщательнее скрыть тайну — крошечную дверцу в дальнем кабинете клиники, может, за какой-нибудь из картин, чистеньких, без единой пылинки, или сладко манящий нирваной укол. Потихоньку скользнешь за картину, и — хоп! — для всех на свете ты умер, а ты тем временем объявляешься по ту сторону стены, на заднем дворе, без багажа, с пустыми руками, без имени и фамилии и заново выдумываешь себе судьбу».

Собственное имя сделалось для Мюзилья наваждением. Он хотел избавиться от него. Как-то я попросил его написать эссе о критике для журнала, в котором сотрудничал. Он помрачнел, но, не желая меня огорчать прямым отказом, сослался на жуткую мигрень, мешающую работать. Я предложил опубликовать текст под псевдонимом и на следующий же день получил колкое, блестящее эссе с запиской: «Каким чудом ты угадал, что дело не в головной боли, а в имени?» Он подписался «Юлиан Странноприютец»^[3]. Два-три года спустя, навещая умиравшего Мюзилья в больничном приюте, я каждый раз вспоминал мрачный псевдоним, так и не попавший на страницы журнала: само собой разумеется, моему толстому еженедельнику совершенно не интересно было эссе о критике, которое сочинил никому не ведомый Юлиан Странноприютец. Копия довольно долго валялась у нас в редакции и исчезла, когда Мюзилья попросил ее вернуть. Я нашел дома оригинал и отдал ему. После смерти Мюзилья Стефан заметил, что и это эссе погибло вместе с другими рукописями, которые Мюзилья торопливо уничтожал в последние месяцы перед смертью. На мне лежит вина за уничтожение книги о Мане; однажды Мюзилья рассказал мне о ней, и позже я попросил разрешения взять ее прочитать, надеясь, что она поможет мне продвинуться в начатой работе; я задумал книгу «Живопись умерших», но так и не окончил ее. Мюзилья пообещал, раскопал из-за меня рукопись в своих завалах, перечел ее и тут же уничтожил. Это означало для Стефана потерю десятков миллионов. Впрочем, завещания не оказалось, Мюзилья оставил несколько коротких и, как видно, хорошо продуманных распоряжений, ограждающих его творчество от любых посягательств, как материальных, так и моральных: в пику семейству архив он оставил Стефану, но наложил вето на все посмертные публикации, лишив того возможности брести по своим следам, ходить проторенными тропами, и вынудил искать собственный путь, сведя таким образом до минимума возможный ущерб своему наследию. Сама по себе смерть Мюзилья сделалась занятием Стефана. Похоже, Мюзилья преподнес ему эту смерть в качестве подарка, изобретя новую должность: защитник доселе невиданной, причудливой, ужасной смерти.

И точно так же, как старался Мюзиль приглушить бесконечный звон своего имени, он хотел там, где это не касалось его творчества, обезличить и свое лицо, характерное, узнаваемое благодаря множеству портретов, которые газеты и журналы помещали вот уже добрый десяток лет. Когда ему случалось пригласить в ресторан кого-нибудь из многих своих друзей — их ряды значительно поредели в последние годы перед смертью, он сам услал их за горизонт дружбы, избавив себя от необходимости наносить визиты, ограничиваясь редкими письмами или телефонными звонками, — так вот, войдя в ресторан, он чуть ли не отталкивал друга, чье общество еще доставляло ему удовольствие, торопясь сесть спиной к залу или зеркалу, и только потом, спохватываясь, учтиво предлагал стул напротив своему спутнику. Посетителям ресторана оставалось созерцать наголо обритый, поблескивающий череп — некую «вещь в себе»: Мюзиль не ленился брить голову каждый день, и случалось, приходя, я замечал и засохшую уже кровь от пореза, который он не разглядел, и свежесть его дыхания, когда он двукратно целовал меня в щеки, быстро и звонко, и каждый раз я поражался его деликатности: он обязательно чистил зубы перед встречей. Вечера Мюзиль проводил чаще дома, в Париже ему мешала известность. Если он отправлялся в кино, все зрители на него оглядывались. Иногда по ночам я видел с балкона дом 203 по улице дю Бак, как он выходил из своей квартиры в черной кожаной куртке с цепочками и металлическими кольцами и пробирался внутренними переходами и лестницами дома 205 в подземный гараж, откуда уже выезжал на машине; он вел ее неловко, нервно, будто полуслепой, чуть ли не прижимаясь лицом к ветровому стеклу, мчался через весь город в бар «У Келлера», в XII округ, где подыскивал очередную жертву. В стенном шкафу квартиры, не подвергшейся посягательствам семьи Мюзиля благодаря его собственноручно написанному завещанию, Стефан нашел мешок с хлыстами, кожаными капюшонами, тонкими ремнями, кляпами и наручниками. Все эти приспособления, о существовании которых Стефан якобы не подозревал, похоже, вызвали у него приступ отвращения, словно отныне и они были мертвы, от них шел могильный холод. По совету брата Мюзиля Стефан продезинфицировал унаследованную им квартиру, прежде чем туда переселиться. Он не знал еще, что большая часть рукописей уничтожена. Мюзиль обожал чудовищные оргии в саунах, хотя, опасаясь своей известности, в парижские сауны не ходил, но вот в Сан-Франциско во время ежегодного семинара отводил душу; теперь большинство тамошних саун переоборудованы в супермаркеты или автостоянки. Там, в саунах, гомосексуалисты Сан-Франциско выделяли самые немыслимые вещи: вместо писсуаров ставили старые ванны и укладывали в них жертву на целую ночь, а тесные кузова разбитых грузовиков использовали как камеры пыток. Осенью 1983 года Мюзиль вернулся с сильным кашлем, приступы буквально доводили его до изнеможения. Но как только кашель отпустил, Мюзиль с наслаждением рассказывал о своих похождениях в саунах Сан-Франциско. Я тогда сказал ему: «Теперь из-за СПИДа в этих саунах, наверное, днем с огнем никого не сыщешь». — «Да ты что, — ответил он, — столько народу там еще никогда не собиралось, и стало удивительно хорошо. Нависшая над нами угроза теснее спланивает, чувствуешь особую нежность, особую близость. Раньше многие молчали, сейчас не боятся вступать в разговор. Каждый понимает, почему пришел».

С секретарем Мюзиля я познакомился уже на похоронах, мы были там со Стефаном, а спустя несколько дней я встретил его в автобусе, и он мне кое-что рассказал. До сих пор неизвестно, знал Мюзиль или нет, от какой болезни умирает. Секретарь заверил меня, что по крайней мере в неизлечимости своей болезни он не сомневался. В 1983 году Мюзиль аккуратно посещал собрания гуманитарного общества в здании дерматологической клиники, руководитель которой входил в лигу врачей, рассылающую медицинскую помощь по всему миру — туда, где происходили экологические катастрофы или политические перевороты. В клинике изучали и первые случаи СПИДа, изучали его кожные проявления, называемые синдромом Капоши, — красные пятна с фиолетовыми прожилками, что появляются сначала на стопах, на ногах, а затем распространяются по всему телу и даже по лицу. На заседаниях, где обсуждалось положение Польши после государственного переворота, Мюзиль кашлял непрерывно. Мы со Стефаном настаивали, чтобы он пошел к врачу, он отказался наотрез. И сдался только тогда, когда тот же совет дал ему руководитель клиники, удивившись его сухому, резкому, затяжному кашлю. Все утро Мюзиль провел в больнице на обследовании, он уже успел забыть, насколько чужим делается тело, попав в руки врачей, оно теряет индивидуальность и превращается в мешок костей, который врачи швыряют то так, то эдак, административная мясорубка перемалывает его, обращая в почти безымянное существо, зачеркивая всю жизнь, лишая его достоинства. В рот Мюзилю засунули узкую лампу и обследовали легкие. В результате шеф клиники быстро сообразил, с какой болезнью имеет дело, но решил оградить от неприятностей известного человека, своего собрата по заседаниям общества, не допустить, чтобы его имя связали с недавно обнаруженной болезнью. Подтасовывая и пряча часть анализов, он смог сберечь тайну и этим дал своему пациенту возможность спокойно работать и не страшиться никаких пересудов. Вопреки общепринятому правилу, он ничего не сообщил и Стефану, с которым был немного знаком, — пусть страшный призрак не омрачит их с Мюзилем дружбы. Но зато он предупредил секретаря, чтобы тот с предельной внимательностью исполнял все просьбы метра, помогал ему в осуществлении любых замыслов. В автобусном разговоре секретарь сказал мне, что встретился с руководителем дерматологической клиники вскоре после того, как тот в общих чертах познакомил Мюзиля с результатами обследования. Взгляд у Мюзиля, по словам дерматолога, — как я месяц назад узнал от секретаря, — стал еще острее и пронизательнее, чем всегда, коротким взмахом руки он прервал его и спросил: «Сколько у меня времени?» Только это его интересовало, из-за работы, из-за книги. Сказал ли ему тогда врач, чем именно он болен? Не думаю. Может, Мюзиль и не дал ему ничего сказать. Годом раньше, когда мы обедали у него на кухне, я заговорил о взаимоотношениях врача и пациента и о правде — нужно ли говорить больному правду, если недуг его смертелен. Я боялся тогда, что у меня рак печени, последствие недолеченного гепатита. И Мюзиль сказал мне: «Врач никогда не выложит пациенту всю правду, но предоставит ему возможность в свободной беседе узнать ему самому или же уклониться от нее, если для пациента второй вариант предпочтительнее». Шеф клиники прописал Мюзилю антибиотики в лошадиных дозах, чтобы приостановить кашель и отсрочить фатальный исход. Мюзиль продолжал работать над своей книгой и решил даже прочесть цикл лекций, который поначалу намеревался отложить. Ни мне, ни Стефану он ничего не сказал о своем разговоре с

дерматологом. Только однажды сообщил, как бы прошупывая меня, что принял решение отправиться вместе с коллегами из своего общества в дальнюю экспедицию, опасную, и дал мне понять — он может оттуда и не вернуться. По глазам Мюзиля я видел: он просит совета и окончательного решения еще не принял. Он хотел отправиться на край света и там отыскать ту маленькую дверцу, что спрятана за картиной в том идеальном санатории для обреченных. Я испугался и, пытаясь изо всех сил скрыть испуг, с беззаботным видом заявил: мне кажется, ему лучше закончить книгу. Книгу, которой нет конца.

Когда мы познакомились, он уже писал свою «Историю человеческого поведения», было это, наверное, в начале 1977 года, ведь первая моя книга «Смерть манит за собой» появилась, кажется, в январе; мне повезло, благодаря ее выходу в свет я и оказался в тесном кружке его друзей. Первый том монументальной «Истории» был уже готов, но случилось так, что введение к нему разрослось и стало само по себе целой книгой; публикация первого тома, который внезапно сделался вторым, отодвинулась, — практически он уже был в типографии, и тут на горизонте, словно хвостатая комета, возникло введение и сыграло с Мюзилом по весне 1976 года первоапрельскую шутку. Тогда я еще не знал его лично, он был для меня загадочным и знаменитым соседом, чьих книг я пока не читал. Введение разрослось, поскольку Мюзиль развил в нем свою фундаментальную теорию цензуры, бросающую вызов общепринятой, и когда оно отдельным изданием вышло в свет, Мюзиль в первый и последний раз в жизни согласился принять участие в телепередаче «Апострофы», в обзоре интеллектуальных событий. В те времена я не интересовался этим детищем Кристины Окран, любимой ведущей Мюзиля — любимой настолько, что впоследствии, придя к нему на ужин чуть раньше назначенного срока, я должен был кружить по соседним улицам, чтобы не прерывать их телесвидания, которое кончалось ровно в 20 часов 30 минут. Эти-то кадры из «Апострофов» — Мюзиль не пропустил бы их ни за что на свете — и передали в день его смерти, июньским вечером 1984 года. Кристина Окран — Мюзиль ласково называл ее «мое солнышко» и «мое солнце» — сняла, собственно, его заразительный безудержный смех. Во время передачи от облаченного в строгий костюм Мюзиля ожидали пастырской серьезности в изложении незыблемых основ человеческого поведения, под которые он уже подвел мину своей «Историей», — а он попросту расхохотался, и его смех отогрел меня, заледеневшего, нашедшего в день его смерти прибежище у Жюля и Берты: я на секунду включил телевизор, чтобы узнать, какой некролог дадут в новостях. Так я в последний раз видел Мюзиля на экране, с тех пор никогда не смотрел записи передач с его участием, было бы мучительно оказаться лицом к лицу с псевдоживым подобием Мюзиля, только во сне меня это не страшило, но его смех — остановленное в «Апострофах» мгновение — поразил меня в самое сердце, я заморожен им по-прежнему, иногда я ощущаю укол ревности: как он мог так счастливо, беззаботно, божественно смеяться, ведь мы еще не были знакомы? Своей «Историей» он разгромил общепринятые основы сексуальной гармонии и принялся подрывать ответвления собственноручно построенного лабиринта. На обложке первого тома, поскольку второй был завершен, а необходимые материалы для следующих четырех уже лежали у Мюзиля на столе, он поместил все шесть названий сразу. Но начертив план будущего здания и на треть построив его, рассчитав опорные конструкции, свод, разметив навесы и переходы в соответствии с разработанной в прежних книгах системой, которая принесла ему мировую славу, Мюзиль вдруг впал в тоску или, вернее, его обуяли страшные сомнения. Строительство было прекращено, чертежи уничтожены, фундаментальная «История», заранее продуманная — по законам его диалектики, до мелочей, — брошена на полдороге. Поначалу ему хотелось передвинуть второй том в конец или отложить его и ринуться в атаку совсем с другой стороны, обнажить исходные позиции своего исследования, проложить новые пути. Свернув на скользкую тропу, уклонившись от первоначального замысла, он

понял: коротенькие примечания разрастаются в отдельные самостоятельные книги — и заплутал, растерялся, стал все рушить, забросил, потом снова строил, восстанавливал, пока не докатился до полнейшей бездеятельности — этому лишь способствовало зудящее отсутствие публикаций, злые слухи о том, что он исписался, впал в слабоумие, способствовала боязнь ошибиться или зайти в тупик; в то же время им уже завладела мечта о книге, которая не будет иметь конца, она охватит все проблемы сразу и оборвать ее сможет разве что смерть или полное бессилие, мечта о самом мощном и самом хрупком творении, о чудо-книге, балансирующей на краю бездны — от поворота мысли, от вспышки внутреннего огня, о некоей Библии, обреченной на адовы муки. Уверенность в близком конце убила эту мечту. Мюзиль положил себе за оставшееся время заново перестроить и продвинуть вперед свой прежний фундаментальный труд. Весной 1983 года они со Стефаном отправились в Андалусию. Я удивился, что номера Мюзиль заказал в третьеразрядном отеле, он экономил, а после его смерти обнаружилась пачка банковских чеков на несколько миллионов, он так и не удосужился отнести их в свой банк. Мюзиль в самом деле боялся роскоши. Но его покорила скарденность матери, которая отдала ему лишь выщербленные кружки для нового загородного домика, где он мечтал вместе с нами поработать летом. Накануне отъезда в Андалусию он пригласил меня к себе и, указав на две объемистые, туго набитые папки на письменном столе, торжественно произнес: «Вот моя рукопись, если со мною во время путешествия что-нибудь случится, ты придешь сюда и ее уничтожишь. Я могу доверить это только тебе и полагаюсь на твое слово». Я ответил, что исполнить подобной просьбы не смогу и прошу меня избавить от испытания. Мюзиль не ожидал такого ответа, был им очень огорчен и подавлен. Окончил он работу много месяцев спустя, успев еще раз переписать все заново. Когда Мюзиль рухнул без чувств у себя на кухне и Стефан нашел его бездыханным в луже крови, обе папки давно лежали в издательстве, но Мюзиль все еще ездил по утрам в библиотеку «Шоссуар» и выверял постраничные сноски.

В октябре 1983 года я в панике бежал из Мексики, упросив помочь мне управляющего агентством «Эр-Франс» в Мехико — он сидел, задрав ноги на письменный стол, и меланхолично наблюдал, как с потолка каплет в таз вода, как в комнату просачивается бушующий снаружи потоп, — и тут появился я, из глаз чуть ли не капают слезы, взывал к милосердию и человеколюбию, умоляя срочно отправить меня домой, переменить мне проклятый билет с фиксированной датой, купленный по льготному отпускному тарифу, ждать оставалось еще целых две недели! Сильно лихорадило меня даже в самолете, хотя я вместе с толпой шумных туристов в сомбреро, допивавших последние глотки текил, наконец-то приближался к сулящей утешение родной земле. Прямо из аэропорта я позвонил Жюлю и узнал, что все время, пока я был в Мексике, он пролежал в больнице, у него тоже сильнейшие приступы лихорадки и к тому же воспаление лимфатических узлов, его обследовали в университетской больнице, но определить болезнь не смогли и сейчас выписали. Глядя, как за окном такси, вдруг показавшегося мне «скорой помощью», проплывают серые парижские предместья, я вспомнил, что перечисленные Жюлем симптомы уже связывают с проклятой болезнью, и понял: да, у нас обоих СПИД. И все разом переменялось, мое озарение все сдвинуло с места, по-другому выглядел даже плывущий мимо пейзаж: оно и придавило меня, и окрылило, пробудило во мне силы и обессилило, я ощущал страх и сладкое опьянение, покой и смятение, возможно, я наконец-то достиг, чего хотел. Разумеется, все остальные постарались меня разубедить. Первым — Густав, я позвонил ему в Мюнхен вечером, и он иронически посоветовал мне не поддаваться всеобщей панике. Потом — Мюзиль, у него я ужинал на следующий день, и, хотя его собственная болезнь перешла чуть ли не в конечную стадию и жить ему оставалось меньше года, он сказал мне: «Бедный малыш, ну что тебе мерещится? Если бы все вирусы, гуляющие по свету с тех пор, как ввели дешевые самолетные рейсы, были смертельны, думаешь, много на земле осталось бы народу?» Слухи тогда ходили самые фантастические, но им верили, так как ничего не знали ни о природе, ни о развитии того, что медики даже и не определяли как вирус, а как лентивирус или ретровирус, сродни тому, что поражает лошадей: то ли мы вдыхали его с амилнитритом, и это вещество внезапно удалили из продуктов потребления, то ли Брежнев, а может, Рейган пускали его в ход как новейшее биологическое оружие. В самом конце 1983 года Мюзиль снова начал отчаянно кашлять, поскольку прекратил принимать антибиотики, услышав от аптекаря, что такими дозами и впрямь можно убить лошадь, — и однажды я сказал: «На самом деле ты успокоишься, если узнаешь, что это СПИД». Он посмотрел на меня мрачно и отчужденно.

По возвращении из Мексики у меня в горле обнаружили чудовищный абсцесс, я не мог глотать и принимать какую бы то ни было пищу. К доктору Леви я обращаться не хотел, он запустил мой гепатит и небрежно относился ко всем моим недугам, особенно к постоянной боли в правом подреберье, наводившей меня на мысль о раке печени. Доктор Леви вскоре умер от рака легких. По совету Эжени я обратился в Центр функциональных исследований и завел себе нового терапевта, доктора Нокура, брата одного из моих коллег-журналистов. Я буквально допек врача, чуть не каждый месяц обращаясь к нему со своими болями в печени, и в конце концов он выписал мне направления на все обследования, какие только существуют на свете, мне сделали даже специальный анализ крови, показывающий уровень содержания трансаминазы в крови. Сходил я и на ультразвук. Во время исследования ультразвуком, пока мы вместе с доктором смотрели на экран и он водил зондом по моему слегка обросшему жирком животу, особенное внимание обращая на кишечный аппарат, я обрушился на него, мне не понравился его бесстрастный взгляд: показалось, будто равнодушие — это маска, он пытается что-то скрыть; в конце концов доктор Нокур рассмеялся. «Редко кто умирает от рака печени в двадцать пять лет!» — сказал он мне. Отправил он меня и на урографию, которая оказалась тягчайшим и унижайшим испытанием: ни о чем не предупредив, меня целый час продержали голым на ледяном металлическом столе, а в потолке было окно, через него мною могли любоваться кровельщики, чинившие крышу; некого было даже позвать на помощь, обо мне просто-напросто забыли, оставили лежать с толстой иглой в вене — в меня втекала какая-то лиловая жидкость, безумно жгучая; потом я услышал, как за ширму вернулась врач и заговорила со своей коллегой. Оказалось, она улучила минутку, сбегала вниз и купила себе на ужин бифштекс, а сейчас расспрашивала коллегу, как он провел отпуск на острове Реюньон. Но доктор Нокур счел, что именно это исследование дало результат, он и успокоил и огорчил меня: речь шла о не имевшем ничего общего с раком необычайно редком явлении, которого за тридцать лет своей практики доктор ни разу не наблюдал, — о врожденном дефекте почек, небольшом углублении, где скапливается песок и причиняет болевые ощущения; уролог посоветовал мне есть как можно больше лимонов и пить минеральную воду. Но прежде чем я успел наброситься на лимоны, боль справа исчезла. Я узнал, в чем дело, и она больше не давала о себе знать. На очень краткое время я, как ни странно, вообще перестал испытывать боль.

Между тем Эжени посоветовала мне обратиться к доктору Лериссону, гомеопату. Марина с Эжени были от него без ума. Эжени с мужем и сыновьями просиживали у него в приемной ночи напролет рядом с великосветскими дамами и нищенками — доктор поставил себе за правило брать по тысяче франков за визит с графинь и ни гроша с побродяжек. Эжени до головокружения гипнотизировала дверь кабинета, пока перед глазами не начинали плыть круги; порой случалось, что часам к трем ночи усталый доктор Лериссон приоткрывал ее, в щель просачивалось вполне здоровое семейство Эжени и выходило оттуда нагруженное рецептами: десять желтых капсул величиной с орех нужно глотать перед едой, пять небольших красных капсул и семь голубых таблеток после, а неисчислимое количество белых крупинок класть под язык. Сын Эжени чуть было концы не отдал от всех этих лекарственных пиршеств: у него был приступ самого обыкновенного аппендицита, но доктор Лериссон, возражавший против грубого хирургического вмешательства, ампутаций и лечения химическими препаратами, полагался только на сбалансирование природных сил при помощи вытяжек лекарственных и прочих растений. Тем временем у сына Эжени начался перитонит со всевозможными инфекционными осложнениями, в результате потребовались три операции, оставившие по себе чудненький рубчик от лобка едва не до ключицы. Марина восторженно уверяла, будто доктор Лериссон — святой, он принес в жертву своему врачебному искусству личную жизнь, даже его бедняжка жена счастлива тем, что он достиг столь необычайных высот. Марина ходила к нему по три-четыре раза в неделю, но никогда не сидела в приемной: ассистентка, завидев знакомые темные очки, сразу пропускала ее через боковую дверь в комнату, непосредственно примыкавшую к кабинету, где доктор Лериссон проводил самые чудодейственные эксперименты на самых прославленных пациентках, например, он помещал их голыми в металлический ящик, предварительно утыкав все тело иголками, через которые поступали жидкие концентраты трав, помидоров, бокситов, ананаса, корицы, пачулей, репы, глины и моркови. После процедуры больные выходили, шатаясь, красные, словно бы под хмельком. У доктора Лериссона пациентов было хоть отбавляй. Но благодаря особым рекомендациям Эжени и Марины, после длительных тайных переговоров с секретаршей меня все-таки удостоили консультации, хотя и назначили ее только на будущий квартал. И вот уже четвертый час я томился в приемной, с неудовольствием поглядывая на малосимпатичные физиономии окружающих, как вдруг ассистент с невыразительным лицом, облаченный в белый халат, открыл дверь и назвал мою фамилию. Я объяснил, что пришел к доктору Лериссону. «Проходите», — повторил он. Я, чувствуя подвох, твердо стоял на своем: мне нужен доктор Лериссон. «Я и есть доктор Лериссон, проходите же!» — ответил он и в сердцах захлопнул за мной дверь. И Марина, и Эжени так обожали его, что я невольно вообразил его красавчиком, покорителем сердец. С первого взгляда доктор Лериссон сообразил, чем я болен. Он взял меня за подбородок, пристально взгляделся мне в зрачки и спросил: «Головокружениями страдаете?» Услышав ожидаемый утвердительный ответ, добавил, что в жизни не встречал такого спазмофилика и что я дам сто очков вперед своей приятельнице Марине. Доктор Лериссон объяснил мне: спазмофилия, собственно, не заболевание, не функциональное расстройство и не нервное, это имитация либо того, либо другого, причем она особенно мучительна для организма, страдающего от недостатка

кальция. Спазмофилия не имеет никакого отношения к психосоматике, она лишь овеществляет и локализует болезнь, которую человек полубессознательно, а чаще всего подсознательно себе воображает.

Успокоительное известие о врожденном дефекте почек и предположение о спазмофилии озадачили мой организм; лишившись привычных страданий и вождедея новых, он принялся вслепую, на ощупь исследовать собственные закоулки. Припадков эпилепсии у меня никогда не было, хотя я в любую секунду мог скорчиться от нестерпимой боли. Боли прошли, лишь только я понял, что заразился СПИДом, и вот теперь я весьма пристально слежу, как расплзается по телу вирус, слежу, будто по карте, за его продвижением вперед и задержками, смотрю, где он прочнее угнездился и откуда атакует, угадываю и не зараженные еще участки. И все-таки эта вполне реальная борьба, которую ведет мой организм и которую подтверждают анализы, значит для меня куда меньше — погоди, что-то еще будет, дружище! — чем значили те, навверняка воображаемые болезни. Мюзиль, сочувствуя моим тогдашним мучениям, отправил меня к старенькому доктору Арону; тот давно уже оставил практику, но по-прежнему проводил два-три часа в день у себя в кабинете, доставшемся ему по наследству от его отца: здесь, казалось, ничего не переменилось с прошлого века — маленький, седой как лунь старичок тихонько семенил среди массивных, допотопных рентгеновских аппаратов. Выслушав все мои жалобы, доктор Арон провел меня в дальний угол кабинета, напоминая подводную лодку, ибо тут и громоздились его древние монстры с торчащими во все стороны ручками и круглыми подобиями иллюминаторов, и велел мне раздеться. Маленький, прозрачный человек наклонился ко мне и стал легонько постукивать деревянным молоточком по отзывавшимся дрожью пальцам ног, по щиколоткам, коленкам, словно играл на цимбалах. Затем он водрузил на лоб сферическое зеркало, исследовал мою радужную оболочку и, наконец, протяжно вздохнув, сказал: «Забавный вы, однако, человек!» Я сел за его письменный стол и произнес — очень хорошо помню эту фразу, произнес в 1981 году, Билл еще не сообщил нам об открытой недавно болезни, ныне связавшей нас всех — Мюзиле, Марину и множество других людей, о существовании которых мы вовсе не подозревали, — так вот, я произнес: «Руки буду целовать тому, кто назовет мне мою болезнь!» Доктор Арон полез в медицинскую энциклопедию, прочел какой-то параграф и сказал: «Я нашел вашу болезнь, она достаточно редкая, но не волнуйтесь, штука неприятная, зато с возрастом пройдет, это юношеская болезнь и годам к тридцати должна бесследно исчезнуть, самое доступное ее название — дисморфофобия, что означает — болезненная реакция на любые проявления уродства». Он выписал мне рецепт, я попросил взглянуть, оказалось, антидепрессант. Интересно, а не думает ли он, что такое лекарство больше навредит мне, чем поможет? Рассказав мне однажды о режиссере, который во время репетиции вдруг вбежал в комнатку за сценой, где спал его декоратор, и пустил себе пулю в лоб, Тео заметил, что виной всему антидепрессанты и только антидепрессанты, они выводят больного из оцепенения и вселяют в него эйфорическое желание действовать. Едва закрыв за собой дверь кабинета доктора Арона, я разорвал рецепт и отправился к Мюзиле поведать о приеме. Мюзиль взъярился. «Черт бы побрал этих районных терапевтов, — процедил он, — поносы и мокрота им, видите ли, надоели, на психоанализ потянуло, не диагноз, а черт знает что!» Да, незадолго до того, как Мюзиль упал без сознания у себя на кухне, за несколько недель до смерти, мы со Стефаном, не в силах больше слышать его надсадный кашель, заставили его пойти к врачу, и Мюзиль отправился к старому терапевту, по соседству. Тот осмотрел его и весело сообщил:

Такому здоровью можно позавидовать.

Сегодня, 4 января 1989 года, я сказал себе: мне осталась ровно неделя, чтобы успеть набросать историю моей болезни, в этот срок мне, понятно, не уложиться, ведь я постоянно нервничаю, потому что 11 января во второй половине дня нужно звонить доктору Шанди, он сообщит мне результаты обследования, которое я прошел 22 декабря в клинике имени Клода Бернара, и этот анализ крови обозначит для меня совершенно иной этап моей болезни. Анализ, прямо скажем, дался мне тяжело, в клинику я явился с утра пораньше, на голодный желудок, а ночью практически не сомкнул глаз, опасаясь опоздать к назначенному еще месяц назад часу. Договаривался с сестрой доктор Шанди, он продиктовал ей по телефону мою фамилию, адрес, дату рождения и тем самым как бы выставил меня на всеобщее обозрение, начался новый этап моей жизни — публичное признание болезни. Но мне грозила не только опасность проспать и таким образом пропустить жестокое испытание, столь важное в моей судьбе, — причем на анализ у меня возьмут невероятное количество крови, — мне к тому же надо было пересечь из конца в конец весь Париж, парализованный чуть ли не всеобщей забастовкой. На самом деле я пишу эти строки вечером 3 января, потому что боюсь ночью отдать концы и пытаюсь изо всех сил осуществить задуманное, понимаю — это неосуществимо, и с тоскливым ужасом вспоминаю то утро, когда голодным вышел в ледяной холод улицы, переполненной болезненным возбуждением забастовки, — вышел, чтобы отдать невыносимое количество собственной крови, пусть Институт здравоохранения украдет ее для неведомых мне экспериментов, отнимет у меня последние силы под предлогом проверки уровня Т4 в крови, присвоит часть резервов моего организма и превратит их потом в дезактивированное вещество вакцины, в какой-нибудь гамма-глобулин, который после моей смерти спасет жизнь другим людям, или, напротив, пусть моим вирусом заразят лабораторную обезьянку. Но до этого я вместе с гнуснопокорной толпой должен был ехать в страшной давке, в метро (обычно четкую работу метро нарушила забастовка), а потом, не выдержав, полузадушенным выбрался на улицу и долго ждал возле кабины телефона-автомата, пока стоявшая внутри девушка-иностранка, увешанная сумками, не поняла по моим жестам, куда вставить телефонную карточку и как прихлопнуть щиток счетного устройства; наконец она любезно уступила мне место и сама ждала на холоде, пока я безнадежно накручивал диск, вызывая такси, а в это время подъехала поливальная машина и с ходу окатила кабину, в ней сразу потемнело до синевы, я уже в сотый раз набирал номер такси, и меня тошнило от черного кофе без сахара, есть и пить что-либо другое в то утро доктор Шанди мне запретил. (...Когда я наконец добрался до единственного обитаемого островка, вообще вся клиника имени Клода Бернара недавно переехала, я бродил по более не существующей больнице, словно по туманному, призрачному лабиринту где-нибудь на краю света, и вспоминал свое посещение Дахау, — последним закутком в этом мертвом царстве было отделение СПИДа, где за матовыми стеклами мелькали белые силуэты, а сестра, набирая в кюветку пустые пробирки, одну, вторую, третью, потом большую, четвертую, две маленьких, всего не меньше дюжины, чтобы через минуту наполнить их моей теплой черной кровью, пока же они перекачивались в кюветке, натыкались друг на друга, ища себе мест, точь-в-точь как возбужденные пассажиры в вагоне метро, выведенного из рабочего ритма забастовкой, эта сестра, повторяю, спросила, хорошо ли я позавтракал: оказалось, я непременно должен был хорошо позавтракать вопреки

приказанию доктора Шанди, хотя для чего-то я с ним советовался. «Ну, в следующий раз не забудете», — успокоила сестра и осведомилась, из какой руки лучше брать кровь, будто не догадывалась, что никакого следующего раза я не перенесу, ужас мой был сродни безумию, и я чуть не расхохотался...) Тут поливальщик кончил мыть телефонную будку снаружи и, скрестив руки на груди, стоял и ждал, пока я дозвонюсь до такси, чтобы приняться за уборку внутри будки; по-моему, он собирался оттолкнуть и девушку-иностранку, но вдруг передумал и укатил. После десяти минут ожидания, «ждите ответа», мне наконец ответили: «Свободных такси нет» — и тут же повесили трубку, я пропустил в будку девушку-иностранку, а сам опять пошел к метро, на этот раз приготовившись ко всему, отвращение и слабость обратив в силу, почему-то весело ожидая самого худшего: получить ни за что ни про что по морде или очутиться под колесами поезда, но нет, я снова с трудом втиснулся в вагон, высоко подняв голову, задерживая дыхание; стараюсь дышать только носом, смертельно боюсь ко всему прочему подцепить еще и китайский грипп, приковавший к постели два с половиной миллиона французов. Доктор Шанди посоветовал мне ехать по линии «Мэри-д'Исси — Порт де ла Шапель», но можно и по-другому, до Порт де ла Виллетт, а затем пройти минут десять вдоль окружной дороги, — тут вагон совсем опустел. Человек в фуражке с меховыми наушниками на конечной станции «Порт де ла Шапель» показал мне, куда идти, широким жестом, словно меня ожидала дорога в несколько километров. Он спросил, какой именно дом мне нужен на улице Порт д'Обервилье; я назвал клинику имени Клода Бернара, и мне почудилось, будто он обо всем догадался, о моей тоске и отчаянии тоже, ибо вдруг стал необычайно вежлив, шутил, причем без малейшей развязности, однако я плохо слушал, по-прежнему тошнило от черного кофе. Он сообщил, что недавно читал статью о клинике, она была построена в двадцатые годы и сейчас состояние помещения уже не соответствует санитарным нормам — ее перевели в другое место, и внутри мертвой больницы работает только корпус «Шантмесс», отведенный для больных СПИДом, куда доктор Шанди направил и меня, не сочтя нужным предупредить о сопутствующих обстоятельствах. Доктору Шанди я специально позвонил накануне, уточнить, как добираться в забастовочные дни, ведь бумажка с полученными месяц назад объяснениями куда-то запропастилась, и он произнес только: «Неужели завтра уже анализ? Господи, ну и летит время!» Я еще подумал, не нарочита ли эта фраза, может, он хотел мне напомнить, что дни мои сочтены и я не должен тратить их попусту, не стоит уже ничего публиковать под псевдонимом или писать за других, нет, только за себя, и вспомнил потом другую его фразу, почти ритуальную, он произнес ее месяц назад, убедившись по результатам анализа, что разрушительная работа вируса значительно пошла вперед, и попросив сделать еще один тест, убедиться, не появился ли в крови антиген П24, знак перехода вируса из пассивного состояния в активное, это дало бы право получить по официальным каналам АЗТ, единственный лекарственный препарат, применяемый на последней стадии, и вот тогда он сказал: «Теперь, если ничего не делать, счет пойдет не на годы, а на месяцы». Я еще раз уточнил дорогу у заправщика бензоколонки, на этой улице не было ни людей, ни магазинчиков, одни машины, плывущие бесконечным потоком, и по глазам заправщика я понял: было нечто общее во взглядах, в выражении лиц людей от двадцати до сорока лет, которые, нервничая, но стараясь сохранить уверенность и беспечность, обращались к нему с одним и тем же вопросом — как пройти в упраздненную клинику в час, когда визиты к больным еще не разрешены. Я снова пересек окружную дорогу и подошел к воротам клиники имени Клода Бернара, где уже не было ни сторожа, ни

проходной, а только объявление: больные, приглашенные в корпус «Шантмесс» (а именно туда велел мне пойти доктор Шанди), должны обращаться непосредственно к медицинским сестрам, корпус находится в глубине больничной территории, проход указан стрелками. Мокро, холодно, пусто, кругом разор и беспорядок, похоже, будто тут недавно побывали грабители, а теперь только разлохмаченные голубые занавески жалобно трепыхаются на окнах под порывами ветра.

Я шел вдоль заколоченных зданий кирпичного цвета, надписи на фасадах возвещали: «Инфекционные болезни», «Африканская эпидемиология», и так — до последнего корпуса, единственного, где горел свет и где за матовыми стеклами кипела жизнь, где без устали тянули из вен зараженную кровь. По дороге я не встретил ни души, если не считать одного негра, он заблудился и умолял сказать ему, где телефон. Доктор Шанди говорил мне, будто сестры в этом отделении весьма любезны. С ним — разумеется, когда он приходит в среду утром на консультацию. Я шел по выложенному плиткой коридору, переоборудованному в приемную для таких же, как я, бедолаг, они пристально поглядывали друг на друга и, наверное, думали: и у них, и у меня болезнь кроется внутри, пышет здоровьем только лицо. Попадались молодые, красивые, но в зеркале, вероятно, они видели не красоту свою, а смерть, а может, наоборот, смерть видели в чужих усталых взглядах, а сами, беспрестанно поглядывая в зеркало, пытались убедить себя — у них все в порядке, они здоровы, подумаешь, плохие анализы. И вот, проходя по коридору, в одном из боксов, где матовые стеклянные перегородки ниже человеческого роста, я увидел знакомый профиль, с этим человеком я однажды имел дело, — и тут же отвернулся, о ужас, неужели придется с ним обменяться понимающим взглядом людей, ставших теперь равными друг другу. Три медсестры по очереди, словно исполняя цирковой трюк, выглядывали то из нижнего, то из верхнего окошечка регистратуры и, торопливо листая списки, выкрикивали фамилии, выкрикнули и мою, есть стадия заболевания, когда хранить тайну уже не имеет смысла, эта тайна делается мерзкой и невыносимой; одна из сестер заговорила о новогодней елке; нельзя поддаваться ужасу, тогда всему конец, болезнь и болезнь, одна из разновидностей рака, теперь хорошо изученная благодаря успешным исследованиям. Я спрятался в одном из боксов, где берут кровь, поспешно закрыл за собой дверь и уселся в самое низкое кресло, боясь, как бы тот, кого узнал я, не узнал в свою очередь и меня, но медсестра каждую минуту открывала дверь, то уточняя мою фамилию, то предлагая мне перейти в другой бокс. Готовясь брать у меня кровь, она взглянула на меня необыкновенно мягко, взгляд ее говорил: «Ты умрешь раньше меня». Эта мысль помогала ей испытывать сочувствие и, не надевая перчаток, погружать иглу прямо в вену, предварительно пересчитав в кюветке пустые пробирки. Она спросила: «Вы на анализ перед АЗТ? Сколько времени уже наблюдаетесь?» Я подумал и ответил: «Год». Девятую пробирку она присоединила к вакуумному устройству и, взяв кровь, спросила: «Хотите, я принесу вам позавтракать — чашку растворимого кофе, хлеб с маслом и джем, ладно?» Я тут же поднялся со стула, но она испуганно усадила меня обратно: «Посидите немного, вы так побледнели, а может, все-таки позавтракаете?» Я хотел одного — уйти, ноги меня, ясное дело, не держали, но хотелось бежать сломя голову, так на бойне перебирает копытами лошадь с уже перерезанным горлом, бежит в никуда. Медсестры, словно артистки цирка, выглянув из своих окошечек, записали меня к доктору Шанди на утро 11 января. Выйдя на холод, я подумал: не хватает еще заблудиться здесь, в призрачной клинике, как тот негр, подумал — и стало смешно, хлопнешься в обморок в этой единственной во всем мире больнице, и неизвестно, сколько часов пройдет, прежде чем тебя

обнаружат и поднимут. Я старался идти по стрелкам, чтобы не заблудиться, но все-таки очутился у запертых ворот и расстроился, значит, придется идти обратно, искать выход. Проехал мотоциклист в закрывающей лицо каске, похожий на фехтовальщика. Я снова прошел мимо отделения СПИДа, мимо корпусов африканской эпидемиологии, инфекционных болезней, вокруг не было ни души — как выйти на улицу? А мне все время ужасно хотелось смеяться, болтать, позвонить поскорее тем, кого я люблю, все рассказать им, избавиться от гнета переживаний. Обедать я должен был со своим издателем и во время обеда обсудить выплату аванса по новому контракту; это дало бы мне возможность либо объехать вокруг света в реанимационной камере, либо пустить себе золотую пулю в лоб. Во второй половине дня я позвонил доктору Шанди и сказал, что утренний анализ показался мне нелегким испытанием. Он ответил: «Я должен был бы предупредить вас, да, вы правы, но я, знаете ли, ничего такого не замечаю, я прихожу туда раз в неделю по утрам. Сделать же анализ было необходимо, мне нужен результат, чтобы продолжить лечение». Я ответил: несколько не сомневаюсь в его необходимости, иначе доктор просто не отправил бы меня туда, но если возможно, я просил бы мои походы в пресловутую клинику сократить до минимума — мы и сами вполне можем решить наши проблемы. Обеспокоенный глухой угрозой, прозвучавшей при моем последнем визите, зная, что я еще не выбрал — самоубийство или работа над книгой, доктор Шанди пообещал мне сделать все возможное, чтобы избавить меня от тягостных впечатлений, однако выдает АЗТ только специальный контрольный комитет. Вечером я передал наш разговор Биллу, пообедав до этого с издателем и побывав в больнице у двоюродной бабушки. И Билл сказал: «Они, должно быть, боятся, что свой АЗТ ты кому-нибудь продашь, африканцам, к примеру». В Африке, поскольку это лекарство стоит очень дорого, средства предпочитают тратить на научные исследования, а больные подышают и все. 22 декабря мы и договорились с доктором Шанди, что я не пойду туда 11 января и он получит лекарство вместо меня, сделав вид, будто он — это я, в необходимости подобной подмены доктор был совершенно уверен, или во всяком случае уверял меня, будто он, врач, сможет обмануть бдительность контрольного комитета, выступив в роли пациента. Я должен звонить ему во второй половине дня 11 января и узнать, каковы результаты. Вот почему сегодня, 4 января, я говорю: мне осталась ровно неделя, чтобы набросать историю своей болезни. Какое бы известие ни сообщил мне доктор Шанди 11 января, хорошее или дурное, — однако, судя по всему, на хорошее рассчитывать не приходится, — сообщение его способно погубить мою книгу, уничтожить ее на корню, свести на нет все мои усилия, разом зачеркнуть пятьдесят семь написанных мною страниц, прежде чем я вдребезги разнесу свой череп.

В 1980 году у меня был гепатит. Жюль заполучил его от англичанина по имени Бобо и наградил меня, а Бертю едва удалось спасти при помощи гамма-глобулина. В 1981-м Жюль ездил в Америку, в Балтиморе стал любовником Бена, в Сан-Франциско — Йозефа, вскоре после того как Билл впервые сообщил мне о существовании этой болезни, — если разговор уже не произошел в конце 80-го. В день моего рождения в декабре 81-го, дело было в Вене, Жюль у меня на глазах трахнул Артура, курчавого блондинчика-массажиста, которого подцепил в сауне, кожа у того была вся в каких-то пятнах и болячках. На следующий день я записал в дневнике, в общем-то не особенно задумываясь, ведь тогда еще не очень верилось в реальность бедствия: «И одновременно мы заражались друг от друга болезнями. Если бы возможно было, заражались бы и проказой». В 1982 году в Амстердаме Жюль сообщил, что зачал ребенка, которого хочет назвать Артуром, потом там все кончилось выкидышем, но тогда известие меня страшно потрясло, и я умолял его, заливаясь слезами в амстердамском ресторанчике, при свечах, чтобы мое тело он наполнил противоборствующей силой, «черным семенем», как повторял я ему; никаких особых последствий мои мольбы не возымели, я-то хотел покорного служения, побоев, муштры, хотел стать его рабом, а вышло наоборот, и временами он становился моим рабом. В декабре 1982 года в Будапеште, куда Жюль приехал поклониться праху Бартока, я переспал с америкашкой по имени Том из Каламазу, который называл меня «Малышок». В 1983-м я съездил в Мексику, у меня был абсцесс в горле, а у Жюля воспаление лимфатических узлов. 1984-й — измена Марины и моего издателя, смерть Мюзиля и обеты, принесенные в Японии в Храме Мхов. В 85-м не произошло ничего, что имело бы отношение к этой истории. В 86-м умер кюре. В 87-м у меня был опоясывающий лишай. В 1988-м я окончательно понял, что болен, и три месяца спустя чудесная случайность убедила меня, будто я выздоровел. Вся эта хронология, определяющая и, словно вехи, расставляющая признаки моей болезни, занимает примерно восемь лет. А теперь известно, что инкубационный период, так по крайней мере сказал мне Стефан, длится от четырех с половиной до восьми лет и что физиологические травмы для этой болезни не менее значимы, чем сексуальные отношения, а всевозможные предчувствия — не менее значимы, чем обеты и заклинания. Да, эта хронология и стала основой моего повествования, если только движение вперед не порождает хаоса.

Когда в октябре 83-го я вернулся из Мексики и у меня начало нарываться горло, я не знал, к кому обратиться. Доктор Нокур не ходил на дом, доктор Леви умер, ни о докторе Ароне после истории с дисморфофобией, ни о докторе Лериссоне, который засыпал бы меня шариками, тоже не могло быть и речи. Я решил пригласить молодого ассистента доктора Нокура, он прописал мне антибиотики, и три-четыре дня я исправно их пил без всякого толку, нарыв все увеличивался, из-за дикой боли я не мог глотать и почти ничего не ел, кроме жидких продуктов, ими снабжал меня Густав, он был тогда проездом в Париже. Жюль занят, едва лихорадка его отпустила, он взялся за трудоемкую работу в театре. Страшная язва разъедает мне горло, терзает еще и воспоминание о поцелуе на танцплощадке «Бомбей» в Мехико: старая шлюха, удивительно похожая на влюбленную в меня итальянскую актрису, ровесницу моей матери, просунула мне чуть ли не в горло свой язык, словно ужа, тесно прижавшись ко мне на освещенной танцплощадке «Бомбей»; сюда притащил меня американский продюсер, набиравший шлюх для фильма по любимому роману Мюзилы «У подножия вулкана»; перед отъездом он дал мне с собой свою книгу, растрепанную, с пожелтевшими страницами. Шлюхи, от самых молоденьких до старух, подходили к столу своего хозяина по прозвищу «Злодей» поглядеть на меня поближе, потрогать, а то и утащить на танцплощадку, и все потому, что я блондин. Они со смехом липли ко мне, со смехом или со стоном, как та пахнувшая румянами старуха, казавшаяся мне воскресшей итальянской актрисой, которая когда-то любила меня; они протягивали мне губы и шептали, что со мной они готовы задаром в любой комнатухе на этаже, а все потому, что я блондин. Правительство прикрыло старые бордели, где проститутки прогуливались во внутренних двориках, а двери выходили в длинный коридор, здесь в нише с подсветкой стояла статуя Пресвятой Девы. Закрытые, охраняемые полицией дома терпимости были срочно заменены огромными дансингами на американский лад. За несколько дней до этого я имел несчастье заглянуть в заведение гомосексуалистов; свел меня туда один мексиканец, приятель Жюля, и тамошние мальчишки точно так же выстроились передо мной в очередь, посмотреть, а кто посмелее — и потрогать, на счастье. Старая шлюха сделала то, чего я не позволил итальянской актрисе: без предупреждения просунула язык мне в горло, и теперь, на далеком расстоянии, я все глубже чувствовал его болью моего нарыва, словно прикосновение раскаленного добела железа. Старуха поняла, что до смерти меня напугала, извинилась, погрузилась. Вернувшись к себе в гостиницу на улице Эдгара Аллана По, я тер язык мылом и гляделся в зеркало, а потом сфотографировал свое странное лицо, искаженное хмелем и отвращением. К вечеру в воскресенье, когда боль сделалась невыносимой и довела меня до слез, растерявшийся Густав не смог найти ни одного из моих врачей, и я наконец согласился, чтобы он позвонил домой доктору Насье. Насье был скорее приятелем, как врача я его никогда не воспринимал. Тот велел мне немедленно прийти, осмотрел горло, высказал предположение — сифилитический шанкр, прислал мне на следующее утро сестру взять анализ крови и мазок, желая точно определить микроб или бактерию и подобрать соответствующий антибиотик. Быстрота действий и любезность доктора Насье, который, не в пример другим врачам, прописал мне анальгетики и мгновенно покончил с моей болью, убедили меня в его профессиональном умении, и, поскольку его кабинет был недалеко от моего дома, я стал заходить к нему два-три раза в неделю, ибо решил постоянно

наблюдаться у него. Я заходил к нему уже будучи без сил, чуть ли не при смерти, но мало-помалу, совершенно измотав доктора своими частыми посещениями, сам почувствовал себя значительно бодрее. Настроение доктора зависело от меня, а я, здорово развеселившись после привычного визита к нему, отправлялся полакомиться эклерами с шоколадным кремом и яблочными слойками в соседнюю кондитерскую. Доктор Насье внезапно признался мне, что прошел проверку на СПИД, результат оказался положительным, и он тут же оформил профессиональную страховку; позже он скажет, что заразился от пациента — тогда еще мало знали об этой болезни, подобные жульничества сходили с рук, — и получит солидную сумму, чтобы спокойно и без забот дожить последние дни на Мальорке.

«Театро колониаль» на площади Гарибальди в Мехико заворожил меня зрелищем мужчин, взволнованных женским естеством, жаждущих в нем утолить свою жажду — как приподнимались они на руках над креслами, как яростно дрались и отпихивали своих же дружков и прочих старых греховодников, пробиваясь вперед, туда, к подмосткам, где в луче света не спеша, одна за другой шествовали женщины и выбирали мужчину, которому будет позволено уткнуться лицом между их раздвинутых ног. Я сидел в стороне на деревянной лавке и все глубже вжимался в нее, чувствуя грозную радость бушующей передо мной стихии, первозданной и самой прекрасной в мире: мужчины причащались, лобызая женское лоно, рвались к нему с юной страстью, все, даже старшие, а я упивался их лицезрением, сердце у меня бешено колотилось, мне хотелось сделаться невидимкой, чтобы меня не выбрала какая-нибудь виртуозка стриптиза: ведь если к этому треугольнику припаду я, то погибну вконец, не видать мне больше белого света; раздеваясь на ходу, девица теперь приближалась ко мне, смеясь над моим испугом, превращая меня в посмешище для остальных молодых людей, готовясь присесть на корточки перед самым моим носом, взять обеими руками мою кудрявую, светловолосую голову — единственную среди моря смоляных — и сдавить ее так, чтобы рот приоткрылся и я оказал честь боготворимому мужчинами лону, разделил бы жажду тех, кто утолял ее прежде, и тут вдруг дали полный свет, королева стриптиза от неожиданности вздрогнула, подхватила с соседнего стула накидку, а служители стали выгонять молодежь, будто стадо, но не кнутами, а свистками, а у нее, и жаждущей и вместе с тем пресыщенной, пыл разом пропал, подобно оптической иллюзии — иллюзии, подаренной мраком, и в ярком свете юноши превратились в усталых работяг в потертой, поношенной одежде; так и мерещились рядом с ними съезжившиеся в креслах бессловесные жены.

Не сразу, неспешно завладевает нашим телом нечеловеческая усталость, собачья, обезьянья, заставляя желать одного — поскорее закрыть глаза, превращая все, даже дружбу, в непосильную ношу и оставляя ему только сон. Эта чудовищная усталость проистекает из крошечных лимфатических узелков, кольцом обнимающих мозг, защищающих его, подобно тонкому обручу, узелки есть еще и на шее, подчелюстные, рядом с барабанными перепонками, вирус осаждает их — и лимфа гибнет, забивая собою сосуды; глазные яблоки жжет утомление донельзя истощенной защитной системы. Моя книга борется с усталостью, которую накапливает мой организм, в свою очередь борясь с наступлением вируса. Сил мне отпущено на четыре часа в день, начиная с той минуты, когда я раздвигаю тяжелые шторы на окнах; окна — потенциометры моего гаснущего напряжения, я раздвигаю шторы, впускаю в комнату свет и сажусь за работу. Вчера к двум часам дня силы мне изменили, ни на что я не был способен, выпит изнуряюще жизнедеятельным вирусом, результаты его действия поначалу схожи с признаками сонной болезни или мононуклеоза, который называют еще «болезнью затраханых», но я не хотел поддаваться и снова набросился на работу. Книга, рассказывая о моей усталости, заставляет о ней забыть. Но каждая фраза, вырванная из моего мозга, — ему грозит вторжение вируса, если только лопнет лимфатический обручик, — добавляет мне усталости, и мне еще больше хочется закрыть глаза.

В самом деле, уже несколько дней я не прикасался к книге, хотя решил именно сейчас рассказать историю своей болезни. Время я проводил в мучительном ожидании нового приговора, вернее, не совсем нового, суть его мне была известна в мельчайших подробностях, однако я делал вид, будто ничего не знаю, даже попросил доктора Шанди способствовать моему мнимому неведению, намекнув, что хотел бы иметь возможность обманываться и дальше, сохранить, таким образом, надежду, пусть и призрачную. Но сегодня, 11 января, в день ожидаемого приговора, я сижу и кусаю локти, ничего не зная о том, что знаю давным-давно: я звонил доктору Шанди и не смог дозвониться, он должен был получить сегодня с утра мои анализы в клинике имени Клода Бернара, как и обещал в конце прошлого года по телефону и записал это в новый ежедневник на нужной странице, собираясь сыграть разом две роли, врача и больного, во всяком случае уверив меня, будто непременно их сыграет, обманет медсестер, назначивших мне именно этот день. Но ведь по средам доктор Шанди не консультирует, я не мог дозвониться к нему в кабинет — и 11 января, в день, которого дожидался с 22 декабря, понимая, что точно буду знать результат, остался в полном неведении, а накануне мне как раз приснилось: никаких результатов анализа я не получил, но только по иной причине. Я, как и договорились, якобы дозвонился доктору Шанди, поздравил его с Новым годом, а он, едва ответив на мои поздравления, очень неприятным тоном, видно, занят своими делами, говорит, что ему некогда со мной разговаривать, я мог бы позвонить в другое время, а не тогда, когда он осматривает больного; однако пренебрежение к себе я могу истолковать и как добрый знак — выходит, мне нет никакой необходимости немедленно мчаться в Париж, поскольку я задумал смехотворную драму — посещение родных мест — в тот самый момент, когда всего естественнее было бы сидеть в Париже вместе с друзьями или отправиться, как сделал бы каждый больной на моем месте, за анализом в назначенный срок, чтобы сразу получить лекарство, единственное на свете лекарство, которое поможет мне преодолеть немислимую слабость. Но доктор Шанди во сне говорит, будто приезжать в Париж нет никакой необходимости, говорит это мне потому, что по моим анализам понял всю безнадежность моего положения и теперь надеется только на быструю кому. Два дня тому назад, а родители известили меня об этом вчера, у моей сестры родился сын, она решила назвать его Эрве, хотя ничего не знает пока о моей болезни и даже, может быть, близком конце, но, вероятно, что-то чувствует и хочет мне сделать сюрприз. Родители сообщили мне новость, когда мы на Рождество обедали у нашей двоюродной бабушки Луизы, а до этого я съездил в больницу к двоюродной бабушке Сюзанне. Сестре даже пришло в голову назвать сына Эрве Гибером, ведь она опять взяла девичью фамилию, поскольку новоиспеченный отец не горел желанием дать ребенку свою, а мне-то моя сестра всегда казалась уравновешенной и благополучной. В последнее время против ожидания, а также невзирая на ультиматум, который сам себе предъявил, я оставил в покое повествование о своей болезни и правил с утра до ночи предыдущую рукопись. Давид не одобрил ее, а ведь я проник на завоеванную им территорию и никогда бы не написал обо всяких кровавых ужасах, не познакомься я с ним и не начитайся его книг. Он назвал меня недостойным учеником, а книгу, которую я писал с 15 сентября до 27 октября, обуреваемый страхом, что мне ее не кончить, — всего лишь заготовкой; все триста двенадцать страниц машинописи он гневно исчеркал, и когда я

увидел его пометки, а потом, работая, начал стирать их с полей, мне было по-настоящему больно. Давид не понял — едва я узнал о близости смерти, захотелось написать все возможные на свете книги, которые я еще не написал; пусть даже плохо, но все-таки написать, и злую, смешную, и философскую, столкнуть их все на сужающийся край времени и вытолкнуть прочь само время, записать и молниеносные романы моей преждевременной зрелости, и медленно созревающие романы моей старости. Но два последних дня перед звонком доктору Шанди, пропахав от начала до конца все триста двенадцать страниц старой рукописи, я уже ничего не делал, только рисовал.

В последнее время Жюль, подобно доктору Шанди, был обеспокоен не столько моим физическим, сколько душевным состоянием, и, раз уж здесь, в Риме, я обрек себя на одиночество, дал мне совет: «Займись-ка живописью». Я уже подумывал об этом с тех пор, как в торгующем книгами по искусству магазине на виа ди Рипетта — это напротив школы, я иногда прохожу мимо, не задерживаясь, лишь рассеянно следя за царящей здесь оживленной суетой; притягивают меня, скорее, чары молодости, нежели она сама, ибо мне нравится лавировать в этой толпе, а то и, свернув чуть в сторону с намеченного пути, отдаваться во власть стихий юных, не ища ни с кем из них контакта, теперь я испытываю к ним лишь платоническое влечение, бессильную страсть, словно призрак, уже не способный к желанию, — итак, стоя у прилавка и перелистывая альбомы по искусству, в каталоге выставки итальянской живописи XIX века, что проходила в миланском Палаццо Реале и закрылась совсем недавно, я наткнулся вдруг на репродукцию картины некоего Антонио Манчини. Изображала она облаченного в траур юношу; его черные кудри были взерошены, это слегка нарушало строгую гармонию одежды — черный камзол с кружевными манжетами, черные чулки, черные туфли с пряжками и черные перчатки; перчатка на руке, в отчаянии прижатой к сердцу, разорвалась, запрокинутая назад голова касалась желтой, в прожилках, стены дома, обрывавшей перспективу, отделанный под мрамор фриз хранил страшные следы пожара, другой рукой юноша опирался на каменную кладку, как бы отталкивая ее силой страдания или надеясь вдавить свою боль в камень. Картина называлась «После дуэли»; на заднем плане, в правом нижнем углу, белела мужская рубашка в пятнах уже запекшейся крови, ткань хранила отпечаток руки, сорвавшей ее с тела; рубашка болталась на едва выглядывавшем наружу кончике шпаги, словно саван или сорванная кожа. Понять, каков сюжет картины, было невозможно, казалось, художник намеренно — мне всегда это нравилось — окружает ее завесой тайны. Кто же герой — убийца невинного человека, которого нам не дано увидеть? очевидец? брат? любовник? сын? Удивительное полотно вдохновило меня на поиски недостающих сведений в библиотеках, в книжных магазинах, в букинистических лавках. Я узнал, что Манчини написал картину в двадцатилетнем возрасте. Позировал ему некий Луиджиелло, сын неаполитанской привратницы; художник часто изображал его в серебристом трико паяца, на украшенной павлиньими перьями венецианской гондоле, рядом с Пульчинеллой, лукавым мечтателем, воришкой, музыкантом, канатным плясуном; Манчини обожал Луиджиелло и взял его в Париж на свою первую большую выставку, но вскоре по требованию родни отослал юношу назад в Неаполь, после чего благодаря стараниям все тех же родственников, действовавших из благих побуждений, угодил в психиатрическую лечебницу, откуда вышел уже полностью раздавленным — в дальнейшем Манчини не писал ничего, кроме стандартных портретов богатых буржуа. Внезапное увлечение чуть не подвигло меня на занятия живописью, то есть на беспомощные попытки передать таким образом свое восхищение; я полагал, будто посредством бесконечного копирования — по памяти, по репродукции или оригиналу — пресловутой картины Манчини «Doro il duello», находившейся в вечно закрытой на ремонт Галерее современного искусства в Турине, — при помощи живописи и одновременно своей неспособности писать — определю точки соприкосновения с картиной, а также отделяющее меня от нее расстояние и благодаря неустанному исследованию ее целиком постигну ее

тайну. Разумеется, я сделал нечто противоположное, моя мечта о живописи обернулась несравненно более скромным занятием: по совету единственного знакомого мне художника я стал рисовать, поначалу выбирая самые простые предметы, — например, бутылки чернил, — а затем, прежде чем взяться за изображение человеческих лиц, — кто знает, может быть, совсем скоро мне предстоит нарисовать и свое собственное перед смертью, — я начал делать наброски ритуальных восковых головок детей, которые привез из Лиссабона.

Манчини завещал похоронить его, положив в гроб кисть и «Руководство» Эпиктета; в желтом томике издательства «Гарнье — Фламарион» оно напечатано после сочинения Марка Аврелия «Наедине с собой»; за несколько месяцев до смерти Мюзиль достал с полки томик в глянцевой обложке — это была одна из любимых его книг — и дал мне, рекомендуя прочесть для самоуспокоения, — в то время я был совершенно издерган, потерял сон и даже вынужден был, по совету моей знакомой Коко, решиться на сеансы иглоукалывания в больнице «Фальгьер»; врач с китайской фамилией уложил меня в одних плавках под продуваемый насквозь навес и воткнул мне в макушку, локти, колени, в пах и пальцы ног длинные иголки, они покачивались в ритме моего пульса, и скоро на коже появились подтеки крови, которые врач даже не вытирал; этому-то человеку с обведенными траурной каймой ногтями я два-три раза в неделю вверял свое тело, хотя и отказался от дополнительных внутривенных инъекций кальция, — пока в один прекрасный день меня не передернуло от отвращения: я увидел, как он опускает грязные иголки в банку с мутным спиртом. Марк Аврелий, как объяснил мне Мюзиль, давая мне книгу, начал работу над своим сочинением с похвального слова предкам, членам семьи, наставникам — воздал хвалу каждому в отдельности, и в первую очередь усопшим, за все, чему они его научили, за благо, которым одарили на всю жизнь. Самому Мюзилю суждено было умереть через несколько месяцев; он сказал мне тогда, что в ближайшее время собирается составить в таком же духе похвальное слово мне — а ведь я, конечно же, ничему не мог его научить.

Я был в Мексике, когда Марина начала репетировать в театре; едва я вернулся, слухи о ее неудаче дошли и до меня. Она наделала массу ошибок: подгоняла весь спектакль к роли, которую выбрала из упрямства, по всей Европе разыскивала подходящего режиссера, знаменитые постановщики отказывались от абсурдной затеи, прославленные актеры тоже, — а ведь замыслом был предусмотрен именно дуэт звезд. Неприятности не заставили себя ждать: Марине, видимо, пришлось выгнать никуда не годного режиссера, он к тому же запил; бездарь-партнер, второразрядный актеришка, все больше хорохорился — заметил, что из-за неурядиц она хуже играет, и до сладострастия наслаждался тем, что может унижать звезду, кичившуюся талантом, на самом же деле никакого таланта, все это скоро заметят, у нее нет в сравнении с его актерским гением, взращенным на театральных подмостках, а не где-нибудь на страницах женских журналов. Премьера и вовсе смахивала на крестную муку. Марине не удавалось войти в роль, ее сбивали с толку технические трюки партнера — тот двигался по сцене, как ему заблагорассудится; к тому же, якобы стремясь правдоподобнее изобразить ненависть героя к героине, он просто измывался над Мариной, чуть не дошел до рукоприкладства, а в конце и вовсе поднял ее на руки и бросил на пол. Марина потеряла надежду мало-мальски прилично доиграть спектакль, рисунок роли погубили замена постановщика, коварство партнера, да еще и вечные комплексы Марины: она уже была близка к помешательству. Марина обратилась к одному романисту, который ждал тогда обещанной ему Гонкуровской премии, — как это всегда бывает, и сейчас, шесть лет спустя, он все еще ждет ее, видимо, полагая, что все написанное им достойно этой награды, хотя с тех пор способен на один-единственный подвиг — за три месяца до присуждения премий огласить название якобы написанной им книги, а ее и в помине нет; издатель уже начинает рекламировать новый опус, разворачивает кампанию в прессе и узнает — правда, слишком поздно, — что кроме названия автор ничего не сподобился сочинить, — и вот этого отчаявшегося пройдоху Марина попросила собрать для нее материалы по проблеме женской истерии, для работы над ролью. Марина, бедная, беззащитная звезда, оказалась одна в целом мире, одна против ополчившихся на нее злодеев, — после огромного успеха в кино ей мстили, мстили за сотворенный ими самими мираж. Отец ее сына, Ришар, снимал какой-то фильм в пустыне и каждый день присылал ей по длинному письму; он рассказывал, как созерцает звезды в чистом небе пустыни, как бессонными ночами читает Гастона Башляра. Сумка Марины была набита его смятыми письмами, она их без конца перечитывала.

Директриса театра, где ставился спектакль, перед премьерой подарила ей бриллиант. Но эта деловая женщина и думать не думала о том, что роль Марину измучила, что она была на грани нервного срыва, директрису волновало одно: появится ли в первом ряду партера принцесса Монакская, прославленный артист балета или знаменитый модельер — все они были приглашены на публичное издевательство. Зрители громко аплодировали, но про себя посмеивались. Назавтра они принялись бойко распространять слухи, совпадавшие с несправедливым приговором критиков: Марина-де была похожа на бешеную обезьяну, вопила, металась по сцене, будто по клетке. Лавры достались толстому хряку, ее партнеру, он на самом деле — я видел спектакль по возвращении из Мексики — подло использовал промахи в игре звезды и за кулисами даже не разговаривал с нею. Директриса-садистка упивалась критическими статьями и развешивала их в коридорах театра, радуясь, что места

забронированы на все спектакли; она дежурила у двери в Маринину уборную, не допуская к ней друзей и позволяя туда врываться лишь самым назойливым поклонникам, чтобы усилить у Марины ощущение одиночества и тем самым подтолкнуть ее к срыву, последнее непременно послужило бы прекрасной рекламой. Я не побоялся стычки с директрисой и после спектакля пригласил Марину на ужин. Не заговаривая ни о пьесе, ни о трактовке роли — тут даже при хорошем к ней отношении комментариев не требовалось, — я посоветовал любым способом прекратить изнурявшие ее выступления. Она сама думала об этом, но как выкрутиться, как избежать выплат по страховым полисам на сотни миллионов, вложенных в постановку? Марина заявила, что готова вырезать аппендицит, лишь бы избежать катастрофы. На следующий день она проконсультировалась с доктором Лериссоном, и тот ответил: в операции нет необходимости, можно придумать другой выход, например, обнаружить по анализам инфекционное заболевание. Еще через день Марину срочно отправили в больницу в Нейи, спектакли были отменены, одни органы печати были обеспокоены состоянием здоровья Марины, а другие, по наущению директрисы театра, заинтересовались причинами ее внезапного исчезновения; хищные фотографы газеты, публиковавшей скандальные сообщения, прорвались в ее палату — вспыхнули блицы, Марина с криком забилась под одеяло, — после этого вторжения пришлось поставить у ее дверей охрану. Я пришел навестить больную, принес отрывки своего сценария для фильма, в котором Марина хотела сниматься; она жадно проглатывала одну страницу за другой и складывала их на ночном столике, мы смеялись; в тот день, помню, запястья у нее были забинтованы, и я сказал, что хотел бы написать с нее вариант портрета святой Терезы Марии Эмерих кисти Габриэля фон Макса — светящейся насквозь, воздушной, в прозрачном покрывале, скрывающем стигматы на лбу и венцом лежащемся вокруг чела; и руки у Марины были забинтованы точно так же, как у святой. Я спросил ее, не симуляция ли это на потребу прессе. Нет, отвечала она, ей делали переливание крови.

Я писал сценарий, конечно же, думая о Марине, она послужила прототипом главной героини, я позаимствовал и другие ее черты, в частности нервный характер, на съемочной площадке нервы у нее всегда были на пределе, не забыл и о мании то обожествления, то неприятия собственного облика: она либо окружала себя мириадами своих фотографий — звезда терпеливо, подобно муравью, созидала памятник себе самой, — либо, желая все истребить, обрушивалась на фотонегативы с ножницами и иголками; в конце фабула обретала ужасающий символический смысл — таков был замысел сценария: героиня сгорала живьем в свете прожекторов, их смертоносные лучи испепеляли ее дотла. Чтобы Марину не задело сходство с моей героиней, я вынужден был заявить — играть эту роль она, разумеется, не должна. И все же я испытывал некоторую неловкость, ибо использовал факты ее биографии без предупреждения; и тогда я решил честно показать ей сценарий, надеясь, впрочем, услышать ее замечания. Пакет я опустил в ее почтовый ящик, и Марина позвонила мне вечером того же дня: текст она нашла просто великолепным, хотя некоторые детали вызвали у нее сомнение, и намерена непременно сыграть в фильме главную роль. Я был ошеломлен, потрясен и безумно рад, что Марине понравилось, — значит, мы почти без труда найдем продюсера, но вместе с тем меня тревожила неуравновешенность ее характера, это могло значительно усложнить дело. В то время, случайно прочтя одну статью, а недостающие сведения позже откопав в научных изданиях, я узнал о существовании недавно открытого астрономами и называемого «черной дырой» небесного тела — то есть космической массы, обладающей свойством поглощения, а не рассеивания материи, она пожирала самое себя по закону самодовлеющей системы истребления, пожирала собственные края и тем увеличивала негативный периметр; астрономы окрестили новую «черную дыру» Гемингой — это имя я и дал своей героине. Кинооператор Ришар, отец Маринино сына, вернулся из пустыни; он, как возлюбленный Марины, разумеется, стал у меня прототипом главного героя, по долгу дружбы я дал ему прочесть текст; Ришар вернул мне сценарий, заметив: ну и ну, похоже, за ним годами шпионили, а он ничего не подозревал и вдруг обнаружил микрофон, который я вмонтировал ему в ботинки пять лет назад. Мы с Мариной несколько раз встречались и работали над сценарием, она заставила меня изменить кое-какие фамилии, переписать ряд сцен, убрать одни, добавить другие, а потом подтвердила согласие сниматься и дала обещание — в присутствии свидетелей, коллег-кинematографистов, — вложить свои деньги в производство. Так был запущен наш злополучный фильм; сразу же, привлеченные именем Марины, нашлись продюсерша, прокатчик, организовали передачу по телевидению. Но Марина не позволила мне продать сценарий, хотя тогда я очень нуждался в деньгах и собирался покончить с журналистикой, основным своим средством к существованию: она считала необходимым для нас сохранить полную свободу в работе над столь дорогим ее сердцу фильмом. Однажды вечером я провожал Марину в театр — мы ехали в автобусе, мне не удалось поймать такси, а до начала спектакля оставалось совсем мало времени, — и тут признался ей, что в финансовом отношении довольно уязвим и не смогу долго отстаивать эту независимость. Она странно на меня посмотрела. Марина, получавшая гонорары по три миллиона, как рассказывал мне Ришар, без конца занимала у него деньги; впрочем, он и сам то и дело просил у меня, человека без гроша в кармане, в долг. Разговор с Эжени, моим тогдашним директором-

распорядителем, происходил в самолете, мы возвращались из Нью-Йорка, там ей удалось наконец добиться согласия одного бизнесмена на финансирование журнала по проблемам культуры: я ответил, что не смогу поступить на службу в ее редакционную группу и стать одним из основных сотрудников, как она просила, — все мое время поглощала подготовка к съемкам. Я почти совсем перестал писать в газету и, поскольку жил только на гонорары, оказался в затруднительной ситуации. Обсуждая замысел с продюсерами и прокатчиком, мы ворочали сотнями миллионов на бумаге; суммы, добываемые нами на финансирование фильма, росли, а мой банковский кредит истощался. Из больницы Марина вышла, интерес к скандалу давно пропал; она подала в суд на своего партнера, а директриса театра — на нее.

Я увидел Марину в начале марта на церемонии присуждения «Оскаров»: она появилась там в безобразном наряде белого цвета, увешанная жемчугами, со старушечьим шиньоном. Марина ковыляла на высоченных каблуках, в слишком узком платье и напоминала пьяную Мей Уэст, а ведь ей не было еще и тридцати, — такой наряд принесет ей несчастье, сказал я себе, теперь, после провала в театре, придется подставить и вторую щеку, ведь соперница, которая без репетиций заменила ее в театре и также оказалась в числе претенденток на премию, своего не упустит. Но все же Марина появилась на этой злополучной церемонии, стало быть, «Оскар» ей гарантирован. На том же торжестве я получил премию за лучший сценарий, и Мюзиль, смотревший передачу по телевизору, говорил, будто вид у меня сделался «страшно довольный». Я был и вправду доволен; Марина потащила меня за собой в гущу проныр-репортеров, и перед теми же фотографами, что не так давно ломались в дверь ее больничной палаты, великолепно разыграла сцену своего триумфа: плача от радости, звонила матери, в свете вспышек ярко блестели ее слезы, и эту радость разделяли с ней собравшиеся у телефона повара от Фуке, как и я, опьяненные удачей — возможностью сфотографироваться рядом со звездой. Через пару дней мы с Мариной собрались поужинать вместе, наедине. По телефону я попенял ей, что в своих интервью она ни разу не упомянула о нашем совместном проекте, и Марина измученным, раздраженным и умоляющим голосом попросила меня немного потерпеть. Я заказал столик в индийском ресторане, но за час до встречи она ее отменила через секретаршу. В течение нескольких дней я не мог застать Марину дома и как-то позвонил вечером — она никогда не стеснялась названивать мне поздно, даже ночью. Кто-то моментально снял трубку; стараясь не дышать громко, я попытался заговорить — трубку тут же повесили. Я лежал в постели, и вдруг этот явный симптом предательства пронзил меня до самых печенок, кровать поплыла, закружилась пыточным колесом, казалось, Марина намеренно его подгоняла. На следующий день мне удалось поймать Ришара, и он под большим секретом сообщил мне причину резкой перемены: у Марины начался роман с одним американцем, бездарным актером, зато мультимиллионером, и в обмен за брачный контракт тот обещал ей контракт на три главные роли в американских фильмах, о чем она давно мечтает. Ришар с досадой спросил, что я об этом думаю, и я ответил буквально следующее: «Она довольно скоро вернется оттуда, потерпев полное фиаско», — а потом, помню совершенно точно, добавил: «Словно попав в аварию». Я не верил, будто Марина подписала контракт, хотя она, видимо, для очистки совести и со свойственным ей эгоизмом сообщила о его заключении письмом, посланным через агента на следующий же день после своего отступничества; с этой минуты мне пришлось выкручиваться: что-то объяснять продюсерам и прокатчикам, с которыми я был связан деловыми обязательствами, предлагать им вместо Марины других исполнительниц на главную роль, что, разумеется, их совсем не устраивало. Сумма, предоставляемая мне

банком в кредит без перечисления, возрастала день ото дня, угроза финансового краха уже нависла надо мной, и все же я как одержимый сопротивлялся возврату в журналистику, не мог покорно подставить шею под нож гильотины; тогда-то я и решил полностью опубликовать свой дневник — к тому времени в трех его тетрадах уместилось описание всех постигших меня злоключений; надо было отнести эти тетради издателю, уже опубликовавшему пять моих книг, и договориться с ним о гонораре. Я не осмеливался просить у него аванс, не мог и заговорить со своей продюсершей о ссуде. «Никогда не влезай в долги, — говорил мне Мюзиль, — иначе тебя сожрут с потрохами». За несколько месяцев до смерти Мюзиль настойчиво предлагал мне деньги в долг, но в силу обстоятельств я никоим образом уже не смог бы их вернуть.

Когда я положил дневник на стол издателю, славному малому, — он выпустил пять моих книг, но каждый раз заставлял подписывать договор на следующий же день по представлении рукописи, не давая прочесть ни одного параграфа, — это, дескать, типичный контракт и я могу полностью доверять ему, — то услышал, что у него нет времени читать рукопись в четыреста машинописных страниц, хотя он всегда просил меня написать большую книгу, настоящий традиционный роман, без экспериментаторства, ведь критики нынче слишком отупели и не рецензируют книги, лишённые стройного сюжета, они просто не способны их понять и в итоге не пишут рецензий вообще, а если история хорошо закручена, можно по крайней мере рассчитывать, что они кратко изложат содержание в своих статьях, коль скоро иного ждать не приходится, вот и поищи такого идиота, чтобы согласился прочесть дневник в четыреста страниц; к тому же набранная книга может оказаться чуть ли не вдвое больше по объёму, не забудьте о затратах на бумагу, вот и получается книга ценой франков в сто пятьдесят, но, друг мой, кто же отдаст сто пятьдесят франков за написанную вами книгу, не хочу быть жестоким, но последнее ваше творение оказалось не слишком ходовым, хотите, я сейчас же запрошу цифры у бухгалтера? За два года этот человек продал около двадцати тысяч экземпляров моих книг, не уделив им ни единой строчки рекламного текста, и вот теперь обстоятельства вынуждают меня вновь трепетать перед ним, даже не из-за аванса — он задолжал мне процент от реализации книги; однако издатель парирует: «Зарубите себе на носу, что я вам не добренький папочка!»

На следующий день после присуждения «Оскар» Жюль — он смотрел церемонию по телевизору и, наверное, досадовал, ведь я его туда не пригласил — пришел стричь меня. Обычно он справлялся с этим неплохо, но тем воскресным утром, не предупредив, не посоветовавшись со мной, снял почти всю шапку белокурых кудрей, делавших меня похожим на круглолицего ангелочка; стрижка внезапно обнажила худое, усталое, осунувшееся лицо, высокий лоб, горькую складку у губ — облик, чужой и для меня самого, и для окружающих, многие пришли в ужас, увидев меня таким, и принялись, кто более, кто менее яростно, обвинять меня: до сих пор я-де злоупотреблял их доверчивостью, притворяясь кем-то иным, в действительности я не тот, кого они любили; в первую очередь — сам Жюль, затем — в редакционном кабинете — Эжени; та вскрикнула от ужаса и заявила, что у меня теперь вид злодея; и наконец, Мюзиль — он открыл мне дверь, и его словно обухом по голове хватило, надо было подождать, привыкнуть, оправиться от удара, ведь еще накануне меня показывали по телевизору с обычной прической. Сегодня я рад, Мюзиль увидел меня таким, каким я буду к тридцати годам, а если заглянуть чуть дальше — и на смертном одре. Я счастлив, благодаря Жюлю Мюзиль успел застать меня настоящим мужчиной, которому не сегодня-завтра стукнет тридцать, и в тот день, поборов испуг и оторопь, Мюзиль по доброте душевной сказал, что новый, подлинный облик предпочитает некогда очаровавшему его: точнее, новый кажется ему более естественным, ярче выражающим сущность моего характера, нежели прежний — очаровательная головка кудрявого ангелочка. В конце концов он заявил, что восхищен поступком Жюля, и даже радостно захлопал в ладоши — вот таким был Мюзиль, мой незаменимый друг. Тогда он просил найти ему нотариуса; я обратился к Биллу, недавно составившему завещание в пользу своего юного возлюбленного, с условием, что сам он «не умрет насильственной смертью», — так он хотел оградить себя от убийства. Мюзиль ходил к нотариусу и вернулся в замешательстве: он, конечно, собирался все завещать Стефану, однако нотариус пояснил — наследование от мужчины к мужчине без законных на то оснований при существующем порядке налогообложения обернулось бы против Стефана; лучше Мюзилю обратить свой капитал в дорогие картины, после его смерти можно тайком перевезти их из одной квартиры в другую. В тот день, провожая меня, Мюзиль послал мне прощальный воздушный поцелуй и, трогательно улыбнувшись, сказал: «Кстати, я не забыл оставить и тебе кое-что».

Марина уехала в Соединенные Штаты; писем от нее не было, только на страницах газет, печатавших скандальные новости, появлялись нечеткие, размытые фотографии: она разгуливала по Лос-Анджелесу в темных очках, за ручку со своим престарелым красавцем, но я между прочим заметил — держась за ненавистную мне руку, Марина не снимала перчаток, белых батистовых перчаток, — значит, она не изменила нам, Ришару и мне. Я ждал итогов конкурса, куда я шесть месяцев назад послал свой сценарий, еще полагая, что съемки вот-вот начнутся; теперь же, после предательства Марины, лишь победа на конкурсе дала бы мне возможность хоть когда-нибудь снять фильм. Мюзилю была известна вся унижительность моего положения, и он посоветовал мне написать Марине в Беверли-Хилс, полагая, что от обращения к ней меня удерживает гордость. Мюзиль рассказал, возможно слегка приукрашенную им, историю создания так называемой «Прощальной симфонии» Гайдна. Гайдн был композитором при дворе князя-эстета Эстерхази и «Прощальную симфонию» задумал как протест, ибо, исполняя прихоть вельможи, музыкантов не отпускали в город, к семьям, и до самых холодов задерживали в летнем дворце. Симфония начиналась торжественно, одновременно вступал весь оркестр, но вскоре исполнители начинали удаляться один за другим, ведь Гайдн предусмотрел последовательное исключение инструментов, в финале звучало лишь соло, он даже внес в партитуру дыхание музыкантов, задувающих над пюпитрами свечи, скрип натертого паркета в концертном зале у них под ногами. Безусловно, прекрасная ассоциация, созвучная и угасанию Мюзиле, и исчезновению Марины; эту подсказанную Мюзилем историю я изложил в письме к Марине, но ответа так и не получил.

Мюзиль упал без чувств у себя на кухне накануне Троицы, Стефан обнаружил его лежащим в луже крови. Не подозревая, что этого Мюзиль как раз хотел избежать — потому и хранил в тайне свою болезнь, — Стефан тут же позвонил его брату, и Мюзиля отвезли в соседнюю больницу «Сен-Мишель». На следующий день я пришел навестить его; в палате, расположенной рядом с кухней, воняло жареной рыбой. Погода стояла отличная, Мюзиль лежал обнаженный по пояс, у него было великолепное, прекрасно тренированное, стройное и могучее загорелое тело, усыпанное веснушками; Мюзиль часто загорал на балконе, и за несколько недель до больницы племянник, помогавший ему оборудовать загородный домик — затея, видимо, с самого начала обреченная на неудачу, — обнаружил в неподъемной дядиной сумке гантели: тот, несмотря на вызванное пневмоцистозом нарушение дыхания, тренировался ежедневно, борясь с пожирающей его легкие дьявольской саркомой. Как только я появился, сестра Мюзиля решила оставить нас одних и вышла из палаты; она принесла ему вкусную еду, пироги с фруктами; я никогда раньше ее не видел — эта женщина с седым пучком на затылке казалась весьма энергичной особой, но тут сами обстоятельства, а может быть, тайна, сообщенная ей другим братом, хирургом, смягчили ее твердый нрав, она плакала. Мюзиль сидел в обтянутом белой кожей кресле-качалке перед залитым солнцем окном, сидел в пропахшей рыбой палате, в тиши опустевшей под Троицын день больницы. Пряча от меня глаза, он сказал: «Люди полагают, будто в такой ситуации можно что-нибудь сказать, а выходит, и сказать-то нечего». Очков он уже не надевал, я впервые увидел не только его молодой, совсем не дряблый торс, но и его лицо без очков, нет, описать не смогу — таким я Мюзиля не запомнил; образ друга я гоню прочь, однако он запечатлелся в моей памяти и в сердце именно в очках, те краткие мгновения, когда он снимал их в моем присутствии, потирая глаза, — не в счет. От удара головой у него на затылке запеклась кровь, я увидел это, когда он, устав сидеть, приподнялся и снова лег в постель. Над его кроватью укрепили ручку — ухватившись за нее, он мог лечь или встать, немного облегчая себе мускульное и дыхательное напряжение, раздиравшее ему грудь, сотрясавшее нервными спазмами все тело. Мюзиль задыхался от бесконечных приступов кашля, которые сдерживал лишь затем, чтобы попросить меня выйти. На ночной столик ему поставили плевательницу из темного картона, и докторша, заглядывая к нему, каждый раз говорила: надо сплевывать, сплевывать как можно больше, и сестра, выходя из палаты, тоже указала на плевательницу и повторила, что он должен отхаркивать, сплевывать как можно больше; это раздражало Мюзиля — он знал, из легких ничего уже не отходит. Ему должны были делать пункцию спинного мозга, он боялся.

Я навещал Мюзиля в больнице «Сен-Мишель» каждый день; в палате по-прежнему пахло жареной рыбой, яркое солнце так же освещало край квадратного окна; сестра его при моем появлении исчезала; пироги оставались нетронутыми, плевательница — пустой, пункция не удалась, надо было делать ее вторично, снова претерпеть ужаснейшую боль; медсестры говорили — возрастное уплотнение позвонков не позволяет дренажу протиснуться до костного мозга; теперь, когда Мюзиль знал, что это за боль, он боялся ее больше всего на свете, в его глазах горел страх перед страданием, которое не рождается в самом теле, а приходит извне, его вызывают искусственно, путем проникновения в очаг боли якобы для борьбы с нею; было ясно — для Мюзиля эта боль отвратительнее внутреннего, уже привычного страдания. Отрезвленный пока еще никому не ведомым крушением надежд на запуск фильма — об этом все узнают, если только я не получу премию на конкурсе, — я потихоньку вернулся к газетной работе, писал статьи то для одного, то для другого издания. Недавно я брал интервью у коллекционера, собиравшего детские портреты примитивистов; он подарил мне каталог организованной им выставки. Каталог лежал у меня на коленях вместе с газетами, которые я принес для Мюзиля. Я сидел рядом с кроватью. Мюзиль лежал, отказавшись от сверхчеловеческого усилия — попытки сесть в кресло. Я решил показать ему альбом. Мы сразу обратили внимание на портрет под названием «Грустный мальчик», он вполне мог быть написан с юного Мюзиля, хотя я не видел ни одной его детской фотографии, — художник изобразил прилежного задумчивого ребенка, упрямого и растерянного одновременно, замкнутого, но, похоже, любознательного. Мюзиль внезапно спросил меня, как я провожу время. Прежде он был в курсе всех моих дел, знал, чем я занимаюсь практически каждый час, ведь мы ежедневно разговаривали по телефону, а теперь сознание его помутилось — и мой распорядок дня сделался чем-то загадочным, он недоверчиво поглядывал на меня, казалось, он вдруг распознал во мне закоренелого лентяя, человека, до омерзения праздного, или же неожиданно обнаружил, что я трачу свое время и силы на поддержку его врагов, расплодившихся в великом множестве и мечтающих ускорить его конец. «Скажи, на что же уходит все твоё время?» — повторял каждый день Мюзиль. Увы, его деятельность сводилась теперь к размеренному движению зрачков вслед за теннисным мячиком — по телевизору передавалась прямая трансляция турнира памяти Ролана Гарроса. Я сказал ему, что опять работаю над книгой о слепых, и в его глазах промелькнула тень ужасного страдания, он признавал собственное бессилие, невозможность хоть немного поработать над рукописью последнего тома «Истории», оставшегося в набросках. После первого же посещения больницы я стал все записывать в дневник, не упуская ни одной детали, ни жеста, ни слова — пусть разговоры наши, как правило, были редки и ужасно скомканы в силу обстоятельств. Это ежедневное занятие утешало меня и вызывало отвращение, я понимал, Мюзилю было бы очень больно, узнай он, что я, подобно шпиону или врагу, заносю унижительные мелочи в дневник: наверное, записям суждено — и это самое отвратительное — пережить его и стать свидетельством правды, которую он предпочел бы стереть с оправы своей жизни, оставив лишь отшлифованную до блеска грань, она обрамляет сверкающий и непроницаемый черный алмаз, надежно хранящий тайны; дневник, быть может, станет его биографией, хотя уже и сейчас грешит неточностями.

Конечно, кое-какие события ускользают из памяти, но я не хочу заглядывать в дневник — сегодня, пять лет спустя, лучше заглушить тоску, она бьет беспощадно, только дотронься до больного места. Мюзилья перевели в больницу «Питье-Сальпетриер». Когда я вошел к нему в палату, там было полным-полно друзей, но его самого увезли на последнюю пункцию — вскоре, отняв еще частичку мозга, опять уложат на место. Стефан пачками приносил Мюзилью корреспонденцию из дома, но вскрывал письма и пакеты сам и, показав их больному, выбрасывал присланное в корзину; в сегодняшней почте оказалась книга Кота, название отдавало трупным запахом; Мюзиль перелистал ее, нашел дарственную надпись и прочел: «Этот аромат». В ужасе спросил он, что это значит, и я подчеркнуто безразлично ответил: Кот, мол, в своем репертуаре, да и нечего тут понимать. Чтобы прервать возникшую паузу, кто-то из друзей начал рассказывать о выставке в Гран-Пале, там экспонировалась знаменитая картина, которой Мюзиль посвятил в свое время целое эссе. Сейчас он никак не мог понять, о какой картине идет речь. Он спросил, что на ней изображено, и по всеобщему замешательству догадался: для него началось самое ужасное — помрачение рассудка. Мы все вместе вышли из палаты — больному пора было делать процедуры — и во дворе больницы узнали от Стефана: недуг смертелен, но Мюзиль скрывал от всех страшную тайну, он хотел, чтобы мы не раскисали и «держались» в его присутствии, сам Стефан тоже узнал об этом совсем недавно. Он сказал: некоторые участки мозга уже затронуты, недуг неизлечим, но главное — новость не должна получить огласки в Париже — тут он круто повернулся и ушел, наотрез отказавшись от предложенной нами «моральной поддержки».

Я появился у Мюзиля на следующий день, мы были одни, и я долго держал его за руку, словно просто пришел в гости, у него дома мы иногда сидели рядом на белоснежном диване, глядя на закатное солнце, пылавшее меж распахнутых балконных дверей; потом я прильнул к его руке губами, поцеловал ее. Но, вернувшись домой, со стыдом и облегчением принялся отмывать губы с мылом, будто их коснулась зараза, — точно так же я намыливал их в Мехико, в номере отеля на улице Эдгара Аллана По, когда старая проститутка глубоко засунула язык мне в горло. Стыд и облегчение были настолько сильны, что я достал свой дневник, решив записать и этот случай после отчетов о предыдущих посещениях. И, описав свой мерзкий поступок, испытал еще больший стыд и в то же время облегчение. По какому праву я марал дружбу? Дружбу с тем, кого просто боготворил? И тогда — что-то поистине снизошло на меня, а может, в голове прояснилось, — я вдруг почувствовал, будто мне все позволено — и даже положено вести эти гнусные записи; их узаконило, мои действия оправдало смутное предвидение, неколебимое предчувствие: я имею на них полное право, ибо описываю сейчас не совсем агонию друга, скорее, свою собственную, похожую на нее как две капли воды, но ожидаемую в недалеком будущем, — теперь мы с Мюзилем связаны не только узами дружбы, но и узами смерти.

Мюзиля перевели в реанимационное отделение в конце коридора; Стефан предупредил меня: прежде чем заходить к нему, нужно дезинфицировать руки, надевать резиновые перчатки и пластиковые туфли, а также стерильный халат и шапочку. В реанимации — скандал, какой-то негр отчитывает сестру Мюзиля — она тайком пронесла сюда еду, — швыряет на пол баночки с ванильным кремом, так как это запрещено, на ночном столике вообще ничего нельзя держать и нельзя ничего вносить в палату по соображениям гигиены, к тому же в критической ситуации все это может помешать ему, санитару реанимационной бригады. Здесь не библиотека, заявил он, схватив две последние книги Мюзиля, они только что вышли в свет, Стефан принес их от издателя, даже книгам тут не место, в палате должно находиться только тело больного и медицинские инструменты для ухода. Двор больницы залит июльским солнцем — трагический контраст с участью Мюзиля, злая насмешка судьбы. Наконец-то я понял, ибо до того не хотел верить Стефану, что Мюзиль умрет, и совсем скоро, — очевидность этого исказила мой облик, я кожей ощущал странные взгляды прохожих: мое лицо вспухало, расплывалось от слез, рвалось на куски от боли, я обезумел от горя, стал воплощением «Крика» Мунка.

На следующий день, стоя в коридоре, я сквозь стекло увидел Мюзиля, под белой простыней, с закрытыми глазами, веки сомкнуты, на лбу виднелась дырочка, ему только что сделали пункцию головного мозга. Накануне, только я пришел, он сразу закрыл глаза и попросил меня говорить о чем угодно, не ожидая ответа, лишь бы он слышал мой голос, говорить, пока я сам не устану и не уйду тихонько, не прощаясь. И я, полный кретин, сообщил ему новость, которую узнал утром, — кредита на съемки фильма я не получаю, надежды мои рухнули, и тут Мюзиль изрек, подобно сфинксу, одну-единственную фразу: «Все опять закружится в 86-м году, после выборов». Медсестра поймала меня в коридоре — оказывается, я не имею права находиться в реанимационной палате без особого разрешения, ведь я не член семьи, за разрешением нужно зайти к врачу; посещения теперь контролируются, чтобы не прорвался, к примеру, «хищник-репортер», охотящийся за фотографией Мюзиля. Молодой врач осведомился, как меня зовут, и заявил — с намеком, будто я прекрасно представлял себе, о чем идет речь, хотя тогда я еще ровным счетом ничего не понимал: «Видите ли, с болезнями такого рода лучше быть поосторожнее, о них, честно говоря, мало что известно». Он не разрешил мне больше посещать Мюзиля, мол, предпочтение они отдают членам семьи, а не друзьям, конечно, я был очень близок больному, он в этом не сомневается, — и тут мне захотелось плюнуть ему в морду.

Мы с Давидом так и не увидели больше Мюзиля, а он, между прочим, требовал, чтобы нас впустили, — нам рассказал об этом Стефан, каждый день мы звонили ему и узнавали, как идут дела. Я послал в «Питье» записку на имя Мюзиля, признание в любви — стоило дожидаться этой минуты! — и вложил в конверт цветной снимок, сделанный Густавом на балконе отеля в Асуане, где я, повернувшись к объективу спиной, глядел, как садится солнце над Нилом, — слава Богу, хоть письма принимали! Чтобы доставить мне удовольствие, Стефан сказал, будто часто застаёт Мюзиля с этой фотографией в руке. Теперь Мюзиль, объяснил мне Стефан, говорил только загадками, например: «Боюсь, как бы талисман не повредил тебе» или «Надеюсь, что Россия снова станет белой». По праву родства, кроме Стефана — основного посетителя, Мюзиля ежедневно навещала сестра, они сохранили добрые отношения, хотя последние лет двадцать были уже почти чужими друг другу. Молодой врач — он сам рассказывал об этом Стефану — по ночам подолгу беседовал с Мюзилем. Однажды вечером, едва я вошел в квартиру, раздался звонок, коллега-журналист спрашивал, нет ли у меня фотографий Мюзиля. Я сначала не понял, тот вдруг разрыдался, я швырнул трубку и тут же помчался в больницу на такси. Во дворе у корпуса, где находилось отделение реанимации, я встретил Стефана и других знакомых, он сказал мне спокойным голосом: «Иди скорее, обними его, он так тебя любит». Я ехал в лифте один, и внезапно меня кольнуло сомнение: «любит», а не «любил» — может, Мюзиль не умер и это просто слухи, но держался Стефан чересчур спокойно, кажется, спокойствие это наигранное: я пошел по коридору, пусто, никого уже нет, ни дежурного, ни медсестры, будто тяжкий труд завершен и все наконец уехали отдыхать; сквозь стекло я снова увидел Мюзиля, под белой простыней, он смежил веки, на торчавшей из-под простыни не то руке, не то ноге болталась бирка с дырочкой, у меня уже не было сил войти в палату и обнять его; заметив медсестру, я вцепился в нее: «Он вправду умер? Да? В самом деле?» Страшась ответа, я со всех ног ринулся прочь из больницы и понесся по Аустерлицкому мосту, во всю мочь горланя песню Франсуазы Арди, которую выучил наизусть благодаря Этьену Дао:

*Уйду ли первым в день любой,
Запомни — я всегда с тобой.
Сплетусь я с ветром, стану ливнем,
Землей и солнцем в сплаве дивном
И губ твоих коснусь потом,
И будет воздух невесом
На радость нам.
Но коль нема душа твоя,
Увидишь, как страдаю я.
Я буду полон злобой фурий
И обвенчаюсь с адской бурей,
Чтобы тебя под снежной вьюгой
Пронзить и холодом и мукой.
И коль забудешь ты про нас,
Я с ливнем разлучусь тотчас,*

*Расстанусь с солнцем и землею,
С тобой расстанусь и с собою,
И ветер заберет свое
И нашу жизнь накроет мглой,
Как забытье.*

Я летел по Аустерлицкому мосту, я один владел еще не ведомой прохожим тайной, которой суждено было изменить облик мира. В этот вечер в теленовостях Кристина Охран — «солнышко», как называл ее Мюзиль, — воскресит его счастливый смех. Я зашел к Давиду, у него был Жан, оба сидели голые по пояс и чесались изо всех сил, приняв по дозе, чтобы не раскиснуть, они и мне предложили порошок, но я предпочел вернуться на улицу и снова запел.

На следующий день мы со Стефаном обедали в пиццерии неподалеку от его дома. Мюзиль умер от СПИДа, Стефан не подозревал об этом до вчерашнего вечера, пока не пошел вместе с его сестрой в ординаторскую и не прочел в регистрационной книге: «Причина смерти — СПИД». Сестра Мюзиль потребовала, чтобы эту запись зачеркнули, подчистили, густо замазали или соскребли, но лучше было бы вырвать страницу и вклеить новую; конечно, записи конфиденциальные, но кто знает, может быть, через десять — двадцать лет какой-нибудь биограф, навозный жук, захочет сделать ксерокопию этой страницы или просветит рентгеновскими лучами ее отпечаток на предыдущей. Стефан предъявил единственное написанное рукой Мюзиль завешание, оно ограждало его квартиру от нашествия родственников, но формулировки были слишком расплывчаты и не давали основания считать Стефана бесспорным наследником. Я успокоил его, сообщив, что Мюзиль в последние месяцы обращался к нотариусу, и дал ему адрес. От нотариуса Стефан вернулся ни с чем: завешание существовало, и, конечно, в его пользу, однако Мюзиль не успел подписать и по всей форме заверить составленный нотариусом текст — документ не имел никакой юридической силы, поскольку даже не был написан его рукой. Стефану пришлось торговаться с родственниками, в конце концов за ним осталась квартира с находившимися в ней рукописями, но право наследования он потерял.

В то утро, когда во дворе больницы «Питье» близ крематория должен был состояться вынос тела и церемония прощания, транспортники опять объявили забастовку; я опаздывал, на площади Алезии такси поймать не удалось, и я решил спуститься в метро, ехать надо было с двумя пересадками, а потому я еще больше задержался; в серых переулках старого квартала на набережной Сены, совсем недалеко от Института судебной медицины, у морга — каждый раз, когда я прохожу теперь мимо, у меня просто мороз по коже — уже скопилось множество людей, разыскивающих условное место встречи: Стефан решил опубликовать объявление сразу в двух ежедневных газетах, опасаясь, как бы церемония не оказалась слишком скромной по сравнению с пышными похоронами другого крупного мыслителя, умершего несколько лет назад; в результате квартал оцепили полицейские, а во дворе, куда должны были вынести тело, собралось столько народу, что я не смог протиснуться ближе к гробу, встал на цыпочки и смотрел, как философ, друг Мюзиля, кажется, взобравшись на ящик и забыв даже снять шляпу, тихим голосом произносит траурную речь; его просят говорить громче, он заканчивает и потом вручает текст Стефану. Тело унесли, и толпа рассеялась. Я подошел к Стефану и Давиду. Стефан сказал: мне повезло, я не видел умершего — зрелище было не из приятных. Давид не хотел ехать на похороны в деревню Морван, на родину Мюзиля, боялся, что просто не хватит сил; мне хотелось, чтобы он поехал, но Давид отказался наотрез — и зря, похороны вовсе не были такими уж тяжелыми по сравнению с муками последних недель. Пока кортеж не тронулся, к Стефану все время подходили люди; известная актриса, дружившая с Мюзилем, вручила ему розу из своего сада и попросила бросить ее в могилу; тем временем секретарь, которого я тогда увидел впервые, рассказал мне вот что: в последний день, когда он видел Мюзиля, тот велел ответить согласием на все приглашения, полученные с разных концов света, хотя сроки их частично или полностью совпадали; потирая руки, Мюзиль от души веселился — он не прочтет лекцию в Канаде, не проведет семинар в Джорджии, не выступит на коллоквиуме в Дюссельдорфе. По дороге мы со Стефаном и секретарем остановились у какой-то забегаловки и отведали жареных колбасок — сделать это предложил Стефан, Мюзиль просто обожал колбаски. Мать, очень сдержанная, царственная, прозрачная от старости, встретила нас без единой слезинки; застыв в кресле, над которым висела картина XVIII века, она по-светски принимала важных соседей, пришедших выразить ей соболезнование; на видном месте — на круглом столике посреди комнаты — лежал еженедельник с фотографией Мюзиля на обложке. Брат Мюзиля показал нам усадьбу, она оказалась огромной, их род принадлежал к крупной провинциальной буржуазии, в деревне их уважали больше прочих; главенствовал в доме отец — хирург, практикующий в главном городе департамента. Я даже не предполагал, что Мюзиль вырос в такой зажиточной семье, но если поразмыслить, этим легко объяснялось все: вечное стремление к экономии наряду с полной безответственностью в денежных делах, равнодушие и даже нелюбовь к какой бы то ни было роскоши — эти качества я скорее отнес бы к проявлениям мелкобуржуазности. Брат, удивительно похожий на Мюзиля, показал нам великолепный сад; во время прогулки он вдруг остановился, склонил голову и произнес: «Эта болезнь неизлечима». Потом провел нас в комнату Мюзиля, где тот работал в студенческие годы, — самое запущенное помещение в доме, там никогда не топили, как в лачуге садовника, где Мюзиль устроил себе библиотеку,

позже мать велела туда поставить все написанные им книги. Я достал с полки первую попавшуюся и прочел дарственную надпись: «Маме — первый экземпляр книги, которая обязана ей своим рождением». На следующий день по телефону моя мать рассказала мне, что слышала по радио интервью с матерью Мюзиля. Та сидела на складном стуле у ограды кладбища и беседовала с журналистами, словно на пресс-конференции: «Когда мой сын был совсем маленьким, то хотел стать золотой рыбкой. Я отвечала: зайчик мой, это невозможно, ты же не любишь холодную воду. Он задумывался, а потом говорил: ну только на секундочку, просто узнать, о чем она там думает». Матери непременно хотелось заказать мемориальную доску, где бы упоминалось название престижного института — там Мюзиль в конце жизни читал лекции; Стефан сказал ей: «Ведь все и так знают», а она ответила: «Конечно, сейчас знают, но через двадцать — тридцать лет, когда останутся только его книги, разве кто-нибудь вспомнит...» Мы по очереди брали из корзины по цветку, бросали их в могилу, и корреспонденты фотографировали каждого из нас. Вернувшись вечером домой, я позвонил Жюлю, но он не захотел со мной долго разговаривать — развлекался с двумя юнцами, видимо, наркоманами, которых только что подцепил в кабаке и слегка побаивался. Берта с пятимесячной дочкой уехала за город.

Я пытался как мог облегчить другу тяжелое бремя траура, удержать его от погружения в бездну проблем, связанных с наследованием, и уговаривал совершить путешествие, развеяться. Когда-то мы думали, что к этому времени Мюзиль и Стефан приедут к нам на остров Эльба, еще месяца за три до смерти Мюзилья обсуждали втроем, как будем отдыхать; мы со Стефаном искренне верили, что поедем туда, а Мюзиль, одновременно и понимая все и заблуждаясь, делал вид, будто тоже верит в осуществимость этих планов, пока не началась настоящая подготовка к отъезду, и тут он втайне от меня признался Стефану — я узнал все после смерти Мюзилья, — что никогда не думал всерьез об этом путешествии. Стефан беспокоился и о себе, он считал, что смертельный вирус Мюзиль почти наверняка передал ему, а потому отправился на консультацию к дерматологу; тот не очень-то был подкован, но зато попытался успокоить пациента: по его словам, Стефан, конечно же, избежал опасности, поскольку СПИД скорее всего передается лишь при проникновении в организм нескольких видов инфекции, по меньшей мере двух, — две зараженные спермы одновременно попадают в организм и действуют подобно детонатору. Я пригласил Стефана приехать к нам на Эльбу, Густав уступил свою комнату вдовствующему другу; тот не упускал случая погоревать на виду у всех или — что было еще эффективнее, — покинув сотрапезников в разгар обеда, убегал к себе и запирался. Минут через пятнадцать мне приходилось идти наверх и стучать в дверь, чтобы остановить поток слез. Стефан сначала не открывал, потом впускал меня и огрызался сквозь слезы: «Я не знал, что ты такой злой, Мюзиль тоже не догадывался, ты нас всех обманул, ты — воплощенное коварство; бедный Мюзиль, как он ошибся в тебе!» Я отвечал Стефану: да, действительно мне трудно общаться сразу с несколькими людьми, никак не удается найти золотую середину, я то погружаюсь в угрюмое молчание, то впадаю в непонятную эйфорию; однажды я рассказал Мюзилью о своих терзаниях, и он посоветовал мне ни в коем случае не пытаться изменять самого себя, это худшее оскорбление для друзей; вот я и остался таким, какой я есть, таким меня видят окружающие, таким любят. Стефан чуть не бросался целовать мне руки и потом беспрестанно восхищался мною, легко прощал мне, в отличие от других, приступы раздражительности. Он ужасно страдал потому, что именно смерть Мюзилья открыла ему доступ в прекрасный дом, где так много юных красавцев. Тем летом, когда мы лежали на скалистом берегу нагими после купания, я сказал однажды Густаву: «Мы все сохнем от этой болезни, я, ты, Жюль, все, кого мы любим». С Эльбы Стефан отправился в Лондон и разыскал там людей из Ассоциации гуманитарной помощи жертвам СПИДа. Вернувшись во Францию, он решил организовать такое же общество.

Прежде чем переехать в квартиру Мюзиля, Стефан попросил меня сфотографировать квартиру такой, какой покинул ее владелец. Он хотел, чтобы я в качестве свидетеля присутствовал при передаче имущества и подготовил необходимые документы для будущих исследователей. Войдя во двор, я заметил: со стены соседнего дома уже сорвали плющ и не было воробьев, громко чирикавших, когда я, бывало, шел по двору к Мюзилю на ужин. После его смерти я в квартиру не входил; в то утро погода стояла пасмурная, но только я достал фотоаппарат, солнце осветило комнаты, словно по мановению волшебной палочки. Для общей съемки интерьера гостиной с африканскими масками и рисунком Пикабиа, напоминавшим черты Мюзиля, я захватил маленький «Роллей-35», а для съемки всяких деталей попросил у Жюля «лейку»: в корзине для бумаг, к примеру, до сих пор валялся смятый конверт с адресом, который Мюзиль не успел дописать. За четыре месяца печаль отсутствия уже успела лечь на вещи, подобно пыли, просто стряхнуть ее было невозможно, квартира сделалась неприкосновенной, и мы спешили сфотографировать прежний хаос, пока его не уничтожила суeta новой жизни. Стефан показал мне шкаф со стопками рукописей, показал заметки и наброски неоконченной книги, которые Мюзиль не успел порвать. На диванах лежали кипы давным-давно собранных Мюзилем материалов о социализме — он собирался написать эссе на тему «Социалисты и культура», но, как сказал мне в автобусе его секретарь, он уже тогда слегка повредился в уме. Стефан настоятельно просил меня сфотографировать постель Мюзиля, я никогда ее не видел, ведь Мюзиль открывал дверь в спальню в редких случаях, когда мы вместе отправлялись куда-нибудь ужинать и он вспоминал, что забыл ключи или чековую книжку в кармане другой куртки. Спальня Мюзиля оказалась клетушкой без окна, на полу валялся тощий тюфяк; Мюзиль оставил за собой просторный кабинет с библиотекой, а Стефану, который теперь не мог себе этого простить, уступил самую удобную, изолированную часть квартиры. Мне совсем не хотелось заглядывать туда, но Стефан подталкивал меня в спину, фотография спальни, считал он, станет бесценным документом для исследователей; я пытался заснять жалкий матрац, брошенный на пол, хотя отойти на необходимое для съемки расстояние здесь было невозможно, я знал, что ничего не получится, к тому же и аппарат не сработал, кончилась пленка. Благодаря этой серии снимков — фотографий с негативов я не печатал, только передал Стефану дубликат контрольных кадров — мне удалось освободиться от навязчивой идеи; подобно колдуну, я очертил магическим кругом место гибели нашей дружбы, не для того, чтобы предать ее забвению — чтобы увековечить, скрепив ее печатью фотокадра. Ассоциация Стефана по оказанию гуманитарной помощи жертвам СПИДа уже действовала вовсю, Давид, Жюль и я были первыми ее спонсорами, — я внес деньги через доктора Насье. Однако, сказал мне Стефан, работать там каждый день далеко не весело, нужны крепкие нервы: «Вдруг как снег на голову на нас свалилась семья с Гаити; все — отец, мать и дети — больны СПИДом, представляешь себе картинку!» Перед уходом я заглянул в библиотеку Мюзиля — мне надо было посмотреть выходные данные тома Гоголя, я собирался его прочесть, — но Стефан, заглянув в книгу, которую я держал в руках, сказал: «Нет, Гоголя оставь, Тургенева, если хочешь, забери всего, я его читать не буду».

Я снова стал работать в газете. Эжени предложила мне поехать с нею и с ее мужем Альбером в Японию на съемки нового фильма Куросавы, значит, это было зимой 1984 года, ведь моя книга о слепых еще не вышла; мы с Анной встретились тогда в Асакусе^[4] и очень удивились, что оба пишем на одну и ту же тему — о слепых. Я не ожидал увидеть Анну в Токио — мы столкнулись с ней в холле отеля «Империял», где Альбер назначил ей встречу, — но особой радости не испытал. Любительница приключений несколько ошалела от трехнедельного путешествия в транссибирском экспрессе; в дороге, мчась по России и затем по Китаю, она только и делала, что пила водку и объедалась икрой с аппаратчиком из Владивостока. Перед отъездом Анны я взял у нее интервью, она предложила мне опубликовать ее детскую фотографию, отец сделал снимок, когда ей было семь лет, — и вот остался единственный экземпляр, который она берегла как зеницу ока. За восемь лет работы в газете у меня никогда ничего не пропадало, но все же я попросил проследить за этой фотографией — сначала технического редактора, затем сотрудницу, ведавшую материалами отдела оформления; и тут как назло, словно не выдержав строгого надзора, злополучная фотография исчезла. Анна сердито потребовала вернуть ее, вышла из себя; я перевернул редакцию газеты вверх дном, все пять этажей, в надежде отыскать пропажу. «Плевать мне на вашу надежду, верните фотографию», — отрезала она. Накануне отъезда Анна даже явилась ко мне домой и снова на меня накинута. Я не пустил ее дальше лестничной клетки и, мстя за бесцеремонность, захлопнул дверь перед самым ее носом. Между тем фотографию мне вскоре вернули. Кто-то украл альбом, в который, к несчастью, технический редактор спрятал ее для пущей сохранности; вора (или воровку), видимо, мучили угрызения совести, и поскольку мои препирательства с Анной чуть ли не месяц происходили у всех на глазах, альбом попросту положили в мой шкафчик для бумаг. Я сообщил радостную новость Анне, как только увидел ее в холле токийского отеля «Империял», а эта мегера немедленно заявила: «Вы легко отделались». Бог с ней, подумал я. Анна продолжала цепляться к нашей маленькой группе — ко мне с Эжени и Альбером. Однажды вечером мы встретились с ней в Асакусе на ведущей к храму улочке, в склепанных из листов жести лавчонках торговали сладостями, веерами, расческами, брелоками и печатками из драгоценных и искусственных камней; Эжени и Альбер замешкались в магазине, где продавали шлепанцы, а мы с Анной пошли дальше в сторону пагоды и приблизились к медному чану, там курили благовония; паломники, подержав руки над дымком, словно бы мыли им щеки, лоб, волосы. Вокруг было множество прилавков с крошечными ящичками, верующие открывали их наугад, доставали свернутую бумажку с предсказаниями, сделанными тайнописью, и затем несли любому из двух бонз, которые священнодействовали по обе стороны алтаря с золотой статуей Будды, защищенной стеклянной перегородкой; из-за алтарных стоек эта часть храма, где за небольшую мзду расшифровывали недоступные разумению непосвященных знаки, напоминала камеру хранения. Если предсказание сулило удачу, верующий бросал его через щель в стеклянной перегородке к ногам Будды, туда же следовало опустить деньги — залог осуществления чаемого. Бумажку с дурным предсказанием прикручивали проволокой к мусорному ящику или к дереву, чтобы, отданное на волю злых духов, оно потеряло силу. В Киото, например, вокруг храмов стояли голые деревья, шелестевшие белыми бумажками, — издалека нам показалось, будто цветет сакура. Мы с Анной вместе вошли в храм в Асакусе;

задержавшись у прозрачной дарохранильницы в форме пирамиды, трепетавшей огоньками, Анна протянула мне малюсенькую тлеющую палочку и сказала: «Вы не хотите загадать желание, Эрве?» В ту же секунду раздался звук гонга, люди заторопились к выходу, сияние в алтаре вокруг золотого Будды погасло, железный затвор, лязгнув, наглухо закрыл величественную главную дверь, и не успели мы опомниться, как оказались запертыми в храме. Бонза вывел нас через маленькую заднюю дверь, и мы очутились на праздничной базарной площади. Загадать желание я не успел, но это необычное происшествие сдружило нас с Анной.

И вот мы поехали в Киото, там она познакомила нас с художником Аки, приехавшим в родной город на семидесятилетие отца; Аки показал нам весь Киото и Золотой Храм. Токийцы советовали еще посетить Храм Мхов, но попасть туда можно было, только если местный житель соглашался уступить свое место в списке избранных, имеющих право на одно посещение в месяц. Храм Мхов находится вдалеке от центра Киото, в загородной местности. Холодным и солнечным утром мы, человек десять посетителей, ждали у ворот бонзу; он появился и для начала проверил по нашим удостоверениям личности свой список, потом подвел нас к окошечку кассы, каждый уплатил весьма внушительную сумму. Затем, разувшись, мы в носках пробежали по двору, усыпанному ледяным гравием, вошли в промозглый зал — его загромаждал стоявший у алтаря огромный барабан; на полу лежали подушечки, перед ними — расставлены в ряд тушечницы, разложены кисточки, тут же палочки туши и чашечки, чтобы их разводить, а на столике — пергаментные свитки, на них ясно виднелась тончайшая вязь сложных знаков; как сказал Аки, они обозначали и вовсе загадочные, непонятные слова, и — судя по их количеству и расположению — это была таинственная ритуальная молитва Храма Мхов; монахи, сопровождавшие чтение текста монотонными ударами в барабан, заставляли нас — в полной тишине — повторять за ними каждое слово; тем, кто хотел получить доступ в чудесный сад мхов, надо было заслужить право им полюбоваться, каллиграфически переписав молитву, пусть ничего не понимая, иероглиф за иероглифом, воспроизвести ее, осторожно заполнив тушью еле заметные ложбинки на пергаменте. Муж Эжени, Альбер, кипя от злости, отшвырнул пергамент прочь: бонзы — бандиты, они нас просто ограбили, к тому же здесь можно околеть от холода; если на каждый иероглиф уходит целых пять минут, понадобится не меньше двух часов, чтобы разделаться с этой тряпкой, усеянной идиотскими значками, да еще сидишь скрюченный, ноги затекают до судорог, — и Альбер ушел, так ему и не довелось попасть в сад мхов. Мы с Анной, устроившись рядышком, втянулись в игру, пытаясь перещеголять друг друга — тщательно перерисовывали иероглифы, выводили их как можно аккуратнее, точнее, стараясь не насажать клякс. Аки объяснил нам: закончив молитву, мы должны написать под ней свое имя и желание, а затем положить свиток перед алтарем, ибо труд жизни священнослужителей в Храме Мхов — неустанная молитва об исполнении желаний неизвестных людей, редких посетителей. После двух часов усердной работы, когда благодаря предельной сконцентрированности исчезли судороги и ощущение времени, я был уже почти готов изложить свое невысказанное желание, на сей раз, думал я, оно не улетучится с дымом догорающей палочки. Я боялся, что любопытная Анна захочет узнать мою тайну, и решил зашифровать желание; ее фразу я прочел, заглянув ей через плечо. Она написала: «Улица, опасность, приключение», потом вычеркнула слово «опасность», но мне уже было неинтересно, чем она его заменила. Я прибавил к молитве свою зашифрованную мольбу о жизни — для себя и Жюля, — и Анна сразу же спросила, что означают эти слова. А потом

мы отправились в чудесный сад мхов.

Я возненавидел Марину. Она действительно снялась в каком-то фильме в Соединенных Штатах, газеты много писали о ее браке, позже — о разрыве с мужем и о возвращении во Францию. Однажды Эктор пригласил меня поужинать в ресторане «Набережная Вольтера», мы оставили пальто в гардеробе, метрдотель пригласил нас следовать за ним, я сбежал вниз — там всего три ступеньки, и тут в глубине зала, в нише, сразу же увидел Марину в темных очках; она сидела напротив молодого человека, совсем рядом со столиком, за который приглашал меня метрдотель; я устроился у стены, только перегородка теперь отделяла меня от Марины, и в зеркале, висящем на противоположной стене, мы видели друг друга, один другого — и никого больше. Встретив здесь Марину после ее предательства и двухлетнего молчания, я стал лихорадочно думать, как себя вести, мысли кружились со скоростью шрифтовой насадки на электрической пишущей машинке: воспользоваться случаем и подойти, дать ей пощечину, чего мне до смерти хотелось, или нежно поцеловать ее, а может, сдержаться и спокойно продолжать беседу с Эктором, как будто ничего не происходит? Поединок с Мариной длился несколько минут. От соседнего стола до меня долетали обрывки вдруг ставшего взволнованным разговора. «Вы себя плохо чувствуете?» — спрашивал молодой человек, он бы вполне мог быть моим двойником — типичный мечтатель, начинающий режиссер, по всем статьям одураченный звездой. Ответа нет, но он не смутился и снова за свое: «Вы скоро уезжаете отдыхать?» Вдруг соседний столик отодвигают резким движением и, оторвав на секунду взгляд от Эктора, я вижу: Марина убегает из ресторана, за ней — ошарашенный молодой человек; поскользнувшись на ступеньке, он успевает извиниться перед метрдотелем, сует ему двухсотфранковую купюру и запутывается в дверной занавеске. Я оборачиваюсь — салфетки на их столе смяты, стоит едва початая бутылка вина, им принесли только закуски — я выиграл партию. Через несколько месяцев ночью голос Марины с трудом вырывает меня из плена снотворного: «Я воскресла». В голове туман, но у меня хватает находчивости ответить: «Так что, звонить теперь во все колокола?» Она очень ласково возражает: «Ну что ты, Эрве». Я говорю: «Я столько из-за тебя пережил». А она: «Подумай, сколько пережил из-за меня Ришар». Услышав этот бред, я повесил трубку. А проснувшись, вспомнил, как раньше, прощаясь, говорил ей: «Обнимаю тебя, Марина», — это звучало отпущением грехов с того света. После обеда рассыльный от Даллауайо доставил мне два шоколадных колокола, один — большущий, другой — крошечный, без записки, ведь только что прошла Пасха. Еще через несколько месяцев я собрался однажды пообедать с Анри в «Виллидж войс», пришел в ресторан немного раньше, сел за столик и, поджидая его, стал читать. Появился Анри, но не успел он занять свое место, как за его спиной, вынырнув из глубины ресторана — как это я ее не заметил? — возникла Марина: в темных очках, с длинными распущенными волосами а ля кукла Барби, а за ней, как тень, Ришар, оба невероятно возбуждены. При виде их кровь у меня мгновенно застыла в жилах, я оледенел, побелел лицом; Анри перепугался — что случилось? Появление Марины произвело на меня сильное впечатление, я будто увидел призрак, привидение. Вернувшись домой, взялся за перо, хотел написать Марине, что в самом деле увидел призрак нашей дружбы юных лет, которую она погубила своим сумасбродством. Едва я закончил письмо, зазвонил телефон; Жюль сразу объявил: «Знаешь, что случилось с Мариной? Говорят, у нее лейкемия, выпали волосы, видимо, проходит

страшный курс химиотерапии». В моем письме много раз повторялось слово «кровь». Можно было принять звонок Жюля за перст судьбы и не отправлять письмо, но обида на Марину была так сильна, что я все же вышел на улицу и опустил его в ящик, особенно безжалостным казалось оно теперь, когда разнесся слух о ее болезни; я вполне мог сказать потом, что Жюль позвонил, когда письмо уже ушло. Но на следующий день меня стали мучить угрызения совести, и я избавился от них, послав Марине второе письмо, оно как бы зачеркивало предыдущее.

Слухи о болезни Марины становились все тревожнее; теперь говорили, что у нее СПИД, — мне сказал это мой массажист, а он услышал новость от директора клиники, где она лечилась. Сегодня говорят, будто она заразилась от брата-наркомана — кололись одним шприцем; на следующий день — будто инфекцию внесли при переливании крови, на третий день — ее якобы заразил этот бездарный америкашка, всему свету известно, что он бисексуальный тип, и так далее. Слух о Маринином заболевании СПИДом, должен признаться, доставил мне удовольствие; я хотел, чтобы это был не слух, а правда, нет, я не садист, меня просто преследовала мысль о том, что в конце концов — недаром мы казались братом и сестрой — нам уготована одна и та же, общая судьба; слух уже проник в газеты, по радио сообщили, что ее поместили в больницу в Марселе, по телетайпам всех редакций прошла информация «Франс-пресс» о ее кончине. Я представлял себе: Марина бежит, задыхаясь, ее преследуют, она устремляется в Марсель, чтобы сесть на корабль, отправляющийся в Алжир, на родину ее отца, пусть ее тоже похоронят по мусульманскому обычаю: завернув в три покрывала, положат прямо в землю. Я видел мысленным взором ее фальшивые длинные волосы а ля Барби, ее забинтованные запястья — тогда в американской клинике, где ей сделали переливание крови. Никогда еще я так сильно не любил Марину. Однако, заручившись поддержкой своего адвоката, она не замедлила появиться в вечерних теленовостях, чтобы положить конец слухам: предъявив медицинское свидетельство, Марина заявила, что здорова, но в то же время глубоко удручена — ей приходится в каком-то смысле предавать больных, вот так демонстрируя свою принадлежность к здоровым. В тот вечер я не смотрел телевизор, но утренние газеты об этом уже сообщили; своим выступлением Марина глубоко разочаровала меня. Билл видел передачу и сказал, что она производила впечатление сумасшедшей, хоть сейчас сажай в психушку. Зато Кот, вот уж кого нелегко пронять, оценил появление Марины в «Новостях» как самый потрясающий телесюжет за всю его жизнь. Мы постепенно отошли друг от друга; я — больной, хотя она этого не знала, она — здоровая, мое отношение к Марине постепенно становилось все прохладнее, она снималась не в тех фильмах, в которых я хотел бы ее видеть; впрочем, и она, я в этом уверен, читала совсем не те мои книги, которые ждала от меня.

Стефан с головой погрузился в работу основанной им ассоциации — после смерти Мюзиля, надо признать, он нашел в этом смысл жизни: оставшись в одиночестве, преодолевая боль, Стефан смог в полной мере реализовать свой нравственный и интеллектуальный потенциал, свое умение организатора — до сих пор его способности, при всем их разнообразии, томились под спудом, чахли; раньше Мюзиля очень раздражали его суетливость, леность, бесконечные телефонные разговоры; статьи Стефана вечно оставались неоконченными — словом, его окружал неопиcуемый беспорядок. Проблема СПИДа изменила общественное положение многих людей, они надеялись сделать на нем карьеру и заслужить признательность сограждан, особенно врачи пытались таким образом вырваться из рутинной медицинской практики. Доктор Насье сам вступил в ассоциацию Стефана и ввел туда своего приятеля Макса (я прежде работал с ним в газете) — Мюзилю почему-то он напоминал «жареный каштан». Доктор Насье с Максом оба имели дурную репутацию и потому прекрасно спелись. Стефану, видимо, они раньше очень нравились, особенно «жареный каштан», в результате он сделал их ближайшими помощниками. При этом Стефан повторял на все лады: «Я скоро передам вам дела, я создал ассоциацию, но теперь заниматься ею некогда, надоело выступать и рассказывать о ней по телевидению, пожалуйста, сходите в студию вместо меня...» На самом деле Стефану только чудилось, будто Макс и доктор предали его: так старикам доставляет болезненное удовольствие выдумывать, будто их наследники страдают алчностью, и, посулив тем сказочные богатства — бриллиантовое ожерелье или антикварную посудную горку, — они в последнюю минуту завещают все своему массажисту или мусорщику. Я в то время часто встречался и со Стефаном, и с доктором Насье и очень забавлялся, когда слышал от первого: «Глаза у них завидующие, руки загребущие!» — а от второго: «Нам приходится бороться с двумя напастями разом — со СПИДом и со Стефаном». Лишь эту шутливую «двойную игру» Давид и я позволяли себе с другом Мюзиля — Мюзиль, вот уж кто наверняка порадовался бы нашему коварству! Мы, однако же, сообщали Стефану обо всех попытках доктора Насье и Макса организовать бунт или переворот в ассоциации, ведь Насье простодушно делился со мной всеми замыслами. Поэтому Стефану удалось провести голосование и забаллотировать самонадеянную пару. Макс написал Стефану письмо, обвиняя его в нагнетании «атмосферы гомосексуальности» в ассоциации, — это привело к окончательному разрыву. Несколько месяцев спустя Стефан, все еще переживая стычку с Насье, но главным образом — предательство «жареного каштана», вскричал, встретив меня на улице: «Только не говори, что ты по-прежнему лечишься у этого Насье, — я и слышать о нем не хочу!» Я не сказал ему, кто мой новый врач, — ведь и тот был близок к Насье. Давид однажды пошутил: если найдут средство от СПИДа, Стефан в тот же день с горя повесится. Я повидался с одним старым другом, психиатром, — он тоже работал в ассоциации, — и он придумал, что надо говорить на сеансах больным СПИДом: «До болезни вы наверняка искали смерти, может быть, и не раз! Развитие СПИДа в организме действительно определяется психическими факторами. Вы сами хотели смерти — вот она и пришла к вам».

В последние месяцы жизни Мюзиль медленно, но упорно отдалял от себя любимого человека, желание уберечь его превратилось в рефлекс, в бессознательную осторожность: ведь к тому времени его собственный организм — сперма, слюна, слезы, пот и что еще, точно не знали — уже стал средоточием заразы. Все это мне позднее рассказал Стефан, не преминув заметить, что он здоров, избежал опасности — впрочем, здесь он мог и приврать, хотя он же, узнав, каким недугом на самом деле страдал Мюзиль, хвастался, будто незаметно пробрался к нему, умирающему, в больничную палату и жаркими, страстными поцелуями покрыл все его тело, напоенное ядом. Я не смог повторить подвиг Мюзиля — не уберег Жюля, а может быть, Жюль — меня, мы оба не уберегли Берту, но иногда в душе у меня еще теплится надежда, что детей или хотя бы одного ребенка болезнь пощадила.

Просматриваю свой ежедневник за 1987 год: 21 декабря, когда я разглядывал в зеркале ванной комнаты свой язык, бесстрастно, словно по привычке, копируя доктора Шанди, даже не зная толком, что именно там ищу, но стараясь разглядывать грозные симптомы, загадочные для меня, я увидел маленькие беловатые волоконца, тонкие папилломы, покрывавшие кое-где нижнюю поверхность языка. Глаза у меня остекленели, и на следующий день, во вторник утром, во время очередной консультации на сто двадцать пятую долю секунды остекленели глаза у доктора Шанди, когда он увидел мой язык: я следил за ним и поймал его взгляд — так сыщик ловит преступников с поличным. Доктор Шанди заметил роковой признак и не мог солгать, молод был хитрить, не то что Леви, Нокур и Арон, старые пройдохи; он еще не научился лгать в открытую, не моргнув глазом, перед лицом истины, зрачок его расширился на сто двадцать пятую долю секунды, словно диафрагма фотоаппарата, схватывающая изображение и жадно прячущая свою добычу. В тот день я должен был обедать с Эжени — и ничего ей не сказал, в этот миг я напрочь позабыл об окружающих меня людях, о дружбе, тревожные мысли захватили меня полностью. Накануне я провел вечер с Грегуаром, тогда я еще не знал уготованной мне участи, обманывал самого себя, но чувствовал — меня вот-вот охватит отвращение и к Грегуару, и к его ласкам. Жюля тогда не было в Париже, но когда он вернулся, я и ему сначала ничего не сказал. Доктор Шанди вовсе не хотел оглушать меня смертельным приговором, хотя вполне ощущал жуткую реальность моего диагноза, так как восемь месяцами раньше, до знакомства с ним, у меня уже был опоясывающий лишай. Он просто собирался очень осторожно подвести меня к новому уровню осознания болезни и при этом оставить мне, как говаривал Мюзиль, свободу выбора — либо прозрение, либо самообман. Предельно осторожно, едва ощутимо — словно смещалась то влево, то вправо на тысячную долю миллиметра стрелка осциллометра — доктор Шанди выяснял, изучая меня взглядом, готовый пойти на попятный, лишь только дрогнут мои ресницы, отдаю ли я себе отчет в надвигающейся опасности. Он говорил мне: «Нет, я же не сказал вам, что это решающий признак, но не стану вас обманывать — статистически он довольно значим». Когда же четверть часа спустя я, содрогаясь от ужаса, спрашивал: «Значит, это все-таки решающий признак?» — он отвечал: «Нет, я бы так не сказал, но все же он достаточно характерен». Доктор Шанди выписал мне фongилон — густую тошнотворную жидкость желтого цвета, и в течение трех недель, утром и вечером, мне надо было полоскать ею язык; я привез с собой в Рим с десятков флаконов, сначала прятал их в чемоданах, а потом за другими склянками и коробками, на полках шкафчика в ванной и в кухонном буфете; по утрам и вечерам приходилось делать унижительную и гадкую процедуру, тайком от Жюля и Берты. Они вскоре приехали ко мне в Рим, мы жили там вместе: Жюль с Бертой спали наверху, в мезонине, а я один, на первом этаже. Рождественским утром я сообщил Жюлю по телефону, что случилось со мной (и по воле рока — с ними); Берте мы в этом не признались, чтобы не омрачать ей праздник. Жюль с беззаботным видом строил несбыточные планы и увлекал ими ничего не подозревавшую Берту: ближайшие несколько лет нам обязательно надо пожить за городом, Берте хорошо бы на время оставить свой пост в министерстве народного образования, взять отпуск на год — короче, я понял, негоже впустую расточать недолгие годы, что нам осталось прожить, ведь они уже сочтены. Между тем я продолжал писать свою

заранее обреченную книгу, в ней шла речь как раз о поре нашей юности, когда мы — Жюль, Берта и я — встретили и полюбили друг друга. Я попытался сочинить нечто вроде похвального слова Берте, Мюзиль перед смертью тоже собирался то ли всерьез, то ли в шутку воздать хвалу мне, и каждый день я дрожал от страха — а вдруг Берта наткнется на рукопись, которую я привык спокойно оставлять на письменном столе?

В полночь 31 декабря 1987 года в баре ресторана «Алиби» мы с Бертой и Жюлем расцеловались, глядя друг другу в глаза. Странно желать счастливого Нового года тому, кто вряд ли доживет до его конца, ситуация хуже некуда; чтобы пережить ее, нужна отвага и еще умение держаться непринужденно, будут и обоюдоострые откровения, и умолчания, общие думы, тревога, которую не скрыть улыбкой, не прогнать смехом; пожелания счастья исполнены горькой, но светлой торжественности. Прошое Рождество я встречал в деревушке на Эльбе, в обществе кюре, приговоренного врачами к смерти, у него был рак лимфатических узлов; эта лимфома, без обиняков заявил мне доктор Насье, — неопознанный СПИД, кюре делали лишь обычную рентгенотерапию — то ли пытались спасти репутацию пациента и в ущерб его здоровью выдавали СПИД за рак, то ли итальянские медики оказались слишком нерадивыми. Кюре вернулся из Флоренции после долгого пребывания в клинике еле живой, чтобы в последний раз отслужить мессу в своей деревне. Я не видел его уже несколько месяцев; меня сопровождал некий юноша по прозвищу Поэт, он то тупо молчал, то истерически хохотал. Рождественским вечером Густав решил пойти с кюре на эту последнюю мессу, собираясь потом доставить его к нам на машине: кюре уже не под силу было взбираться по многочисленным ступеням и крутым улочкам к «самой заднице» деревни, как выражаются итальянцы, — ее дальней и бедной околице, где мы жили. Поэт возлежал на диване в гостиной, то ли случайно, то ли бессознательно копируя сладострастную позу натурщика на одной из картин прошлого века, которая ныне находится в Брюссельском музее изящных искусств; доктор Насье однажды преподнес нам ее черно-белую репродукцию старинной печати — сейчас она стояла на круглом столике возле дивана, рядом с французским изданием Дантова «Ада». Это совпадение навело меня на мысль поставить нечто вроде живой картины, правда, если учитывать состояние кюре, сказал Густав, такие номера вовсе не к месту: ведь, появившись у нас, гость застанет Поэта в костюме Адама и совершенно в той же позе, что у натурщика. Никто из нас не должен обращать ни малейшего внимания на наготу Поэта, он, сохраняя вполне естественный вид, примет участие в нашем праздничном ужине; сам Поэт от этой бредовой идеи пришел в восторг. Я тайне надеялся порадовать кюре: ведь он давным-давно признался нам, что неравнодушен к мальчикам. Внешне Поэт являл собой страшное, фантастическое, почти дьявольское сочетание несочетаемого: лицо ребенка, тело — хрупкого подростка, а фаллос — мощный и огромный, словно у крестьянина. Густав на машине отправился в церковь, там его взору предстало плачевное зрелище: кюре не мог даже поднять дароносицу — певчим пришлось поддерживать ее снизу, а потом попросту нести. Густав сразу понял, что шутка наша — гадость, вышел вон из церкви и бросился искать телефон, чтобы дать отбой. В это время обнаженный Поэт, раскинувшись на диване, весь содрогался от взрывов безумного хохота, нервничал, ему хотелось помочиться. Дабы успокоить Поэта, я сомкнул губы на его мощном крестьянском орудии. Ближайшие телефоны либо не работали, либо были заняты, когда же Густав отыскал-таки единственный свободный и действующий автомат, оказалось, что у него нет с собой жетона, а торгующая ими ближайшая лавка закрыта, к тому же он должен был быстрее возвратиться в церковь. Появился у нас кюре — и чуть ли не с порога увидел такую картину: точно против распахнутой двери восседал на диване обнаженный Поэт. Он встал и поздоровался с кюре за

руку, церемонно и холодно. Я искоса наблюдал за гостем — безусловно, впервые за долгие годы служения церкви ему было ниспослано истинное видение, очарованный и уязвленный разом кюре внезапно впал в экстаз и уже готов был пасть ниц. Дабы вернуть себе душевное спокойствие, он взял с круглого столика Дантов «Ад» — на обложке книги изображалось падение в бездну ангелов согрешивших^[5] — и изрек: «Дьявола не существует, выдумать его мог только человек».

Кюре предложил отправиться к нему домой, выпить шампанского по случаю праздника — справить Рождество. Его матушка, высохшая старушка (она была у кюре экономкой, он говорил о ней: «Несу свой крест»), подала на стол «панеттоне» — традиционный сдобный пирог. Мы пожелали друг другу счастливого Рождества, кюре смотрел на меня благодарным взглядом, а я умирал со стыда. Кюре заранее приготовил ракеты и петарды, и мы устроили фейерверк, церковь окутало розовато-серое облако и повисло плотной пеленой, точно в пороховом погребе.

Вернувшись в Париж, я понял: фонгилон не поможет мне избавиться от белых папиллом, напрасно я три недели подряд подвергал себя унижениям, прятался в туалете и втайне от всех полоскал язык густой желтой микстурой, давясь ею натошак и сажая на одежду пятна; я перестал воспринимать свой язык как орган чувств, возненавидел его, хотя доктор Шанди утверждал, будто грибковые заболевания не передаются половым путем, и прописал мне другое средство, дактарин, — белое, вязкое вещество, липкую массу с металлическим привкусом, им я тоже лечился три недели, но и оно язык не очистило, я больше не мог вступать в эротические контакты и почти свел на нет редкие интимные встречи с двумя партнерами, одного из них я предупредил о своей болезни, другого — нет. Мы с Жюлем решили в конце концов сделать пресловутый серодиагностический тест; за последние несколько лет доктор Насье уже не раз направлял меня на этот анализ, однако я так и не сподобился пойти. В январе 1988 года Жюль уверял меня, что ни он, ни я не инфицированы — ему нужна была эта уверенность — и что доктор Шанди просто паникер и псих, никудышный врач, напрасно пугает своих пациентов. Потому Жюль очень хотел, чтобы мы сделали этот анализ, особенно я — Жюль хорошо знал мой характер, — нам, точнее мне, надо было успокоиться. Давид никогда не принимал всерьез мои болячки и теперь, посмеиваясь, сказал: ну и погано же тебе станет, когда выяснится, что ты здоров, а значит, напрасно свел свою половую жизнь к столь убогим проявлениям; мне останется лишь оплакать свое избавление от СПИДа и наложить на себя руки. Я позвонил доктору Шанди, сообщил ему о нашем намерении, и он захотел встретиться со мной и с Жюлем до анализа. Встреча оказалась важной и, кажется, решающей! «Важной», «решающей» — эти слова доктор Шанди повторял вновь и вновь — в основном из-за Жюля, тот пытался отрицать очевидную истину, которой тем не менее суждено было совершенно изменить окружавший нас мир и, если можно так сказать, саму нашу жизнь. Доктор Шанди знал: нет необходимости рассказывать о немногих доступных средствах предохранения и защиты от вируса: мы с Жюлем и так уже давно ими пользовались — и вместе и порознь. Посему он сразу приступил к разбору возможных ситуаций: у одного анализ положительный, у другого — отрицательный, или же у обоих положительный, рассказывал, что в каком случае делать, а варианта всего два, тут оболящаться не стоит. Мы хотели сделать анализ анонимно, мне и Жюлю это казалось совершенно необходимым — надо же учитывать наши профессиональные и дружеские связи. Не то в Баварии, не то в Советском Союзе поговаривали о принудительных проверках на СПИД при въезде в страну, пересечении государственной границы, а также о тестировании людей, представляющих «группы риска», о том же рассуждал в газетах и советник по медицине при фашиствующем Ле Пене.

Я объяснил доктору Шанди, что мне постоянно приходится ездить из Франции в Италию и обратно — для меня крайне важно сохранить свободу передвижения через франко-итальянскую границу. Он посоветовал нам сделать анализы анонимно и бесплатно — каждую субботу по утрам их проводила организация «Врачи мира» в лаборатории на углу маленькой улочки Юра, неподалеку от памятника Жанне д'Арк на бульваре Сен-Марсель; потом я долгое время не мог спокойно смотреть в ту сторону, когда ездил на 91-м автобусе ужинать к Давиду, — меня сразу же начинала бить дрожь. Январским субботним утром мы с Жюлем отправились туда и встали в огромную очередь: здесь были негры и негритянки,

люди разных возрастов и обличий, проститутки и гомосексуалисты и какие-то непонятные личности. Очередь тянулась вдоль тротуара до самого бульвара Сен-Марсель: ведь там стояли и те, кто пришел за результатами анализов, сделанных на прошлой неделе. У нас взяли кровь — к моему громадному удивлению, без резиновых перчаток, без всяких мер предосторожности, — и, выйдя на улицу, мы с Жюлем заметили одного юношу — бедный, вид такой потерянный, словно тротуар бульвара Сен-Марсель вот-вот развернется у него под ногами и весь мир разом рухнет; юноша не знал, куда бежать, как быть дальше, его шатало от страшной новости, это совершенно очевидно, он вдруг закинул голову назад и метнул взгляд ввысь, но и небеса отвернулись от него. Нас с Жюлем эта сцена привела в ужас — мы вдруг увидели себя самих через шесть дней, — но одновременно и приняли эту чудовищность: глядя на несчастного юношу, мы ощутили себя не просто свидетелями, но участниками какого-то захватывающего обряда заклинания злых духов. Доктор Шанди не ожидал хороших результатов, и, поскольку приближался срок моего отъезда в Рим, торопил события — он направил нас в институт имени Альфреда Фурнье, на дополнительный анализ крови, чтобы узнать, насколько вирус иммунодефицита завладел организмом. Институт прославился еще в эпоху сифилиса; медсестры здесь орудовали в резиновых перчатках, а пациентам предлагали самим бросать в пакет для мусора окровавленную ватку, которой прижимали место укола на локтевой вене. Жюль решил пройти все обследования одновременно со мной, но этот анализ был вынужден перенести на другое время, поскольку не выполнил главного условия — ничего не есть с утра. Ему оставалось только злиться да ждать меня. Прочитав мое направление, медсестра поинтересовалась: «Вы давно знаете, что инфицированы?» Я остолбенел и даже не нашелся что ответить.

Результаты анализа мы должны были получить дней через десять, прежде теста «Врачей мира», это будет время не то подлинной, не то мнимой неопределенности; я дал медсестре адрес Жюля: ведь на свой собственный получать ничего не мог — мою корреспонденцию регулярно переправляли в Рим. До самого последнего дня Жюль не давал мне результатов анализа, он разбирал их и расшифровывал. А когда мы поехали наконец на улицу Юра, в лабораторию «Врачей мира», в такси Жюль объявил мне: институтские анализы у нас плохие, по ним уже можно определить роковые признаки независимо от того, что покажет тест. И я вдруг понял: нас поразило горе, началась эпоха страшных бед, и не будет ей конца. Я чувствовал себя так же, как тот бедняга, ошарашенный страшной новостью, полуживой от страха: казалось, тротуар вот-вот пойдет трещинами, развернется у меня под ногами. На меня нахлынула ужасная жалость к Жюлю, к себе. Самое страшное оказалось вот в чем: Жюль пытался подготовить меня к худшему, однако сам, конечно, надеялся, что наши анализы, по крайней мере его собственный, окажутся хорошими. У каждого из нас в кармане лежала карточка с номером — всю неделю мы старались не предаваться суеверным догадкам, не принимать эту цифру за доброе или же дурное предзнаменование. Врач должен был вскрыть нумерованный конверт с результатом анализа, при этом ему вменялось в обязанность использовать определенные психологические приемы. Одна ежедневная газета сообщила, что около 10 процентов пациентов, проходящих проверку на СПИД в лаборатории «Врачей мира», оказываются вирусносителями, однако для населения в целом это вовсе не характерный показатель — на улицу Юра приходят в основном представители так называемых «групп риска». Мне объявлял результат анализа довольно неприятный субъект, и я выслушал его, разумеется, холодно — хотелось поскорее уйти, забыть про этот медицинский конвейер: здоровым — полминуты внимания, улыбка и памятка по азам

профилактики, вирусносителям — от пяти до пятнадцати минут «доверительной» беседы; он осведомился, один я живу или у меня есть партнер, нагрузил меня рекламными проспектами новой ассоциации доктора Насье и посоветовал, дабы смягчить удар, через неделю сделать повторное исследование — оно якобы может опровергнуть полученный анализ; во всяком случае, один шанс из ста есть. Что произошло в другом кабинете, куда вошел Жюль, я не знаю, да и не хотел бы знать; я уже вышел в коридор и ждал его там. Однако в лаборатории вдруг начался переполох: в кабинет вбегали и выбегали люди, двери без конца хлопали, регистраторша позвала еще одного врача, а затем медсестру. Похоже, Жюль, с виду такой спокойный, упал в обморок, когда узнал от постороннего человека, в общем, уже известный ему результат, который теперь официально подтвердился, пусть даже фамилии Жюля никто здесь не знал, вынести правды он не смог. Ужаснее всего в неумолимо надвигавшейся эпохе ужаса было то, что муку терпел твой друг, твой брат — вот тут и охватывало омерзение. После лаборатории, когда Жюль пришел в себя, мы отправились на бульвар Монпарнас — приближался карнавал, и Жюлю надо было купить для детей маскарадные костюмы и хлопушки.

Всего за неделю обстоятельства резко переменялись: когда мы с Жюлем впервые пришли в лабораторию «Врачей мира» делать анализ, меня посетила постыдная мысль — в самом деле, выпавшие на нашу долю страдания и невзгоды я принимаю радостно, однако разделить свое чувство с Жюлем, мучить его своей радостью я не мог — было бы омерзительно. С двенадцати лет я начал ощущать страх перед смертью, она сделалась для меня наваждением. Я не знал, что такое смерть, пока мой одноклассник Бонкарер не посоветовал мне сходить в кинотеатр «Стикс» — в то время сиденья там были в виде гробов — и посмотреть фильм Роджера Кормена «Заживо погребенный» по новелле Эдгара Аллана По. Смерть открылась мне в ужасном обличье: в гробу лежит живой человек, он не может высвободиться и испускает душераздирающие вопли; эта сцена стала источником упоительных кошмаров. Я безумно увлекался всяческими символами смерти: упросил отца отдать мне череп, который он приобрел в бытность студентом для занятий медициной; как замороженный смотрел фильмы ужасов, начал даже сочинять рассказ о смертных муках призрака, заточенного в подземелье замка Гогенцоллернов, и псевдоним себе придумал — Гектор Мрак; зачитывался разными «страшными историями», новеллами, по которым ставил свои фильмы Хичкок; бродил по кладбищам, запечатлевая на первых своих фотоснимках надгробья младенцев; съездил в Палермо только затем, чтобы взглянуть на мумии из монастырей ордена капуцинов; собирал чучела хищников, как и Антони Перкинс в «Психозе»^[6].

Смерть казалась мне ужасающе-привлекательной, сказочно-чудовищной, а потом я возненавидел весь этот потусторонний хлам, вернул череп отцу, кладбищ избегал как чумы; теперь любовь к смерти вступила в новую стадию, захватила меня целиком, теперь мне были нужны не внешние ее атрибуты, но глубочайшая внутренняя связь с ней; я неустанно добивался слияния с ее тайной, самой драгоценной и самой отвратительной на свете, томился страхом и ожиданием ее.

Результаты анализа подтвердили, что я инфицирован, потом доктор Шанди прочел тест «Врачей мира» и сообщил: ничего особо тревожного нет, но часть моих кровяных телец, точнее — лимфоциты, разрушается под действием вируса. За минувшую неделю я сделал все неотложные дела, причем самым методичным образом: подготовил к печати окончательный вариант рукописи, над которой уже столько месяцев трудился, дал ее перечитать еще раз Давиду и затем отнес издателю; вспомнил кое о ком из знакомых, ненадолго или вовсе потерянных, мне вдруг страшно захотелось с ними встретиться; собрал пять тетрадей своих дневников, которые вел с 1978 года, и положил на хранение в сейф Жюля; подарил лампу и одну из рукописей тем, кому хотел их завещать; 27 января отменил в банке прежнее распоряжение о вкладе денег в недвижимость — теперь это просто глупо — и решил открыть общий счет либо с Жюлем, либо с Бертой; 28 января был у юриста в своем издательстве и выяснил, как оформляются права наследования — я собирался передать их Давиду; 29 января ходил на прием к финансовому инспектору и проверил, все ли налоги я уплатил; 31-го, впервые после долгого перерыва, ужинал со Стефаном — он стал просто специалистом по проблемам иммунодефицита и рассказывал леденящие кровь истории о больных СПИДом, — а на следующий день, тоже после долгого перерыва, позавтракал с доктором Насье — еще одним специалистом по СПИДу, противником Стефана, и за нашей совместной трапезой старался говорить, не слишком широко раскрывая рот, боясь, что он заметит мою лейкоплакию, хотя ее, разумеется, не видно, она под языком; наверное, со страху мне невольно захотелось досадить Насье — желая узнать, как умирают от СПИДа, я весь обед вытягивал из доктора самые неаппетитные подробности. А недавно я снова сходил на консультацию к доктору Шанди, подтвердил, что, разумеется, хочу умереть «вдали от любящих родителей», и, вспомнив, как лежал в коматозном состоянии Фишарт, приятель Билла, привел доктору слова Мюзиля из единственного собственноручно написанного им завещания: «Только смерть — никакой инвалидности». Никакого коматозного состояния, никакой слепоты — я просто и тихо отойду в мир иной, когда пробьет мой час. Однако доктор Шанди не стал делать записей в медицинской карте и ограничился кратким устным замечанием: по мере развития болезни отношение пациента к ней постоянно меняется — и невозможно предугадать, каким будет его окончательное волеизъявление.

Со своей стороны Жюль крайне тяжело переживал резкий переход от смутных, неопределенных догадок к полной ясности. Он восстал, но не против судьбы — против того, кто, по его мнению, вынудил нас неизвестно зачем окунуться с головой в этот омут, то есть против доктора Шанди; Жюль отказался идти к нему на прием, чтобы уточнить результаты своих анализов, и вообще не упускал случая обругать его и высмеять меня — ведь я-то хвалил его на все лады. Стоило мне после визита к доктору Шанди слегка воспрянуть духом, Жюль саркастически замечал: «Ну конечно, сначала он тебя довел до отчаяния, а теперь — что ему остается? — успокаивает». Если же доктор Шанди ввергал меня в ужас описанием того или иного симптома, конечно казавшегося мне признаком СПИДа, Жюль ерничал, возводя очи горе: «Честное слово, твой усатый дурак совсем рехнулся!» Доктор Шанди учуял это едкое презрение, и, когда я принялся было упрашивать его принять Жюля, отрезал: «Знаете, в Париже много специалистов по СПИДу, я не единственный». Жюль, конечно, насмешник и за словом в карман не полезет, сказал я доктору Шанди, но если приглядеться, на самом деле он отличный парень; доктор Шанди улыбнулся, услышав, что мой друг «насмешник», а не придира. Помирить Жюля с доктором Шанди все не удавалось, но неожиданно помог случай. Я сто раз на дню болтал с Жюлем по телефону, но однажды вечером затосковал и не стал звонить Жюлю, чтобы не портить ему настроение. Он сам позвонил мне — его неотступно преследовали мрачные мысли; когда я положил трубку, к глазам подступили слезы, но плакать я не мог и, чтобы уснуть, принял снотворное. Жюль твердо решил бросить работу и посвятить остаток дней детям; он то и дело читал и перечитывал пункт за пунктом страховой полис (он застраховал свою жизнь шесть лет назад, примерно в начале инкубационного периода).

Выплакаться мне так и не удалось. На следующий день позвонил Жюль. Он все обдумал: позволить Берте сделать анализ — равносильно самоубийству, этого допустить нельзя; нас — Берту, Жюля, детей и меня — внезапно и страшно связала одна судьба, и Жюль придумал всем нам прозвище «Клуб пяти». Еще через день я отправился к ним обедать; Берту немного знобило, она лежала в постели, читала книгу; я зашел к ней поздороваться, и она нежно мне улыбнулась: мы оба знали страшную тайну, но говорили совсем о другом. Берта давно сделалась для меня идеалом. В воскресенье утром у нее поднялась температура, Жюль не мог найти ни одного врача и в панике кинулся ко мне. Я нашел в телефонном справочнике домашний телефон доктора Шанди, вычислив код округа по давнишнему случайному упоминанию в разговоре. За последнее время я совершенно выдохся и раскис, но горе близких людей, как всегда, придало мне мужества. Через час прибыл доктор Шанди, и у Жюля сразу пропала неприязнь к нему. Оказалось, что у насмерть перепуганной Берты обыкновенный грипп. Любовные отношения с Жюлем у меня не ладились. Конечно, мы уже ничем не рисковали, разве что могли заразить друг друга повторно, но между нами призраком вставал вирус. Меня восхищало красивое, мощное тело Жюля, особенно когда я видел его нагим, однако сейчас Жюль исхудал и теперь внушал мне не любовь, а скорее жалость. Да и Берта, когда наличие вируса подтвердилось и он словно бы материализовался в облике Жюля, стала помимо своей воли испытывать к его телу отвращение. Мы с Бертой хорошо знали Жюля: он не смог бы пережить равнодушия партнера к его физическим достоинствам. Одно из побочных действий иммунодефицита,

сексуальное охлаждение, Жюлю — по крайней мере поначалу — было бы тяжелее перенести, чем саму болезнь; моральный ущерб оказался для него серьезнее физического. Внешне Жюль производит впечатление крепкого парня, но в кино, как только на экране начинаются всякие ужасы, закрывает лицо руками, точно пугливый малыш или женщина. В тот день он записался на прием к главному врачу, это недалеко от моего дома; ко мне специально зашел пораньше, и я решил сменить привычный способ траханья: прижался к нему со спины, задрал свитер, нащупал соски, начал нещадно их мять и терзать, до крови, до тех пор пока Жюль не повернулся ко мне лицом и со стоном не рухнул к моим ногам. Но ему уже пора было на прием к главному врачу. Потом он снова вернулся ко мне и объявил, что у него не конъюнктивит, а помутнение роговицы — скорее всего, это проявление СПИДа; Жюль боялся ослепнуть, его охватила паника, а мне абсолютно нечем было рассеять его страхи, я готов был заплакать от бессилия и досады. Я опять набросился на его соски, и он мгновенно, машинально рухнул передо мной на колени, сцепив руки за спиной, будто их стягивала веревка, и принялся тереться губами о мою ширинку, стелая, вздыхая и тихо моля отжаться ему во избавление боли, которую я ему причинил. Сегодня Жюль далеко от меня, но когда я пишу эти строки, то чувствую, как напрягается мой фаллос, не знавший эрекции уже несколько недель. Та вспышка тоски и страсти меня измучила неизбежной тоской, мне подумалось: мы с Жюлем затеряны где-то между жизнью и смертью, точка нашего соприкосновения на этой прямой вдруг ясно обозначилась, и мы слились воедино, словно два скелета-содомита перед минутой возмездия. Жюль проник в меня сзади и довел до оргазма, неотрывно глядя мне в глаза. Взгляд у него был невысказанно светлый и мучительный, уже беспредельно-далекий и отравленный беспредельностью. Я сдержал душившие меня рыдания, чтобы не испугать Жюля, и они прорвались глубоким вздохом в конце соития.

В основу разработанной доктором Шанди программы по исследованию крови пациента легло его предположение о существовании молекулы, которая должна замедлять разрушающее действие вируса на лимфоциты — гаранты иммунной защиты. Как только догадка подтвердилась и процент риска удалось свести к минимуму, доктор Шанди предложил мне войти в состав экспериментальной группы по испытанию препарата, получившего название «дефентиол». В США такие опыты провели, но не сумели соблюсти необходимые клинические условия, а во Франции неверно определили исходные статистические данные — и зазря потеряли полгода: ведь можно было сразу установить, эффективна молекула или нет. Доктор Шанди сделал вид, что внимательно изучает мою медицинскую карту, и якобы рассеянно заметил: «Сначала опоясывающий лишай, теперь узел саркомы... Да и по показателю T4^[7] вы имеете право быть зачисленным в группу».

Тогда же доктор Шанди объяснил мне, что такое принцип «слепого двойника» (разумеется, я о нем и понятия не имел). Поразительная вещь: ради чистоты эксперимента настоящее лекарство и совершенно нейтральный препарат — «слепой двойник» — вводят одинаковому числу иммунодефицитных больных; причем никто не знает, в какую группу попал — выбор производят по жребию. Затем, когда у больных одной группы уже проявляются явные признаки ухудшения, тайна «слепого двойника» раскрывается. Тогда этот метод показался мне чудовищным — сущая пытка для обеих групп. Теперь же, когда смерть преследует меня по пятам, и может быть, я сам ищу с ней встречи, я очертя голову бросился бы в омут неизвестности и побарахтался бы в его губительных водах. «Значит, вы советуете мне войти в экспериментальную группу?» — спросил я доктора Шанди. «Я вам ничего не советую, зато почти убежден — это мое личное мнение, — что препарат во всяком случае безвреден», — ответил доктор. Однако я не стал добиваться, чтобы меня включили в группу. Наши разговоры о дефентиоле на том и кончились бы, но вдруг несколько месяцев спустя в послеобеденной беседе доктор Шанди признался: уже тогда, предлагая мне испытать препарат, он был уверен — проку от него не больше, чем от двойника-пустышки. Тем не менее лаборатории, специализирующиеся на его изготовлении, во-первых, конкурировали со многими другими фирмами, во-вторых, не могли предложить ничего более эффективного, потому-то эксперимент не закрывали и врачей обязывали утверждать, что результаты обнадеживают, следовательно, препарат не следует снимать с производства. Я же сам ухитрился разузнать правду о реакции больных: размышляя, не войти ли мне в состав группы по испытанию лекарства, решил посоветоваться со Стефаном, напустил на себя равнодушный вид и притворился, будто по неведению спутал дефентиол с AZT; Стефан пояснил: те, кто рискнул испробовать лечение по методу «слепого двойника», чуть не сошли с ума — редко кто выдерживал больше недели, все они, измучившись вконец, кинулись в платные лаборатории проверить у фармацевтов, что им дают: «подопытные» страстно желали знать, что им досталось — настоящее лекарство или пустышка.

В газетах замелькали не встречавшиеся ранее сообщения: пострадавшие требуют взимания в судебном порядке денежных штрафов с проституток или случайных партнеров, которые, будучи инфицированы, тем не менее вступали с ними в сексуальные отношения. Власти Баварии предложили делать соответствующую буквенную татуировку на ягодицах вирусоносителей. Меня встревожило и другое: мать Поэта давным-давно велела ему провериться на СПИД, поскольку догадывалась о нашей близости. С Поэтом я всегда соблюдал меры предосторожности, даже когда он молил меня обращаться с ним как со шлюхой и еще когда я просил его отдаться Жюлю, а сам, не желая быть орудием наслаждений, передал эту роль Жюлю и удовольствовался ампула пассивной жертвы. В предвкушении оргазма я вдруг почувствовал странный аромат пота от наших трех тел, черепицей наслоившихся друг на друга: этот запах будил во мне неутолимое сладострастие, кружил голову; мне вдруг подумалось — мы с Жюлем попросту два душегуба, ни стыда, ни совести. Да нет, волноваться нечего: я аккуратно надевал Жюлю новый презерватив всякий раз, когда юноша отдавался ему, да и сам старался не кончать Поэту в рот, хотя больше всего этот гетеросексуальный тип возбуждался, видимо, тогда, когда обхватывал губами что-нибудь наподобие бейсбольной биты; Поэт постоянно сокрушался — женщины, мол, абсолютно ничего не умеют делать ртом, и в результате, безнадежно запутавшись в своих ощущениях, позволял взять себя как шлюху. Мать Поэта сама мне рассказывала — ее сын запросто мог отдаться первому встречному, задницу он подставлял черт-те кому, всяким мерзким старикам, которые подбирали его на шоссе между Марселем и Авиньоном, — ведь он часто путешествовал автостопом. Подозрения матери Поэта — вопиющая несправедливость, и ничего более: единственным известным ей любовником сына, то есть потенциальным губителем, был я! В конце концов Поэт сообщил мне в письме: «Судя по анализам, СПИДа у меня нет». Сказано почти с сожалением — юноша мечтал либо покончить жизнь самоубийством, либо прославиться.

Я пишу эти строки здесь, в обители несчастий, все еще будучи пансионером академии, где рождаются дефективные дети, а неврастеники-библиотекари вешаются на черной лестнице, где живут художники, уже побывавшие в психушке — теперь они снова в лечебницах обучают помешанных рисованию; где писатели, утратив вдруг всякую индивидуальность, начинают бездарно подражать своим предшественникам, рассказывает забавы ради Томас Бернхард, желая приукрасить повествование о завоеванном у публики призвании, столь же неотвратимом, сколь и разрушительное действие ВИЧ-вируса в крови и в клетках. У одной обитательницы нашего пансиона — ее вместе с двумя детьми бросил муж — помутился рассудок; сначала она незаметно переложила заботы о младшем сынишке на нас, сотоварищей мужа по пансиону, хотя раньше ни с кем даже не здоровалась; а затем просто тронулась умом и принялась донимать всех беспрестанными звонками и в дверь, и по телефону в самое неподходящее время, а однажды целую ночь выла от страха: ведь рядом с ней такие чудовища, как мы, — оказывается, мы похитили ее мужа и хотим изнасиловать ее детей — да-да, несчастная Жозиана совсем спятила. Приступами безумия она в конце концов обратила на себя внимание; ее все считали обыкновенной бабой, ей бы только рожать и выкармливать детей, но она бутылочку-то дать не умеет, ребенку все лицо молоком зальет; тот, стоит ей приблизиться, со страху заходится криком, а нам, растлителям младенцев, улыбается! Все боятся, что она выкинет ребенка в окно; я раньше никогда не заглядывал в тот угол сада, но сегодня утром подошел к ее окнам, будто ноги сами привели меня туда, в зону высокой концентрации всяческих бед; я из укрытия наблюдал за ней — расстелив на балконе одеяло, Жозиана принимала солнечные ванны. Я испугался — вдруг безумная обернется ко мне и сбросит на меня ребенка, — но вообще я был готов к этому, представить себе подобную картину было несложно. Как и остальные, я рад был бы поверить в страдания Жозианы; да, она еще вообразила себя художницей и малюет на стенах губной помадой имя одного из пансионеров, зациклилась на нем, потому что он был единственным другом ее мужа. А нас, прочих обитателей (мы между собой и словом ни разу не перемолвились, даже гулять по дорожкам сада предпочитали в одиночестве), — нас теперь объединило горе этой женщины; со стороны могло показаться, будто мы заботимся о ее благополучии, на самом же деле мы, кажется, с диким упорством подталкивали несчастную к верному концу. И жизнь нашей заброшенной обители наконец озарилась смыслом, лелея горе этой женщины, мы нашли свое призвание, цель бытия; вот так сирая обитель превратилась в работающую на полную мощность фабрику несчастья.

Я вернулся в Рим, оставив тайну своей болезни в Париже. Однако пришлось выкручиваться, объяснять Коту, отчего я так помрачнел, иначе он извел бы меня расспросами. Не было дня, чтобы Кот не приставал ко мне: «Эрвелино, да что с тобой? Ты какой-то странный... Совсем изменился... О чем ты все время думаешь? Я ведь тебя люблю и, конечно, волнуюсь...» Поначалу я делал вид, будто не понимаю, о чем он, потом послал его к черту, но Кот все упорствовал. И однажды, с глазу на глаз, я открыл ему правду, сказал открытым текстом — у меня, мол, очень плохо со здоровьем; он умолк и больше ни о чем не спрашивал. Чудовищное признание — когда я сказал, что болен, болезнь материализовалась, обрела мощь и разрушительную силу. Мы сделали первый шаг к отчуждению, которому суждено было завершиться трауром и слезами. Вечером Кот пришел ко мне и принес подарок — звездообразный светильник, я уже давно и безуспешно искал такой, а Кот вдруг достал его, точно фокусник или волшебник; он как бы заклинал меня: не бойся, наперекор всем тревогам и бедам лампа-звезда долго будет тебе сиять. Мы пошли в дансинг и танцевали там, пока совсем не выбились из сил, — хотелось доказать самим себе, что есть еще порох в пороховницах, что мы еще проживем. Правду сказать, и я беспокоился о Коте — ведь прежде чем стать моим ближайшим другом, пять лет назад он был моим любовником, примерно в период моего заражения. Его нынешняя подружка постоянно кашляла, болела и к тому же ждала ребенка. Она была уже на четвертом месяце, а потому я как можно деликатнее предупредил Кота — надо бы ему провериться, но ей ничего не говорить, не тревожить зря. После нашего разговора Кот впал в страшное уныние, к тому же ему приходилось скрывать тревогу; он вернулся на родину и бессонными ночами, стоя у окна, за которым шелестел листвой огромный ясень, думал — делать анализ или нет, терзался собственной нерешительностью, то жаждал провериться, то отказывался от этой мысли. Утром, в день отъезда в Рим, Кот, доведенный до крайности, все же пошел в лабораторию: так, заплутав в колючем кустарнике, не найдя дороги, человек взбирается на высокую стену и решает прыгнуть вниз, чтобы выйти из тупика. Коту тоже достался какой-то номер, как в лотерею, — уезжая, он сообщил его одному надежному человеку. Теперь Кот вернулся в Рим, мы шли по аллее, немного поотстав от его подружки и незнакомого мне приятеля, в тот вечер Кот надел синее габардиновое пальто и шляпу, после возвращения он все время нервничал, куксился, раздражался по пустякам, а сейчас в парке прошептал мне: «Слушай, я проверился...» Я, затаив дыхание, с нетерпением ждал, что он скажет. «Ну и как?» Ситуация не из легких — мы оба могли в эту минуту сомневаться во взаимной приязни. Тот, кому Кот оставил свой номер, сходил вместо него узнать результат и только что позвонил. «У меня все хорошо», — ровным голосом ответил Кот. Я улыбнулся, новость принесла мне — пусть это не покажется ложью — глубокое, искреннее облегчение.

Я точно знал: в глубине моего тела притаился ВИЧ; может, в лимфатической системе, может, в нервной, может, в головном мозге, и там он набирает силу, готовится к смертельной атаке — его часовой механизм установлен на взрыв — правда, через шесть лет; я уже не говорю об узле саркомы под языком, от этой напасти избавиться невозможно, мы махнули на нее рукой; потом у меня начали появляться побочные недомогания — доктор Шанди пытался их лечить, нередко прямо по телефону: очаги экземы на плечах — локоидом, однопроцентной кортизоновой мазью, диарею — эрцефурилом-200 (по капсуле через четыре часа в течение трех дней), страшно беспокоивший меня ячмень — с помощью глазных капель «Дакрин» и ауреомициновой мази. Во время первого приема доктор Шанди говорил мне: «На сегодняшний день СПИД еще не лечится, лечить можно лишь отдельные симптомы по мере их появления, а на последней стадии больным дают АЗТ, но с одним условием — начав принимать, принимать до самого конца». Он не хотел сказать «до смерти», а только — «до полной непереносимости». Сейчас, будучи в Риме, я обнаружил на шее справа от кадыка слегка болезненный, припухший желвак, и в то же время у меня стала повышаться температура. Газеты уже несколько лет твердили: увеличение лимфатических узлов — главный признак СПИДа, я встревожился и позвонил в Париж доктору Шанди, он рекомендовал противовоспалительное средство типа нифлурила, но забыл сообщить мне его состав, чтобы я нашел итальянский аналог. Беспреданно ощупывая желвак, я в панике помчался в аптеку на площади Испании, потом — в международную, на площади Барберини, оттуда пришлось бежать в Ватикан, и я против воли попал еще и в это невероятное государство: здесь, чтобы купить лекарство, надо прежде ответить на вопросы педантичного чиновника, отстоять очередь перед окошечком, подать паспорт, дожидаться, пока в пропуске, дубликаты и множестве копий поставят печати, потом предъявить этот пропуск грозному стражу — и наконец войти в святой город. Его улицы напоминают подступы к супермаркету на окраине провинциального городка: покупатели толкают тележки, набитые подушками для грудных детей и ящиками с освященной минеральной водой, — ясно, набитые доверху, ибо в святом городе вещи и продукты дешевле — в городе-государстве внутри другого города; Ватикан соперничает с Римом, у него есть собственная почта, собственный суд, тюрьма, кинотеатр, игрушечные церкви, куда заходят помолиться между делом; я заблудился и аптеку нашел с трудом — ослепительно белую аптеку будущего, готовую декорацию для съемок «Механического апельсина» Стэнли Кубрика: на одном конце прилавка монахини в белых блузах поверх обычных серых одеяний торговали беспощинной косметикой и духами «Опиум» фирмы «Ив Сен-Лоран», на другом — священники в серых воротничках, выглядывающих из ворота блуз, торговали аспирином и презервативами; я понял — нет, мне не раздобыть нифлурил ни в римских аптеках, ни даже в ватиканской.

В Рим на неделю приехал Жюль, и от того, что он был рядом, я запаниковал еще больше. Два СПИДа на одного — это уже слишком: ведь мне теперь казалось, будто мы с Жюлем не собрались по несчастью, а единое существо, и когда я говорю с ним по телефону, то слышу еще один свой голос, и когда обнимаю Жюля, то вновь обретаю свое же собственное тело; двум очагам скрытой инфекции тесен один организм. Будь один из нас болен, а другой здоров, создалось бы некое защитное равновесие, и наше несчастье уменьшилось бы вдвое. Вместе же мы погружались в двойную болезнь, окончательно и

бесповоротно тонули в ней, шли прямо на дно, в самую глубь. Жюль отчаянно боролся, он не хотел становиться моей сиделкой — сыт по горло; я кипятился, обижал его, даже радовался всякому поводу возненавидеть его. Жюль признался, что месяц назад у него по всему телу — на шее, под мышками, в паху — вспухли лимфатические узлы, через неделю все прошло само; он вообще привык справляться с болью и тревогой без посторонней помощи, а вот я, дескать, поступаю наоборот, выплескиваю свои страхи на друзей, тут мне нет равных, даже Давид говорит, что это отвратительно. Нас с Жюлем доконали выходные, мы проводили их в Ассизи и Ареццо, двух вымерших городах, дождь лил не переставая, я то стучал зубами, то дремал в холодном гостиничном номере, с балкона открывался неуместно роскошный вид, Жюль дни и ночи напролет бродил по мокрым улицам — лучше уж мелкий, затяжной, ледяной дождь, чем мои слезы. Мы вернулись в Рим, а там Жюль заторопился домой, нам тошно было друг от друга, Жюль собирался на вокзал, и тут я скрючился на постели, в тоске, молил не бросать меня, отвезти в больницу. Когда он ушел, мне полегчало, я был лучшей сиделкой самому себе, никто иной не мог понять моих мук. Опухоль на шее опала сама; как Мюзиль для Стефана, так и Жюль для меня стал олицетворением болезни, я для него, несомненно, — тоже. Оставшись в одиночестве, присмирив, большую часть времени я отдыхал и ждал некоего избавления свыше.

Жюль заметил: в вестибюле института имени Альфреда Фурнье постелили новый ковер; после того как с эпидемией сифилиса покончили, институт долго бедствовал, но потом дела его внезапно пошли в гору, словно на фабрике по производству презервативов. Институт раздобыл на крови инфицированных клиентов — контрольные анализы сдают каждые три месяца. Исследование крови на ВИЧ-вирус стоит пятьсот двенадцать франков, расплачиваться теперь можно не наличными, а по кредитной карточке. Медсестры там шикарные: чулки светлые, туфли без каблуков, юбки прекрасно сшиты, строгие воротнички выглядывают из-под халата, с виду — то ли преподавательницы музыки, то ли банковские служащие. Девушки натягивают резиновые перчатки, словно бархатные — будто собираются в оперу. Мне попала на редкость деликатная медсестра — делая укол, она замечает даже, насколько сильно пациент бледнеет. Изо дня в день у нее перед глазами льется зараженная кровь, и хотя на ней тонкие резиновые перчатки, опасность подстерегает ее на каждом шагу; сестра с шумом сдергивает перчатки и, взяв голыми пальцами лейкопластырь, налепляет его на ранку. «У вас какой одеколон? «Красный фрак»? — вдруг спрашивает она. — Я его сразу узнала. Пустяк, конечно, но мне было приятно. Утро нынче выдалось хмурое, а тут вдруг — любимый аромат, ну просто нечаянная радость!»

18 марта 1988 года я снова в Париже и ужинаю у Робина вместе с Густавом, завтра они уезжают в Таиланд; точно помню: с нами были еще — по порядку, как мы сидели за столом, — Поль, Диего и Жак-Жак, а также Билл, он прилетел утром из Соединенных Штатов. В тот вечер мы шестером слушаем монолог Билла. Он в состоянии неопишимого возбуждения и буквально не закрывает рта, все другие разговоры сразу прекращаются. Билл, захлебываясь, рассказывает: в Америке начали выпуск эффективной вакцины против СПИДа, точнее, не совсем вакцины, поскольку вообще-то вакцина — средство профилактическое, а это, если так можно выразиться, лечебная вакцина, которую получают на основе ВИЧ и вводят инфицированным пациентам, не имеющим симптомов болезни (их называли «здоровыми вирусоносителями»), итак, вакцину вводят до тех пор, пока не восстановятся силы зараженного СПИДом организма, пока вирулентность не будет подавлена и разрушительное действие вируса не блокировано. Сведения эти, по словам Билла, — совершенно секретные, он надеется на наше благоразумие: ведь нельзя раздавать обещания направо и налево и понапрасну обнадеживать несчастных больных — они могут впасть в состояние аффекта и невольно помешают тщательному проведению эксперимента (он вот-вот начнется во Франции); конечно, у всех присутствующих есть заболевшие знакомые, но, разумеется, мы здесь все здоровые. Из числа присутствующих я, возможно, единственный больной — хотя как знать? СПИД всегда скрывают... Да, рассказ Билла взволновал меня не на шутку, ибо поколебал нерушимую уверенность: я ведь уже свыкся с мыслью о болезни и близкой смерти. Я испугался, что выдам себя — побледнею как полотно или зальюсь краской, и чтобы враз покончить со страхом, насмешливо бросил Биллу: «Так ты что же — собираешься всех нас спасти? Всех до одного?» — «Не говори глупостей! — отрезал Билл, прервав на минуту свой рассказ. — Ты же не инфицирован». И вновь обратился к остальным: «А вот больным — таким, как был Эрик или твой брат, это поможет». Билл (в присутствии пяти человек) говорил о брате Робина. Я не знал, что скончавшийся прошлым летом Эрик и гетеросексуальный юноша, младший брат Робина, только сегодня отправившийся в кругосветное путешествие на паруснике, были, как и я, инфицированы. В США, продолжал тем временем Билл, уже получены предварительные результаты первой серии испытаний: 1 декабря прошлого года вирусоносителям без симптомов болезни ввели вакцину, после чего врачи три месяца продолжали наблюдение за испытуемыми. Судя по всему, вакцина полностью уничтожила вирус, присутствовавший в тканях организма и в физиологических жидкостях — крови, сперме, выделениях слезных и потовых желез. Результаты превзошли все ожидания, и с первого апреля решено начать вторую серию испытаний. Фактически это уже третья серия, потому что перед первой проводилась еще одна, но тогда взяли больных в слишком тяжелом состоянии — сейчас все они либо умерли, либо уже при смерти. Для новой серии отобрано шестьдесят вирусоносителей без симптомов болезни, их объединили в группу под названием «2В». Половине больных введут вакцину, другой — ее «слепой двойник». Результаты, в общем, будут получены где-то через полгода; затем, если они окажутся удовлетворительными, как позволяет надеяться исход серии «2А», подобные испытания будут проведены и во Франции; это может спасти больных — таких, как Эрик или любимый брат Робина. Оказалось, Билл непосредственно по своей работе связан с проектом изготовления вакцины и ее возможной

продажи: ведь он — директор крупной французской лаборатории по производству вакцин и давнишний, близкий друг изобретателя нового препарата — Мелвила Мокни.

Открытие Мокни сводилось к простой догадке: вакцину нужно синтезировать на основе ядра ВИЧ, тогда как его коллеги, зная схему строения вируса, пробовали использовать оболочку. Исследователи терпели неудачу за неудачей, причем с каждым разом дела шли все хуже и хуже, и теперь, по словам Билла, об этом узнают специалисты всего мира, в Стокгольме с 11 по 18 июня у них пройдет конференция; Билл без умолку стрекотал о вакцине, информация поступала к нему от самых близких друзей, он хотел знать все — эти новости могли перевернуть всю его жизнь. В самом деле, Биллу надоела изнурительная работа, неизбежное одиночество, бесконечные поездки из Франции в Африку и обратно, в Африке он сотрудничал с общественными медицинскими организациями. Прежде Билл в сфере здравоохранения поддерживал политику правящей партии, но накануне очередных президентских выборов во Франции партия была на грани краха. Билл и сам подумывал о политической карьере; правда, его смущал расхожий взгляд на политических деятелей как на невежд и болванов. На сегодняшний день, считал он, нет дела серьезнее и важнее, чем борьба со СПИДом, потому что эпидемия катастрофически растет. И действовать надо очень быстро. Не исключено, что Биллу придется переехать в США, в Майами, где эту вакцину будут производить целыми чанами — огромными, столитровыми, сначала дезактивируя вирус, затем подвергая его криогенезу, оттаиванию и нейтрализации лучами лазера по всем правилам, соблюдая предосторожность, чтобы лаборанты не заразились. Билл как друг Мелвила Мокни — они знакомы уже лет двадцать — и одновременно директор крупной лаборатории по производству вакцин оказался причастным к открытию, которое должно спасти человечество от самой страшной угрозы нашего столетия. Кроме того, откровенно признался Билл, на вакцине удалось бы нажать солидное состояние, хотя, сказать правду, распоряжаться деньгами он никогда не умел. Билл подвез меня домой на своем «ягуаре», всю дорогу я молчал; мне предстояло провести с ним наедине еще весь завтрашний вечер, а потом мы разъедемся каждый в свою сторону: он — в Майами, я — в Рим. Всю ночь я не сомкнул глаз — страшно волновался. Я уже решил не рассказывать новостей Жюлю, а теперь решил и не посвящать Билла в тайну своей болезни. Я сосчитал дни по датам дневниковых записей: с 23 января, когда я побывал в лаборатории на улице Юра и узнал не подлежащий обжалованию приговор медиков, до 18 марта, сегодняшнего дня, принесшего мне другие вести (может статься, не так страшен тот диагноз, уже принятый мною как неизбежность), прошло пятьдесят шесть дней. Я прожил пятьдесят шесть дней, свыкаясь с мыслью о своей обреченности, — то храбрился, то отчаивался, то забывал о близком конце, то думал о нем неотступно. Теперь для меня начался новый период — время ожиданий, надежд и сомнений, — и, возможно, он даже ужаснее предыдущего.

В ту ночь я еще раз убедился, что надо мною властвует случай: почему именно я подцепил СПИД и почему именно Билл, мой друг Билл, одним из первых людей в мире узнал способ избавить меня от кошмара бытия или от желанной смерти? Почему в тот вечер осенью 1973 года, почти пятнадцать лет назад, когда я в одиночестве ужинал в кафе на бульваре Сен-Жермен, он подсел именно к моему столику? Мне едва исполнилось восемнадцать, а ему-то сколько? Тридцать, тридцать пять — столько сейчас мне самому. Я был страшно одинок, но он, конечно, тоже, еще больше, чем я, — одинок и беззащитен рядом с незнакомым юношей, как сегодня и я сам. Он вдруг ни с того ни с сего предложил мне отправиться с ним, пилотом, в Африку на служебном самолете. Именно от него в тот вечер я услышал фразу, которую годы спустя, сочиняя киносценарий, вложил в уста одного из героев, летчика по профессии: «Знаете, в Африку попасть очень просто, надо только сделать прививки — от тифа, от желтой лихорадки, а с завтрашнего дня начать принимать нивакин, такой противомаларийный препарат, две недели, по таблетке утром и вечером, — из Парижа нам вылетать как раз через две недели». Почему я в последний момент отказался от поездки, так ни разу и не встретился с Биллом за те две недели, хотя звонил ему и готовился к отъезду? А ведь собирался всерьез — сделал все прививки и даже начал принимать нивакин. Почему мы потеряли друг друга из виду и встретились лишь пять лет спустя, июльским вечером 1978 года, на выставке-коллоквиуме фотографов в Арле? Но разве жизнь Билла не более невероятный пример жестокой власти рока? Увы, судьба распоряжается людьми, вертит этими бессильными и жалкими существами как хочет, играет ими. И разве не сверхъестественны отношения Билла с ученым, на открытии которого он собирался нажить состояние? Кстати, и разница в возрасте у них была та же, что у нас с Биллом. Мелвил Мокни прославился в 1951 году, когда изобрел противополополиомелитную вакцину. После войны маленький Билл вслед за сестрой внезапно заболел полиомиелитом; вирус поражал один за другим основные мышечные центры, начиная с лицевых мышц (поллица у больного было перекошено), и кончая жизненно важными дыхательными органами, чье естественное функционирование полностью нарушалось. Несчастные жертвы — зачастую это были дети — оказывались заживо погребенными в печально известных камерах искусственного дыхания вплоть до смертельного удушья. СПИД при пневмоцистозе или поражении легких саркомой Капоши также приводит к смерти от удушья. У Билла уже была парализована часть лица, отчего один глаз не закрывался, нарушились двигательные рефлексы губ с правой стороны, мертвая половина его лица — слева от меня, если за ужином сажу напротив. Но исцелиться ему помогло вовсе не изобретение того, кто позднее стал его коллегой и другом. В 1948 году, за три года до разработки Мелвиллом Мокни противополополиомелитной вакцины, мальчику удалось усилием воли — или это была счастливая случайность — обуздать мощный и разрушительный вирус, укротить его, точно разъяренного льва, и без помощи вакцины навсегда изгнать болезнь из организма. Билл рассказал мне, что Мелвил Мокни — так и не удостоенный Нобелевской премии, ибо знал о связанных с соискательством махинациях и даже не хотел выполнять обязательных правил оформления и подачи документов — удалился в научный центр в Рочестере, где занялся исследованием коры головного мозга, и вскоре доказал: мозг рассылает по всему организму не только нервные импульсы, но и особые жидкие выделения, которые оказывают на его

жизнедеятельность столь же решающее воздействие.

Итак, 19 марта, в субботу, я обедал с Биллом; с Жюлем я утром поговорил по телефону, и он велел мне рассказать Биллу о нашем положении, то же самое во время традиционного субботнего обеда горячо советовала мне сделать и Эдвиж. Однако я колебался: не столько сомневался в Билле, сколько не желал нарушать сговор с судьбой — видимо, окончательный, несущий избавление от мук бытия. Давным-давно Жюль, еще не зная, что мы инфицированы, сказал мне: СПИД — удивительная болезнь. Я и впрямь почувствовал во всех сопутствующих ей ужасах нечто поразительное, притягательное; да, она несет смерть, но не мгновенную, она плавно проходит иерархию степеней, и пусть в конце ждет неминуемая смерть, но каждая ступень — превосходный урок истинной онтологии; эта болезнь определяет человеку срок умирания, определяет срок наступления смерти, срок осознания феномена времени, жизни вообще; СПИД — гениальное достижение современности, которое нам досталось от африканских зеленых мартышек. Погибель, поселившись внутри человека, оказывается живучей и в результате не такой уж безжалостной. Если жизнь — всего лишь ожидание смерти и нас беспрестанно мучает неопределенность (когда придет страшная гостья?), то СПИД отмеряет нам точный срок: шесть лет вы — вирусоноситель, затем еще два года продержитесь с помощью АЗТ — это в лучшем случае, а без лекарства — несколько месяцев; жизнь становится четко обозримой, очерченной: отныне вы навсегда избавлены от неведения. Если Билл пустит в ход свою вакцину, от моей обреченности ничего не останется и я скачусь к прежнему неведению. Из-за СПИДа я за несколько месяцев словно бы прожил годы. Мы с Биллом договорились сходить в кино — на «Империю солнца»^[8]. Паршивенький триллер о мальчишке, который потерял родителей и борется за жизнь в чудовищном мире: война, концентрационный лагерь, где сильный властвует над слабым, бомбежки, жестокость, голод, черный рынок и так далее — триллер, изобилующий американскими киношными штампами. Когда страсти на экране накалялись, Билл весь напрягался и судорожно сглатывал. Я тайком поглядывал на него: глаза горячечно блестят от навернувшихся слез, он буквально прирос к экрану и, возможно, не просто следил за маленьким актером, но проникал в символический смысл картины: удел людской — несчастье, но сильный духом всегда его побеждает. Я знал, что умница Билл при всем том — необычайно простодушный зритель и в кино все принимает за чистую монету, однако сейчас его простодушие было мне противно, а еще противнее становилось от другой мысли: внезапная, фантастическая, как сказал бы недруг, перспектива прозрения, которую открыл мне СПИД, несовместима с этим плебейским простодушием. Выходя из кинотеатра, я твердо решил: ничего Биллу не скажу — ни о том, что задумал, ни о том, к чему побуждал элементарный инстинкт самосохранения. Время было позднее, рестораны уже закрывались, да и машину толком негде было поставить — улицы в квартале Марэ такие тесные. Пришвартовались наугад у странного еврейского рестораника, куда зазывал клиентов какой-то чудной официант, переодетый казаком. На столиках ярко пылали свечи. Мы с грехом пополам втиснулись между парочками влюбленных, которые нежно ворковали, склоняясь над рыбным ассорти, и, разумеется, мешали нам перейти к делу. Но Билл сел-таки на своего конька после двух-трех пустых фраз о фильме, и я, вопреки собственному намерению не затрагивать болезненную тему (не зря, наверное, Билл говорил столь небрежным тоном), решил допросить его о том, что волновало нас обоих, но по

разным причинам; я тут же засыпал его вопросами: кто изготавливает «как-его-там» и когда «как-их-там» смогут наконец получать «как-его-там»; сидевшие за соседними столиками, должно быть, принимали нас за главарей наркомафии.

После ужина Билл повез меня домой, и уже в машине я спросил, умеет ли он хранить тайны. «Ягуар» бесшумно мчался по пустынным парижским улицам и, казалось, под звуки музыки парил в воздухе. Я выложил Биллу все, словно ведомый волею своих друзей и собственным здравым смыслом, выложил вопреки своей воле и данному самому себе зароку; по блеску глаз — он их не отрывал от дороги, бесконечной ленты, разматывающейся перед ветровым стеклом, похожей на ту, вьетнамскую, военных времен, что мы видели в кино, — я безошибочно понял: ужасная новость потрясла Билла — что до нее недавно пережитым киношным страстям, обрушившимся на нас. «Я так и думал, — заговорил, придя в себя, Билл. — Еще когда у тебя был опоясывающий лишай, я предположил... Потому и направил тебя к доктору Шанди — в надежные руки... Теперь я точно знаю: надо спешить, надо торопиться». На следующий день Билл улетел в Майами. Перед отъездом он спросил меня: «Какой у тебя показатель T4?» Уже меньше 500, хотя и больше 400; критическая отметка — 200.

После того вечера Билл исчез, перестал звонить, а ведь до этого просто мучил меня бесконечными ночными звонками, хотя обычно он деловит и краток, а тут звонил мне в Рим из Майами, прямо из контор, после рабочего дня, они начинали в семь утра и сидели целый день, с перерывом всего на четверть часа, только бы успеть перехватить по бутерброду; но наступал вечер, и деловое возбуждение, весь день державшее Билла, уже казалось ему глупым, становилось невыносимым, ибо усиливало одиночество: коллеги отправлялись к домашним очагам, а Билл оставался в конторе один, брал записную книжку, пробегал ее глазами — листки виделись ему пустыми, чистыми, в конечном счете выходило, будто я у него чуть ли не единственный друг на всем белом свете; ничего особо важного Билл не говорил мне, жаловался, что устал, что его одолевают сомнения, что ему скучно так жить, и всякий раз довольно игриво предлагал мне рассказать о моих любовных приключениях, ибо собственных не имел; начинал выспрашивать, кто это у меня в постели — хотя я, конечно же, спал один; ему чудилось, что у меня перехватывало дыхание от невероятных телодвижений, а голос у меня попросту был хриплый со сна — в такие минуты я жалел Билла. Он никогда не брал на себя дружеских обязательств, даже когда не был связан работой, делами, — вот оно его проклятье, болезнь, недуг, губивший нормальные отношения с людьми. Билл хотел оставаться свободным, распорядиться своими вечерами и приходить в гости в последний момент, словно испытывая весьма немногочисленных друзей на верность; он ни за что не соглашался твердо договариваться о времени встречи, если не сам организовывал ужин, — приходилось созваниваться второпях, между семью и восемью, даже если мы уже пытались обсудить все это заранее. Билл по-королевски помпезно являлся к друзьям, а иногда прилетал на своем «ягуаре» точно вихрь и увозил кого-нибудь одного, руша отношения, сложившиеся внутри нашей компании, приглашал в дорогой ресторан или же вдруг приезжал с приношением — ящиком великолепного вина «мутон-ротшильд», купленным за пару миллионов, да еще с надбавкой. Но когда выяснялось, что после ужина Билл должен отвезти домой кого-либо из гостей, ему вдруг становилось дурно, тошно, муторно, в таком состоянии он готов был обухом хватить по своему «ягуару» — ведь его превращали в маршрутное такси — или по голове приятеля, посмеявшего оскорбить мощную благородную серебристую машину, в которой он ездил под музыку Вагнера. Садясь за руль, Билл натягивал потертые кожаные перчатки; теперь ничто не должно мешать ему, пусть все, кто попадет в поле его зрения, в изумлении расступятся — как безупречно, плавно, легко ведет он машину! Если же пешеходы норовили перейти не по «зебре», а наглые, глупые водители не уступали Биллу дорогу, то он превращался во всевластного регулировщика движения в Париже, а я дрожал от страха — вдруг собьем какого-нибудь разиню. Однако с годами мы привыкли друг к другу. Меня чуть ли не единственного Билл соглашался отвезти домой после наших ужинов, в присутствии всей нашей компании предлагая мне воспользоваться высокой привилегией, но я по крайней мере заслужил это право. Конечно, я мог бы с тем же успехом добраться и на такси, правда, не марки «ягуар», тем не менее услуги Билла я предпочитал еще и потому, что они дорого ему стоили: эта маленькая хитрость помогла мне переломить его неприятие обязанностей, налагаемых званием друга, я бросал вызов его непримиримой гордыне и низводил Билла — нет, не до положения шофера, каковым он, ворча, нехотя прикидывался, а просто-напросто до положения верного друга,

чего я добивался несколько месяцев, с тех пор как посвятил Билла в тайну своей болезни, — и тут он вдруг как в воду канул. Я то мучился этим, терзался, то жалел, что доверился ему, но, если честно, его молчание меня не слишком удивило; скажу больше: я абсолютно все понимал и мысленно потирал руки — внезапное и долгое молчание, знак чудовищного предательства, доказывало — на сей раз Билл опустился до двуличия. Представляю себе, как у него голова кругом пошла: сперва возил меня на машине, а теперь, когда перед ним открывалась возможность (каким тяжким бременем легла на его плечи эта невыносимая обязанность) спасти друга от смерти — Билл, наверное, весь извелся от страха. Было от чего дать тягу, сменить номер телефона и затаиться.

Несколько лет тому назад, кажется в 1983 или 1984 году, Билл, крайне скупой на дружеские излияния, прислал нам из Португалии длинное душераздирающее письмо. Оказывается, он серьезно заболел — у него болезнь печени, это какой-то непонятный африканский вирус, — и дни его, похоже, сочтены; Билл сообщал, что по возвращении обязательно ляжет в больницу на операцию, но прежде решил съездить в Португалию, о чем давно мечтал. И в письме, написанном на бумаге с грифом самого большого и роскошного лиссабонского отеля, дальше говорилось: он путешествует сейчас по курортам атлантического побережья в окрестностях Синтры — чудесные, сказочные места; там Билл вдруг вспомнил о нас, признавался он в своем пространном послании — прямо-таки декларации дружеских чувств. Болезнь и угроза смерти открыли ему глаза, и мы, друзья, бывшие для него дотоле на втором плане, стали важнее всего прочего. Письмо Билла взволновало меня, и я отправил в Лиссабон короткий, но очень сердечный ответ. Затем Биллу сделали операцию — удалили часть печени, — он скоро поправился и начисто забыл о летних терзаниях в чудесном курортном уголке на атлантическом побережье Португалии.

Я встретился с Биллом лишь вечером 14 июля в местечке Ла Кост, у нашего общего друга Робина; Билл прилетел из Майами утром того же дня, в больнице Валь-де-Грас успел переговорить со своим анестезиологом, а потом отправился высокоскоростным поездом в Авиньон, где взял напрокат машину. Вечером следующего дня Билл должен был вернуться и лечь на операцию: у него произошел разрыв брюшных мышц, это нередко случается у сорокалетних мужчин. Я тоже уехал из Парижа совершенно измученный. Душевная боль довершила мое отчаяние; все мои друзья покинули столицу, и я, оставшись в одиночестве, попал в руки двух двоюродных бабушек — они безжалостно, словно вампиры, высасывали из меня все соки, до последней капли, как только находили кровоточащую рану. Билл изнемог от бесчисленных поездок, из-за разницы во времени превратился чуть ли не в лунатика; вероятно, он ошалел еще и от транквилизаторов, которые ему назначили перед операцией. Конечно, мне нужно было безотлагательно переговорить с ним, но в присутствии остальных я и виду не подавал, что нервничаю.

Допрос вести даже не пришлось — друзья атаковали Билла. Мы узнали, что эксперименты продолжаются и результаты по-прежнему обнадеживающие. Стокгольмская конференция (за ней я следил по газетам, но о вакцине известий так и не нашел), вопреки ожиданиям, не принесла ничего нового; о докторе Мокни почти не упоминали; его выступление на конференции, по мнению совета старейшин, могло оказаться преждевременным, оно навредило бы ходу эксперимента. Коллеги доктора набросились на него, потому что первые положительные результаты испытаний вакцины, полученной на основе вирусного ядра, лишь подчеркивали крупный провал многочисленных экспериментов на оболочке вируса. Самое главное теперь, добавил Билл, — устоять перед натиском авантюристов-предпринимателей, дельцов, которые могут в мгновение ока пронюхать о новинке и взвинтить цену. «Если они доберутся до вакцины Мокни, — пояснил Билл, — то одна доза будет стоить тысячу долларов, а должна — всего десять; вот тут человечество и сойдет с ума». Мы ужинали на уютной зеленой террасе деревенского ресторанчика близ горы Ванту в обществе изумленных юнцов. Робин, как обычно, выбрал нам блюда из свежих овощей, на десерт мы ели клубнику, красную смородину, а еще — крохотными ложечками — кефир «Альпа», ароматизированный малиной, ванилью и какао. Нам с Биллом пришлось вернуться в гостиницу — в беседку нагрянула компания юных тайландцев; их, конечно же, послали сюда родители, заметил хозяин ресторанчика, — знакомиться с Францией. Билл от перенапряжения едва держался на ногах, однако, оставив в номере вещи, несмотря на поздний час, предложил выпить по бокалу вина в соседнем бистро или в кафе напротив, где играл небольшой оркестр, и там переговорить с глазу на глаз. Не успел я и рта раскрыть, как Билл, шурясь от усталости, забросал меня вопросами — как Жюль? как Берта? дети? Потом поинтересовался, как себя чувствую я и что показывают теперь мои анализы. «Если дела пойдут хорошо и дальше, то во Франции эксперименты начнутся в сентябре или в крайнем случае в начале декабря, — сказал Билл, — тогда по группе «2В» мы уже будем получать действительно весомые результаты». Я спросил, может ли он, как и предлагал раньше, хлопотать, чтобы нас — Жюля, Берту и меня — включили в группу испытуемых, а еще — придется ли нам подвергнуться лечению по методу «слепого двойника». «Нет, конечно, — возмутился Билл. — Уж кому-кому, только не вам, но не стоит пока распространяться о

деталях. Это мое предварительное условие черным по белому записано в договоре, который мы, производители вакцины, заключили с администрацией военного госпиталя — там мы проведем испытания». — «А ты возьмешь нас с ведома Шанди?» — спросил я. «Нет, — ответил Билл. — Ему придется только наблюдать за состоянием пациентов, вакцинированных в ходе эксперимента. Но было бы нечестно выделять вас до этой статистической лотереи по методу «слепого двойника». Более того, именно доктор Шанди будет убеждать вас согласиться, и нам придется делать вид, будто вы ничего не знаете. — Билл немного помолчал, а затем добавил: — Во всяком случае, если с экспериментом во Франции выйдет хоть малейшая заминка, я возьму всех троих — Жюля, Берту и тебя — в Майами и договорюсь с Мокни, чтобы он сам ввел вам вакцину».

В праздничные выходные 14 июля все билеты на самолеты уже были проданы, и мы с Биллом и Диего возвращались в битком набитом высокоскоростном поезде; там мы устроились довольно неплохо — чередовали походы в бар и отдых в закоулках купе, где можно было сидеть прямо на полу. Билл, смеясь, читал мою книгу; я только что получил ее от издателей и подарил ему, сделав глубокомысленную, серьезную и нежную дарственную надпись, какой не делал еще никогда, — кажется, я хватил через край. Мои пальцы хранили ощущение тепла и неги: вчера вечером я ласкал спину чудесного юноши по имени Лоран, волна радости поднималась до самого сердца; этот сеанс «безопасного секса» омыл мою душу чувственностью. Билл на следующий день должен был лечь в больницу в Валь-де-Грас на операцию брюшных мышц, мне же надо было каждое утро бегать вниз и смотреть — нет ли в почтовом ящике толстого конверта из института имени Альфреда Фурнье; письмо придет, как я договорился с врачом, на имя Густава, а поперек конверта поставят штамп «врачебная тайна» — свидетельство того, что болезнь может завершиться летальным исходом; я ждал результатов последних анализов, которые сделал перед отъездом в Ла Кост. Когда я пришел в тот день в институт как положено — натошак, а потом выскочил на улицу и ринулся в ближайшее бистро пить кофе чашку за чашкой и лихорадочно поесть рогалики и сдобные булочки, мне казалось, будто я страшно ослабел и болезнь прогрессирует, я не сомневался, что результаты анализа будут плохими, я приду в отчаяние и неудержимо покачусь вниз, тогда доктор Шанди и прочие медики будут принимать мои жалобы всерьез. Однако в сложенном вчетверо плотном листке, который я сначала судорожно, а потом очень медленно расправлял, стоя у почтового ящика, таился сюрприз; мне казалось, что я сильно ослаб из-за болезни, на самом же деле в развитии вируса наступила некая пауза, совершился чуть ли не возврат к прежнему состоянию, поскольку показатель клеток Т4 поднялся выше 550, то есть приблизился к норме; он ни разу не достигал этой отметки с тех пор, как я начал делать эти специальные анализы, связанные с воздействием ВИЧ на процесс снижения количества лимфоцитов у вирусоносителей; мой организм, по выражению доктора Шанди, познал внезапное оздоровление, хотя никаких лекарств — ни дефентиола, ни чего-либо другого — я не принимал. И вот, стоя в подъезде у ящика, я ощутил словно бы приток свежего воздуха — да, что-то изменилось, расширился мой жизненный горизонт; самое мучительное для умирающего от неизлечимой болезни — потеря будущего, окончательная и бесповоротная, будущего нет и не будет, время идет своим чередом и неумолимо сжимается, наступает конец, полный мрак. О результатах анализа я рассказал на приеме доктору Шанди, он радостно смеялся, говорил, что мне пошла на пользу поездка на Эльбу, морские ванны, солнце, отдых — спокойный образ жизни, но все же не следует злоупотреблять отдыхом, на его взгляд, излишнее расслабление угрожает снижению активной жизнедеятельности организма. Я поехал к Биллу в Валь-де-Грас рассказать о своих анализах; он с трудом приходил в себя от наркоза, его мучила жажда, а пить ему не разрешали, он просил меня говорить, говорить без умолку, иначе он опять уснет, но потом, не вынеся бессмысленной борьбы со сном, попросил меня замолчать, чтобы немного вздремнуть; я назвал ему свой новый показатель клеток Т4, и он улыбнулся. Я навещал Билла каждый день после обеда, приносил газеты — «Монд» и «Либерасьон»; и нередко в палате уже кто-нибудь был, недруг, не член семьи, а сотрудник или деловой партнер; специалисты шли к

нему один за другим — косяком, и Билл, лежа в постели, принимал их на работу, названивал в Майами и в Атланту, давал коллегам указания. Хирург предупредил его, что может случиться повторный разрыв брюшных мышц, поэтому необходимо побережться. Билл нанял молодого человека, красивого молодого метиса, — тот помог ему переехать в отель из больницы, перевезти вещи, водил «ягуар» и всюду сопровождал Билла, а позже отправился с ним в Майами.

В конце сентября Билл позвонил мне из Парижа на Эльбу: фирма предоставила в его распоряжение небольшой самолет, и он хочет повидаться с нами, но по пути сделает посадку в Барселоне, где его ждет Тони — молодой чемпион по спортивной ходьбе, тогдашний «юноша его мечты». Билл сказал мне: «Вообще-то завтра утром я вылетаю в Барселону, если продержится хорошая погода; я только хотел знать наверняка, будете ли вы еще на острове ближайшие три-четыре дня; в любом случае я тебе позвоню из Барселоны». Но в конечном счете Билл не приехал на Эльбу и даже не счел нужным перезвонить; мы потом узнали — он, так сказать, во всех смыслах спустился с облаков на землю: ведь Тони от него сбежал. По-моему, Билл поступил с нами отвратительно, неумно и по-хамски, совершил чуть ли не преступление, а если бы это впрямь было преступление, то я, при моем-то характере само собой разумеется, потом укорял бы его этим еще больше. Робин раздобыл и через Густава передал нам и другие неутешительные сведения: эксперименты с вакциной дали не столь убедительные результаты, каких ожидал Билл.

Появился Билл лишь 26 ноября, уже трижды слетав из Майами в Париж и Марсель, где находился французский филиал его фирмы; мы вместе пообедали в кафе-гриле «Друан», я как раз получил выписку по результатам последнего анализа — пришлось самому идти в институт имени Альфреда Фурнье: в Париже началась всеобщая забастовка, не работали ни почта, ни транспорт; анализ оказался плохим, я вскрыл конверт прямо на бульваре и узнал, что мой показатель Т4 упал до 368, скоро я опущусь до отметки, ниже которой вакцину Мокни уже не вводят, меня не раз предупреждал Билл: «Мы берем для экспериментов только инфицированных вирусом СПИДа без клинических проявлений болезни и с показателем Т4 выше 300». К тому же я приближался к порогу, за которым начинались необратимые последствия — пневмоцистоз и токсоплазмоз (это при Т4 ниже 200), значит, чтобы замедлить их развитие, мне выпишут АЗТ. Когда солнечным июльским днем я шел натошак сдавать кровь, то чувствовал, что совершенно изнемогаю, но анализ показывал — все хорошо. Теперь же, зимой, идя сдавать кровь по заснеженной улице, я ощущал, что всемогущ и бессмертен, анализ же показал — все эти четыре месяца мое состояние стремительно ухудшалось. Новость встревожила и доктора Шанди. Он послал меня на дополнительное обследование, так называемую «антигенемии», то есть выявление в крови антигена П24 — антитела, показывающего, что действие ВИЧ в организме из пассивного перешло в активное. Итак, в один и тот же день я сбегал сам — транспорт в Париже не ходил, продолжалась забастовка — в институт Альфреда Фурнье за выпиской с печальными результатами по показателю Т4, а позже, продиктовав их доктору Шанди по телефону, взял у него в кабинете назначение на исследование П24 и тут же, разумеется пешком, снова отправился в институт Фурнье сдавать кровь на анализ; с предыдущего раза едва минула неделя, у меня в локтевом сгибе еще синела гематома от укола, и грубая, неприятная медсестра опять воткнула сюда же иглу. Правда, в тот день я был готов на что угодно: пусть мне трепанируют череп, втыкают иглы в живот, в глаза — я бы стиснул зубы и вытерпел, я уже отдал свое тело во власть некоей неведомой силы, и она распоряжалась им как хотела. Прочтя анализ, доктор Шанди объяснил мне дальнейший ход событий: если уровень антигена П24 будет по-прежнему возрастать, а показатель Т4 при этом резко снизится, то пора думать о лечении. Я знал, единственное лекарство — это АЗТ, доктор Шанди говорил мне год назад, тогда же он предупредил — к АЗТ прибегают только на последней стадии болезни, в самом крайнем случае, и принимают его до непереносимости, следовательно, до наступления смерти. Но нам обоим не хватало духу заговорить о зловещем препарате; доктор понял: мне не хотелось ни говорить, ни слышать о нем. Между получением плохого анализа Т4, но еще до получения результатов исследования по антигенемии мы однажды ужинали с Биллом. Я нарочито весело и много говорил, не желая погружаться в безысходность. На нашем столике горели свечи, в отблесках огоньков мое лицо розовело. Билл разглядывал меня. «Просто невероятно, — повторял он с удивлением, — ни за что не догадаешься — клянусь тебе, ни за что на свете, — какая страшная сила бушует у тебя внутри. Ни единого намека!» От таких мыслей у Билла, судя по всему, голова кругом шла: перед ним человек, дни которого сочтены, он носит в себе смерть и при этом прекрасно выглядит, пока что ничуть не изменился — Билла это изумляло и страшило. В тот же вечер он сам сообщил мне новость, которую я уже знал через Робина и Густава: результаты испытаний оказались хуже

ожидаемых, ибо вирус сначала полностью исчез из организма вакцинированных — из мозга, нервной системы, крови, спермы и слезной жидкости, — однако через девять месяцев, появившись неизвестно откуда, начал действовать с прежней разрушительной силой. Больным сразу же ввели новую дозу вакцины, но что из этого выйдет, сказать трудно. Билл дал мне понять, что Мокни обескуражен таким исходом и полагает, будто это лишь временная неудача; теперь ученый намерен усовершенствовать вакцину, он добавит в нее антитела, полученные от неинфицированных людей из числа добровольцев, друзей или ближайших родственников вирусоносителей, которые участвуют в экспериментах, и тогда уже привьет добровольцам дезактивированный вирус. Я стал мысленно перебирать имена родственников и друзей, размышляя, кто бы мог мне помочь, но в осуществимость такой идеи я уже не верил, тем более что обратиться к человеку с подобной просьбой язык не повернется; едва в памяти всплывало чье-нибудь имя или лицо, во мне поднималась волна непреодолимого отвращения, словно мой организм заранее отвергал помощь любого другого, не зараженного организма. Любого другого, но только не Жюля, Берты и, может быть, их детей, ибо мы впятером составляли единый, совершенно цельный фантазмагоричный организм.

Антигенемия дала положительную реакцию, после десятидневного ожидания я узнал об этом одновременно с доктором Шанди, у него на приеме, догадался по голосу доктора — когда он позвонил в институт Фурнье и лаборант даже назвал ему по телефону точный показатель: 0,010. Наступательное действие вируса, пусть оно проявляется слабо, начинается при 0,009. Подобного результата мы, в общем, ждали и вместе с доктором Шанди исподволь подготавливали друг друга, но все же известие меня потрясло. Опять все рухнуло. Значит, теперь встанет вопрос об АЗТ, а может, у меня к препарату непереносимость, последуют бесконечные контрольные анализы крови — необходимо будет проверить, не вызывает ли химиотерапия анемию, не приведет ли сокращение числа красных кровяных телец к блокировке лимфопении; итак, новость означала следующее: смерть подошла почти вплотную, ходит совсем рядом, с сегодняшнего дня она наступает и достигнет меня через два года — если не произойдет чуда: ведь вакцина Мокни никуда не годится, а мое состояние может внезапно ухудшиться и меня уже не включат в экспериментальную группу. Я сказал доктору Шанди: прежде чем решиться на АЗТ, мне надо подумать. А по сути мне надо было выбрать: лечиться или покончить с собой, написать еще одну-две книги — благодаря отсрочке, которую даст мне препарат, или не дать этим ужасным книгам вообще появиться на свет. Мне стало жаль себя, я готов был разрыдаться прямо на месте, сидя перед доктором, хотя вообще терпеть не могу слез. Напуганный этой показной решимостью доктор Шанди весь как-то сжался, увял и убитым голосом проговорил, что обязательно должен увидеть меня хотя бы раз перед моим отъездом в Рим. Пару дней назад, побывав в гостях у двоюродных бабушек, в прошлом фармацевтов, я уточнил по солидному медицинскому справочнику дозировку дигиталина в каплях: это снадобье, сулящее легкий переход к вечному забвению, посоветовал мне поискать доктор Насье.

Наконец 2 декабря мы с доктором Шанди отправились обедать в ресторан «Паланкин». Я выбрал столик в глубине зала, хотя у нас уже вошло в привычку говорить обо всем обиняками; правда, с некоторых пор я плевал на всякую скрытность и к тому же недавно передал своему издателю рукопись книги, где открыто говорилось о моем заболевании, а коли такая новость попала в рукопись, предназначенную для такого издателя, ее не замедлили — по секрету всему свету — распространить по Парижу с быстротой молнии; я этих слухов ожидал спокойно и даже с некоторым безразличием — все в порядке вещей, я всегда во всех книгах выдаю собственные тайны, и эта мною же открытая людям тайна непоправимо и безвозвратно изгоняла меня из их общества. Как прежде, мы с доктором Шанди, дабы немного отвлечься от грустной цели нашей встречи, для начала завели светскую беседу о том о сем: о музыке — это конек доктора, о моих книгах, о делах вообще — его и моих. Он поведал мне, что оказался в затруднительном положении: приходится разрываться между двумя квартирами, да еще каждый день бегать подыскивать себе новую, надо переезжать, все книги упакованы, невозможно ни читать, ни заниматься; к тому же он оставил друга, с которым прожил больше десяти лет; покраснев, доктор добавил: «Моего нового друга зовут так же, как и вас», — и назвал меня по имени. Стефан говорил, что самоубийство — рефлекс только вполне здорового организма, это меня тревожило, подталкивало к решению, вероятно, преждевременному; я страшился того мига, когда болезнь меня одолеет и отнимет свободу выбора — жизнь или смерть. Доктор Шанди отрицал мнение Стефана. «Не далее как в день последнего вашего визита ко мне я получил еще одно тому подтверждение: едва вы ушли, мне сообщили неприятное известие — один из моих пациентов, около года принимавший АЗТ, наложил на себя руки, а звонил его друг». Я спросил, как несчастный ушел из жизни. Повесился. «Но у меня есть другие пациенты, они тоже принимали АЗТ, — продолжал доктор Шанди, — и все в прекрасном состоянии, физическом и психологическом. Одному из них за пятьдесят, и дела у него идут как нельзя лучше, правда, вот эрекции прекратились, сам он видит причину в побочном действии лекарств — по-моему, странно, а вот психологические проблемы СПИДа — это ближе к истине; однако мой пациент весьма энергичен и не собирается мириться с импотенцией, говорит, у него появился новый партнер, которого он намерен ублажать, и теперь раз в неделю, помимо контрольного забора крови, его лечат — делают профилактические инъекции в половой член». Затем доктор Шанди рассказал мне о случае с инфицированным мальчиком, эпилептиком: во время припадка он укусил брата, который пытался вставить ему между зубами деревянную палочку, чтобы тот не подавился собственным языком. Кровь и сыворотку укушенного брата взяли на исследование — необходимо было проверить, не попала ли в его организм зараженная слюна; если так, в качестве профилактической меры врачи собирались назначить ему АЗТ.

В предпоследний раз я виделся с Биллом 23 декабря, на следующий раз после первого моего похода в клинику имени Клода Бернара, мы отправились обедать в итальянский ресторан на улице Гранж-Бательер — был у нас такой обычай. Мы сидели одни в пустом зале, прислуживал тот же сердитый официант, но ходили мы туда часто, и в конце концов он стал приветливее; официант считал Билла праздным миллиардером, порхающим с континента на континент вечно в поисках лета, солнца, в то время как Билл, бледный от усталости, вдобавок запугался в проблемах и условностях американского бизнеса и еще с тревогой ожидал результатов эксперимента с вакциной, на которую сделал ставку. В Атланте Билл видел испытуемых — молодых мужчин из «группы В», получавших вакцину Мокни, и встретил, сообщил он усталым голосом, сияющих и пышущих здоровьем юношей, которые всю жизнь занимались культуризмом. От подопытных кроликов потребовали полного молчания и заставили их подписать не только контракты на испытание вакцины, по которым фирма-изготовитель не несет никакой ответственности в случае ухудшения состояния пациента или его смерти, но и вообще обязали хранить строгую тайну относительно испытаний, под угрозой судебных преследований им запрещалось разглашать какие бы то ни было сведения о перенесенных ими опытах. Среди них был парень лет двадцати, по словам Билла, необычайно красивый, с идеальной фигурой, но, увы, — инфицированный. Во Франции апробация начнется в январе, Мокни решил в придачу к прививке вакцины делать больным внутривенное введение гамма-глобулина, полученного в Заире из плаценты инфицированных ВИЧ женщин. Билл добавил, что возглавляемая им лаборатория ведет крупнейшие в мире закупки плаценты, то есть сырья для производства гамма-глобулина. Однако переговаривались мы с Биллом вяло, без энтузиазма, словно уже не веря, что вакцина окажется действенной и остановит болезнь, будто нам вообще плевать было на все это, и не как-нибудь, а с высокого потолка.

Между тем мы с Жюлем отправились в Лиссабон — отпраздновать, как обычно, годовщину нашего знакомства. На сей раз поездка измучила нас обоих, я увлекал Жюля за собой все глубже и глубже, в бездонную пропасть, она разверзлась в моей душе оттого, что Жюль был рядом и я упорно, неослабно тянул его к удушью, к гибели; Жюль по слабости своей или, наоборот, благодаря силе воли сам не знал, не ведал душевных мук: он страдал лишь тогда, когда у него на глазах мучился близкий человек, а Жюль, можно сказать, выбирал в друзья тех, кому суждены были величайшие страдания, — прошлым летом мне как-то пришлось успокаивать его любовника, ночь напролет рыдавшего в соседней комнате, — а теперь палачом стал я, из-за меня Жюль испытал гнетущую душевную муку, но и я видел страдания Жюля, они точно так же терзали мне душу и сливались с моими; обессиливали меня, целыми днями я лежал, прикованный болезнью к постели, превратившись в полутруп; у меня будто бы до срока началось умирание, да оно и без того должно было вскоре наступить, уже не хватало сил подняться ни по крутой улочке, ни по лестнице в гостинице, ложиться спать позже девяти вечера я не мог, днем тоже непременно нужно было прилечь. У нас совсем не осталось сил хоть на толику чувственности, пылкости. Я спросил Жюля: «Ты страдаешь от того, что нет любви?» Он ответил: «Нет, я просто страдаю». Ничего омерзительнее этих слов я никогда от него не слышал. Чаша страданий Жюля переполнилась в ясный, солнечный день, мы ехали поездом из Лиссабона в Синтру, сидели по разные стороны прохода, прильнув каждый к своему окну; когда поезд отошел от станции, вагоны были почти пустые, но очень скоро вошло множество пассажиров — линия-то пригородная, кому недалеко, те даже ходят прямо по путям; на одной скамейке могло уместиться человек шесть, но никто не хотел садиться рядом со мной или напротив, да вообще поблизости; на остановках я перестал смотреть на входящих, ибо меня терзал и смех и ужас: люди скорее будут сидеть друг у друга на голове, чем развалятся рядом со странным типом, да, я казался им странным, они готовы были бежать от меня как от чумы. Видимо, Жюль тоже заметил — люди отходили от моей скамейки, точно я смердел, и садились рядом с ним, но я не смел обернуться и взглянуть ему в глаза: я, мол, все понял и обвиняю Жюля в сговоре с ними, — не смел, ибо Жюль был совершенно раздавлен страданием. В лиссабонском квартале Граса, в крытой галерее дворика, к которой примыкала витрина бакалейной лавки, я увидел, стоя против света, выставленные в витрине полупрозрачные, словно бы леденцовые игрушки; я решил купить их и зашел в лавку — оказалось, это восковые детские головки; было время, родители приносили в церковь головки-посвящения, если ребенок болел менингитом. Но в квартале уже давным-давно ни у кого менингита не было, и пять головок разом бакалейщик сбыл мне не без удивления. Я поставил их на перила балкона — хотел сфотографировать на прекрасном фоне — феодальный замок с флагами, золотая лента реки, ажурный мост, исполинская статуя Христа на противоположном берегу, пронзающая пространство меж небоскребов, а Жюль вдруг заметил, что головок, которые я совершенно без задних мыслей по одной отобрал из великого множества, всего пять: это напомнило ему «Клуб пяти» — символ нашей семьи, спаянной горестными событиями. Я вдруг сообразил, что на сей раз, по сравнению с предыдущими традиционными поездками в Лиссабон, Жюль словно бы избегал разговоров о Берте, хотя надо же позвонить и узнать, как там с детьми. Дома у них был настоящий лазарет: дети пошли в школу, и за первую же

четверть учебного года Берта совершенно вымоталась, в довершение всего у нее начался острый отит, по совету доктора Шанди она решилась-таки взять бюллетень на неделю, а дети между тем слегли с высокой температурой — эпидемия китайского гриппа уложила в постель уже два с половиной миллиона французов; малыш Тити, по-прежнему полупрозрачный почти до синевы, беспрестанно кашлял, ему регулярно делали рентгеновские снимки легких и массаж, чтобы отходила мокрота. В день нашего отъезда из Лиссабона я с утра упаковал пять восковых головок и решил позвонить Берте, узнать, как дела в Париже: меня встревожило то, что Густав на мои звонки не отвечал и не поздравил нас с Жюлем с годовщиной. К телефону подошла мать Берты, она всегда отвечала кисло-сладко, а сейчас в ответ на мое вежливое приветствие и вовсе издевательски расхохоталась: «Дорогой Эрве, у меня-то дела идут прекрасно! В Лиссабоне, должно быть, чудесная погода? А мы здесь, представьте себе, в панике: Берта — сама не своя, только что увезла Тити в больницу — он весь покрылся красной сыпью, веки распухли так, что не видно глаз, ноги в коленях ужасно отекали и не сгибаются; ну а как вы с Жюлем, хорошо отдохнули?» Я повесил трубку. Жюль глядел на меня настороженно. Я признался ему сразу: новости, собственно говоря, не блестящие; стоило ли скрывать то, что расписывала по телефону мать Берты? Мне захотелось пойти в церковь и оставить там мои посвящения — ведь таков был обычай, для того и отлиты из воска эти фигурки, кстати, теперь я был уверен — все мы пятеро больны... Жюль заявил: он, дескать, во всю эту хреновину не верит, мы заспорили, но времени до отъезда оставалось в обрез, я схватил полиэтиленовый пакет с головками и поспешил в ближайшую церковь — она виднелась слева, если смотреть с балкона гостиничного номера (это базилика святого Винсента, я сейчас нашел ее на сохранившейся у меня дома карте Лиссабона). Возвращаясь в гостиницу, мы чуть ли не каждый вечер проходили мимо крыла базилики, в котором, судя по указателям, располагались ризница и помещение, где устанавливается гроб, — дверь этого придела часто оставляли открытой, только задергивали лиловой занавесью, однажды я заглянул внутрь и увидел покойника в обернутом белым атласом катафалке в окружении молящихся старух. Но не здесь я должен был оставить пять головок, их место — на жертвеннике, тут прихожане, как в японском Храме Мхов — монахи, стали бы возносить молитвы во исполнение моих желаний, и через главный вход я вошел в ледяную, совершенно безлюдную базилику святого Винсента, загроможденную строительными лесами — несколько рабочих, зубоскаля, что-то там подчищали и приколачивали. Я несколько раз обошел весь храм — Жюль в это время ждал меня снаружи, — но так и не нашел никакого подходящего места для приношений, был, правда, какой-то столик с горящими свечами, но рядом с ним мои полупрозрачные головки сразу истекли бы восковыми слезами. Из ризницы вышла неприветливого вида женщина, и принялась ставить новые свечи, и счищать натеки воска между металлическими колышками; она с подозрением уставилась на мой полиэтиленовый пакет, с которым я уже в третий раз прошел мимо, он казался ей подозрительным — и я покинул этот храм. Мы с Жюлем отправились дальше: он хотел купить детям игрушки, а я отыскал еще одну церковь — сейчас, разложив на письменном столе карту Лиссабона, я вижу, что она носит имя Святого Роха — и в ней тоже обошел один за другим все алтари, но церковный сторож уже гасил свечи, пришлось уйти из храма. Жюлю я сказал: «Мои приношения никому не нужны». И подумал, не бросить ли их в первую попавшуюся мусорную урну.

Я люблю его детей больше, чем самого себя, они — словно плоть от плоти моей, пусть это и не так, и конечно же, люблю больше, чем если бы они в самом деле были моими собственными детьми; нас кровно породнил зловещий ВИЧ, частица меня попала в их кровь, и мы разделили общую участь, хотя я каждый день молился, чтобы этого никогда, ни за что не случилось, хотя неизменно заклинал: пусть у каждого будет своя кровь и никогда, никоим образом мы уже не соединимся в болезни; а между тем моя любовь к ним выливалась в кровавой вакханалии, и я с ужасом принял в ней участие. Когда медбрат психиатрической помощи прибыл в пансион, чтобы сделать укол обезумевшей жене одного из обитателей — а она после периодов прострации и агрессивности вдруг решила во что бы то ни стало броситься из окна, ее лишь в последнюю минуту остановили ударом в живот, а до того ей хотелось выкинуть вниз новорожденного сына, буквально все вещи из квартиры и мои книги тоже (у нее была их целая коллекция), да еще стены вымазала кровью от менструаций, — так вот, этот пришлый медбрат, едва переступив порог, получил от нее пощечину и после сказал родственникам сумасшедшей: «Вам осталось одно — молиться». Приходит беда — и кому угодно, даже атеисту, остается либо молиться, либо вовсе потерять свое «я». Я не верю в Бога, но молюсь за детей, чтобы они на много-много лет пережили меня, и прошу свою двоюродную бабушку Луизу, которая каждый вечер ходит к мессе, тоже молиться за них. Наибольший прилив сил я ощущаю тогда, когда пускаюсь на поиски подарков детям: для Лулу покупаю батистовые и шелковые платица, «платья волшебницы», как она говорит; для Тити — купальные халатики и блестящие машинки. Когда я в очередной раз возвращаюсь из Рима и крепко обнимаю их, сажаю Лулу к себе на колени и читаю ей сказку, а она на ушко по секрету рассказывает мне какую-нибудь страшную их с братишкой тайну; когда Тити, поставив локти на стол и сжав виски кулачками, склоняет мне на плечо белокурую головку, я понимаю, что он устал, и мне страшно: неужели причина усталости — наша общая болезнь? Вот отчего болит у меня душа. Но какую радость приносит нежный голосок Тити, когда Малыш узнает меня по телефону и кричит в трубку: «Алло? Это кто — кокос-банан? Какунчик-попрыгунчик! Попка!» Я думаю, что удовольствие от общения с детьми далеко превосходит любые телесные удовольствия от томительно-сладостных ласк партнеров — пресытившись наслаждением, я теперь предпочитаю заниматься другим делом — окружаю себя новыми вещами и рисунками, подобно фараону, который воздвигает будущую гробницу, умножает число собственных изображений и тем самым указывает путь к себе или же, напротив, запутывает след, прибегая к обману, к уловкам и хитростям.

Поездка в Лиссабон и так нанесла Жюлю душевную рану, а вернувшись домой, он прямо с порога увидел и вовсе чудовищную картину: у его трехлетнего чада все тело покрылось красной сыпью, глаза опухли и почти не открывались, ноги в коленях ужасно отекали; врач констатировал: у ребенка — бронхопневмопатия, осложненная аллергической реакцией на антибиотики; я уехал в Рим и каждый день названивал Жюлю; Тити так и стоял у меня перед глазами; я был подавлен, за что ни возьмусь, все валится из рук — даже не мог читать «Потрясение» Томаса Бернхарда. Признаюсь, я в самом деле возненавидел Бернхарда. Спору нет: как писатель он гораздо интереснее, чем я, но при этом — всего лишь бумагомарака, шелкопер, умник, глубокомысленно изрекающий прописные истины, чахоточный девственник, ловкач и мастер заговаривать зубы, критикан, гроза зальцбургских зануд, бахвал, который, видите ли, все умеет делать лучше других: и на велосипеде ездить, и книги писать, и гвозди вбивать, и на скрипке играть, и петь, и философствовать, и язвить изредка — ну, раз в неделю; неотесанный грубиян, который привык непокорных прихлопывать лапой, огромной тяжелой лапой мужлана-голландца, он бьет по одним и тем же химерам, по родной стране и ее патриотам, по нацистам и социалистам, монахиням и посредственным актерам, по всем остальным писателям, особенно — по хорошим писателям, например, тем, что не брезгают литературной критикой и то превозносят, то хулят его книги, — о бедный Дон Кихот, поглощенный самим собой, несчастный обитатель Вены, предатель, неустанно превозносящий достоинства собственных книг, всех без исключения; на самом же деле они — скопище мелких тем и мелких мыслей, мелкой злобы, мелких героев и мелких немощей, и об этом наш бездарный пиликальщик разливался на двухстах страницах, так и не дойдя до пассажа, который он решил одолеть с разбега, исполнить на своем бесподобном альте с немислимым блеском или даже без особого старания, даже путая ноты и строки, терзая читателей бесконечными фальстартами пьесы, действуя ему на нервы легким порханием смычка, раздражающим слух не менее заезженной пластинки; в конце концов его маленькие зарисовки (во время войны приютский мальчик, забравшись в стенной шкаф для обуви, играет экзерсисы на скрипке), маленькие открытия характеров (горе-музыковед, исписав целый том, делает вывод: сочинить добротный очерк о Мендельсоне-Бартольди ему совершенно не под силу) превращаются в самостоятельные миры, в великолепные образы космологии, притом блистающие красотами стиля, и впрямь стоит снять шляпу перед этой сатирой.

Лично я по неосторожности ввязался в острую шахматную партию с Томасом Бернхардом. Бернхардовские метастазы, надо сказать, сродни разрушениям, что произвел в моей крови вирус, убивающий лимфоциты, а значит, губящий мою иммунную защиту, мои Т4; кстати сказать, сегодня — 22 января 1989 года — истекли те десять дней, в течение которых я надеялся полностью осознать этот факт и покончить с тягостной неопределенностью своего положения; десять дней — так как 12 января доктор Шанди позвонил мне и сообщил, что показатель лимфоцитов упал до 291 (с 368 до 291 — всего за месяц), тогда я заключил: еще один месяц разрушительной работы вируса — и мой показатель клеток Т4 будет равняться лишь 213 (я подсчитал прямо на полях рукописи), следовательно, путь к вакцине Мокни и к чудесному исцелению для меня закрыт — если не считать надежды на переливание крови, практически нереальное, — вот тут я вплотную

подхожу к критическому моменту; оттянуть конец, вероятно, поможет АЗТ, если я все же выберу его, а не дигиталин, однако я решил купить флакон дигиталина здесь, в Италии, где почти все лекарства продаются без рецептов; не знаю, выдержит ли мой организм такую химиотерапию; так вот — бернхардовские метастазы вместе с вирусом распространяются по тканям моего организма, охватывают важнейшие писательские рефлексы с огромной скоростью, пожирают, поглощают их, уничтожая мое естество, индивидуальность, подавляют мою личность безо всякой пощады. Я пока надеюсь (хоть в принципе уже плевать), что мне введут вакцину Мокни, чтобы избавиться от вируса, или же ее замену, «слепой двойник»; я пока надеюсь, что мне сделают эту инъекцию — где угодно, когда угодно, кто угодно, так со мной бывает в снах: мне впрыскивают какую-то подозрительную жидкость, я то колеблюсь, то уже твердо верю, будто это моя панацея, вакцина Мокни, вместе с ней сделайте мне прививку хоть от чумы, хоть от бешенства и проказы; я с нетерпением жду литературной вакцины, дабы избавиться от обволакивающих чар Томаса Бернхарда, коим я добровольно поддался, полюбил и оценил его стиль — правда, я знаю всего три-четыре его книги, не успел обременить себя чтением всей его прозы, — восхищение вылилось у меня в пародию, в патетическую угрозу, в СПИД; в результате получается книга, типично бернхардовская по сути, некий очерк о Томасе Бернхарде под видом подражания его опусам; проще говоря, я постарался бросить вызов Томасу Бернхарду, заставить его врасплох и превзойти его же собственную чудовищность, так сделал он сам в своих псевдоэссе о Гленне Гульде, о Мендельсоне-Бартольди и, кажется, о Тинторетто; в отличие от одного из его героев — Вертхаймера, который услышал, как Гленн Гульд исполняет «Гольберг-вариации», и отказался от карьеры пианиста, я не отступил перед гением — напротив, я бросил вызов виртуозу Бернхарду, и я, бедный Гибер, заиграл с новой силой, я вооружился до зубов, чтобы не ударить в грязь лицом в схватке с мастером современной прозы, я, бедный маленький Гибер, — бывший властелин мира, а мир-то этот вместе со СПИДом и Томасом Бернхардом оказался сильнее меня.

Я вот думаю, не подделать ли для себя рецепт — пропись я второпях нацарапал на каком-то клочке, названия компонентов я даю сокращенно, как профессионал, для вящего правдоподобия исправляю дозы и уточняю показания — все это продиктовал мне по телефону из Парижа знакомый кардиолог, я позвонил ему, испугавшись приступа тахикардии у моей двоюродной бабушки Сюзанны; по этому поддельному рецепту я мог бы раздобыть яд — дигиталин, радикальное средство против вируса иммунодефицита, оно прекращает не только губительное действие вируса — всего-навсего прекращает биение сердца, и я боюсь одного: стоит мне раздобыть, взять в руки этот флакон, как я немедля опустошу его до дна, причем вовсе не от отчаяния или упадка духа — просто накапаю в стакан воды необходимую дозу, семьдесят капель, выпью, а что дальше? Что надо делать: лечь в постель и лежать? Отключить телефон? А может быть, умереть под музыку? Но под какую? И сколько времени пройдет, пока сердце мое остановится? О чем я буду думать? О ком? А вдруг мне захочется услышать чей-нибудь голос? Но чей? А если это будет вовсе позабытый голос, но именно его я захочу услышать в такую минуту? Приятно ли будет содрогаться всем телом, пока кровь моя не застынет в жилах и рука не повиснет бессильной плетью? Не совершу ли я величайшую глупость? Не лучше ли будет повеситься? Кто-то говорил, сгодится даже радиатор, надо только поджечь ноги. Но не лучше ли подождать? Дождаться естественно-противоестественной смерти от вируса? И по-прежнему писать книги и рисовать — и так и сяк и еще вот эдак — до потери рассудка?

«Взрослые!» — это моя дурацкая, проклятая книга, за которую я взялся осенью 1987 года, пока не знал или не желал знать того, что меня ожидало; так я назвал уже завершённую книгу, хотя завершить её, казалось, было невозможно, у меня не хватало духу самому уничтожить её, и я попросил Жюля о том, в чём когда-то посмел отказать Мюзиллю; на страницах толстой, бесконечной, скучной и бесцветной, словно хронологический справочник, книги я описал всю свою жизнь с 18 до 30 лет. Эпиграфом я поставил фразу из неопубликованной записи беседы 1982 года с Орсоном Уэллсом — мы с Эдвиж как-то обедали с ним вместе в ресторане «Люка-Картон». Вот слова Уэллса: «В детстве я смотрел на небо, грозил ему кулаком и говорил: «А я — против». Теперь я смотрю на небо и говорю: «Как красиво!» В пятнадцать лет я хотел, чтобы мне сразу стукнуло двадцать, — миновать бы без забот переходный возраст! Быть подростком — это болезнь. Если я не пишу, не работаю, то снова превращаюсь в подростка, а мог бы и в преступника. Молодость — вот что меня восхищает. Пора, как дети становятся женщинами и мужчинами, но не вся ещё жизнь разом опрокидывается. Опасный возраст. Настоящая трагедия — ведь с детством расставаться не хочется. А вместо детства — пугающая пустота. Эту пору называют *the bleeding childhood* — кровоточащим детством. Сейчас толстая, бесцветная, скучная книга лежит передо мной, но давным-давно, даже до начала работы, я уже чувствовал: она окажется несовершенной, ненастоящей, ибо у меня не хватит духу начать её с первых попавшихся слов, я гоню их прочь из памяти — они приносят несчастье; я боялся накликать беду, перенёс это предсказание на бумагу. Начиналась книга так: «Надо же было, чтобы несчастье свалилось на нас как снег на голову». И, к ужасу моему, лишь благодаря несчастью она и увидела свет.

Утром 1 февраля 1989 года произошло то, чего я, собственно, и желал: клиника имени Клода Бернара окончательно закрылась; у меня даже не стали брать кровь — до того все были заняты переездом. В тумане летали чайки; я внимательно, словно запечатлевая на фотопленку, глядел на сваленный в кучи скарб: старые деревянные весы, тапочки, валявшиеся в ящике вместе с ампулами хлористого калия, стулья, матрацы, прикроватные столики, бачок из реанимационной палаты — на дне его тонким слоем лежал снег, кверху торчали трубки для вливаний. Но вот среди всеобщего разорения появилась машина «скорой помощи», остановилась возле двери отделения, и два санитары вынесли носилки с пациентом. Я свернул в сторону, только бы не столкнуться с ними — боялся узнать пациента, увидеть знакомое лицо. Но в коридоре меня все же догнал этот труп с живыми глазами — он, видно, не мог подождать до завтра и умереть на новом месте, в клинике «Ротшильд», почему-то хотелось ему отдать Богу душу в самый разгар переезда. Я боялся смотреть на него, но он сам поднял на меня глаза. Взгляд живого трупа — нечто незабываемое, уникальное в своем роде. Над грязными подушками красовались плакаты ассоциации Стефана, приглашавшие на встречи и сеансы расслабления, на завтраки и обед. Когда я пришел на прием к доктору Шанди, он позвал коллегу, доктора Гюлькена, — пусть выскажется еще один медик. «Не стану скрывать правды: АЗТ — препарат крайне токсичный, — степенно промолвил доктор Гюлькен. — Он разрушающе действует на костный мозг и, останавливая размножение вируса, одновременно препятствует жизненно важному воспроизводству красных кровяных телец, белых кровяных телец и тромбоцитов, необходимых для свертывания крови». Сейчас АЗТ выпускают серийно, а в 1964 году его изготавливали — из зародышей сельди и лосося — лишь для лабораторий, исследовавших препараты, применяемые против рака, а вскоре перестали выпускать — он был абсолютно неэффективен. «Отныне счет идет не на годы, а на месяцы», — сказал мне доктор Шанди в декабре. «Теперь, если ничего не предпринимать, остается либо с десяток недель, либо несколько месяцев», — сказал доктор Шанди в феврале. И точно назвал отсрочку, которую дает АЗТ: «От года до года трех месяцев». На первое февраля Томасу Бернхарду оставалось жить всего одиннадцать дней. 10 февраля я получил в аптеке клиники «Ротшильд» свой АЗТ и понес домой, спрятав под пальто, потому что перекупщики на улице посматривали на меня грозно, может, собирались напасть и забрать лекарство для своих африканских дружков. Однако на сегодня, 20 марта, когда я уже заканчиваю эту книгу, я не принял еще ни одной капсулы АЗТ. Читая инструкцию по его применению, каждый больной может ознакомиться с перечнем «более или менее серьезных» побочных эффектов: «Тошнота, рвота, потеря аппетита, головные боли, кожная сыпь, боли в желудке, боли в мышцах, зуд в конечностях, бессонница, чувство сильной усталости, недомогание, вялость, диарея, головокружение, потливость, затрудненность дыхания, затрудненность пищеварения, расстройство вкусовых ощущений, боли в груди, кашель, понижение умственной активности, тревожное состояние, частые позывы к мочеиспусканию, депрессии, боли во всем теле, крапивная лихорадка, чесотка, псевдогриппозный синдром». А также нарушение функций половых органов, расстройство сексуальных ощущений, импотенция.

28 января мы собрались у Жюля и Берты на праздничный обед по случаю пятидесятилетия Билла; в тот вечер Билл сказал: в Америке, в мире «авантюристов-предпринимателей», нет места неожиданностям, нет места мне, его обреченному другу; по словам Билла, в США пропасть социального неравенства постоянно углубляется, и люди состоятельные вроде него могут сделать так, что налогом не обложат ни их машину, ни яхту, ни квартиру, ни даже систему защиты от бедняков негров. «Вы только посмотрите на этих несчастных!» — восклицают мерзкие компаньоны Билла, когда возвращаются после мерзких вечерних трапез и, останавливаясь на красный свет, наглухо запирают на автоматическую защелку окна машин, чтобы не пришлось бросить цент-другой темнокожему бродяге мойщику ветровых стекол, они все, как один, — негры, спят прямо на улице, в картонных коробках. Как же таким помогать — ведь они похожи на животных! В стране, где так говорят, человеку никогда и никоим образом не представить коллеге, крупному исследователю, своего обреченного друга, не помочь тому с лечением — тогда придется нарушить заведенный системой порядок, уронить себя в глазах крупного исследователя. Для Билла я уже умер. Тот, кто собирается принимать АЗТ, уже мертв, его не вытянуть. Жизнь и без того незавидный удел, а под конец нас ждет еще и агония. Послушать Билла, так лучше идти ей навстречу — если не хочешь, чтобы она наступала сама. Взять за руку еще одного друга, впавшего в кому, и, пожимая его руку, прошептать: «Я рядом», — нет, это для Билла было слишком, и я на его месте, наверное, тоже не выдержал бы. Когда вечером 28 января мы ехали в «ягуаре» ко мне домой, он осчастливил меня двумя сентенциями: «Американцам нужны доказательства, потому что они без конца экспериментируют, а тем временем люди вокруг мрут как мухи» и еще: «Ты бы все равно не вынес старости». Но мне бы хотелось, чтобы Билл прикончил Мокни, выкрал бы у него вакцину, потом, положив ее в блестящий сейф, отправился ко мне на маленьком служебном самолете — том самом, что летает между Уагадугу и Бобо-Диуласо, — и рухнул в Атлантический океан вместе с самолетом и вакциной, которая могла бы меня спасти.

Утром 20 марта я закончил свою книгу. Тот день я отметил тем, что проглотил две голубые капсулы, о которых три месяца не хотел слышать. На оболочке капсул изображен мечущий молнии кентавр с раздвоенным хвостом; лекарство переименовали в «ретровир» — по евангельскому стиху: «Изыди, сатана!»^[9] Утром 21-го я начал новую книгу, но в тот же день и бросил, по совету Кота. «Ты же так с ума сойдешь, — сказал он. — И перестань принимать лекарство, по-моему, это просто гадость какая-то!» 22-го я чувствовал себя отлично, а 23-го страшно разболелась голова, вскоре меня стало тошнить, появилось отвращение к еде, и особенно к вину — до тех пор оно было для меня главным утешением по вечерам.

Запасшись АЗТ, я спрятал его в белый бумажный пакет, а пакет — в дальний угол платяного шкафа; теперь мне оставалось разузнать, с каких доз начинать прием. Доктор Гюлькен направил меня к доктору Отто — одному из своих римских коллег по клинике имени Спалланцани, там я должен сдавать анализ крови раз в две недели и пополнять запасы лекарства. Доктор Шанди утверждал, что надо начинать с двенадцати капсул в день, но доктор Отто считал, что достаточно и шести. «После приема 12 миллиграммов АЗТ у вас тут же пойдет анемия: то есть все впустую, придется делать переливание», — объяснял он. «Используя препарат, нужно добиваться максимального эффекта», — возражал доктор Шанди. Из-за этих споров я не торопился с лечением; нашлась и еще одна отговорка: нужно закончить книгу. Я позвонил Биллу в Майами — его не было, просьбу перезвонить я записал на автоответчик. Тем же вечером мы и поговорили. Я сделал вид, будто хочу проконсультироваться по части дозировки; на самом деле я, конечно же, в душе молил его: спаси меня, сделай что-нибудь, только бы я продержался еще девять месяцев до вакцины. Но Билл прикинулся, будто ничего не понял, и начал подробно обсуждать со мной дозировку: «Я не знаток по части АЗТ, но, по-моему, доктор Шанди слегка перегибает палку; на твоём месте я бы скорее послушался итальянца». В клинике имени Спалланцани мне выдали листок с перечнем контрольных анализов крови за несколько месяцев, но я все не начинал принимать АЗТ. Я снова пошел к доктору Отто и сознался, что у меня не хватает духу очертя голову броситься в пучину. «Вы можете начать прием лекарства сейчас или позже, можете завтра бросить, а послезавтра опять начать — это совершенно не важно, ведь ничего еще толком неизвестно: ни когда принимать, ни какими дозами, — ответил он. — И не верьте тому, кто скажет обратное. Ваш французский врач назначил двенадцать капсул в день, а я — шесть. Ну что ж, вот вам золотая середина: пусть будет восемь». Впоследствии доктор Шанди сказал мне, что такие решения «опасны».

В семь утра я повстречал на площади Сан-Сильвестро знакомую продавщицу газет. Увидев меня в столь ранний час, она удивилась. Потом крикнула в знак приветствия: «Хорошей вам работы!» Я шел в очередной раз сдавать кровь, и ее пожелание оказалось по-своему уместным. Моя учетная карта в клинике была пока не вполне оформлена: недоставало многих справок, надо было их выклянчивать у французских и итальянских властей. Доктор Отто велел мне все равно явиться к восьми часам и обещал предупредить медсестру, но забыл, и мне пришлось дожидаться ее. Я коротал время то на залитых солнцем ступенях отделения, то на втором этаже, на одной из двух скамеек, в виде восьмерки: здесь образовалось нечто вроде зала ожидания. Какая-то девица в черном, в черной шляпке, прижимала к щеке черный шарф, вздыхала, громко причитала при появлении врача. Когда у дверей кабинета показывается врач — то входит, то выходит, — очередь превращается в стайку встревоженных воробьев. Пожилой гомосексуалист, весь сморщенный, листает музыкаловедческий словарь — ищет статью о Прокофьеве. Угрюмый молодой наркоман — под глазами синие круги — стоит у лестницы, бросив на перила подбитую овчинкой куртку, с интересом поглядывает на ножки проходящих мимо медсестер. Большинство пациентов — постаревшие до срока наркоманы, им около тридцати, но на вид все пятьдесят; они с трудом, задыхаясь, поднимаются на второй этаж, у них дряблая, синеватая кожа, но взгляд — ясный, искрящийся смехом. В их кругу царит какой-то необъяснимый дух братства, они уже знают друг друга и встречаются здесь, дважды в месяц приходят сдавать кровь и взять свою дозу АЗТ; они не унывают, шутят с медсестрами. Девушка в черном, получив консультацию, торжественно выплывает из кабинета: шарф болтается на шее, щека открыта, ей больше нет нужды ломать комедию — она и так уже нас всех провела. Вот выкликнули молодого наркомана, прямо по имени — Раньери. А вот и за мной наконец-то пришла медсестра и повела меня в пустую палату, села рядом на кушетку, прилаживая на моей руке резиновый жгут. Кровь капля за каплей наполняет пробирку, а медсестра расспрашивает: «Ну и что же ты пишешь? Романы ужасов?» — «Нет, я пишу о любви». Она хохочет: «Врешь ты все, молод еще о любви писать». Я сам несу пробирку в лабораторию. Идя по аллее к выходу из клиники, я вижу свою медсестру в стареньком автомобильчике — она улыбается мне и нажимает на клаксон. Чуть дальше, шагая в сторону автобусной остановки, замечаю Раньери, иду за ним следом. Куртку он перекинул через плечо, рукав рубашки засучен; он срывает повязку и бросает в урну. В этом жесте столько энергии, я не хочу обгонять его, жду, пока он не исчезнет из виду.

Всякий раз, когда я шел в клинику имени Спалланцани, — а я посещал ее чаще чем следует и обычно торопился, словно на важное деловое свидание, — я отправлялся в путь ранним утром, когда воздух еще свеж, прохладен, садился на площади Венеции на 313 автобус и ехал по мосту через Тибр до улицы Портуэнсе, мне хотелось исподтишка понаблюдать за больничной жизнью: ведь и я вносил в нее свою лепту — пробирку с кровью; наслаждаясь душевным покоем, я бродил среди величайшего запустения, бродил по безлюдным отделениям, заваленным разным хламом, как и в клинике имени Клода Бернара, правда, обставлены они обе были с некоторым подобием комфорта — для полуденного отдыха: на окнах розовые и красновато-коричневые шторы, пальмы в кадках; на пути к клинике «Дей хоспитэл» я миновал, как всегда, лабораторию имени Флеминга. И всякий раз мимо меня скользил пустой похоронный автомобиль, приезжавший за очередным трупом. Я был рад вновь увидеть сотрудников клиники. Работала там толстуха монахиня в белом чистом облачении — лицо у нее бульдожье, в красных пятнах, губы растянуты в безмятежной улыбке; на монахине белые туфли, у нее плавная поступь, а в руках у нее всегда или рецепт, или новое свидетельство о смерти, или деревянный ящичек с наполненными кровью пробирками, болтающимися в гнездах. И старая лаборантка, похожая на сводницу, напудренная и нарумяненная, с виду вроде бы беззаботная, но ворчунья каких мало, зато добродушная, волосы у нее светлые, совсем жиденькие, туго завиты на бигуди; она всерьез переживает, что ее «дети» заболели все сразу. И смуглая медсестра с волнистыми темными волосами; по натуре не злая, но неумолимо требующая соблюдать распорядок, мастерица по уколам. И санитар — этакий детина, косая сажень в плечах: ворот халата расстегнут и видна волосатая грудь, на лапищи натянуты резиновые перчатки: когда он усаживает или укладывает больного, лицо его не выражает ни малейшего отвращения, ни малейшей жалости — он раз и навсегда отгородился от болезни. И бойкий, сочувствующий беднякам неаполитанец — у него всегда наготове доброе слово по-французски. Доктор Отто повесил у себя над компьютером изречение святого Франциска Ассизского: «Помоги мне превозмочь то, чего мне не понять. Помоги мне изменить то, чего мне не превозмочь». Больные приходят сюда с родственниками: дочь — с отцом, сын — с матерью, и не важно, сколько пациентам лет — восемнадцать или тридцать пять. Они почти не разговаривают, сидят рядом на скамье и терпеливо ждут; несчастье сближает их, внезапно пробуждает в них бесконечную нежность, они берутся за руки, сын доверительно кладет голову на плечо матери. А вот живой труп сопровождать некому, все его бытие — переезды из больницы домой и обратно, с неподъемным чемоданом. К живому трупу приставили старую-престарую монахиню, одетую во все черное, тихую и благодушную, с неизменной улыбкой. Подбородок у старухи торчит кверху, она с шумом втягивает воздух беззубым ртом и, разглядывая комиксы, пожевывает губами. Сиделка и живой труп принадлежат к абсолютно разным мирам, но они понимают и даже, можно сказать, любят друг друга. Когда живой труп — плешивый, с клочьями волос, похожими на приклеенные к пластмассовому черепу серые комки ваты, — возвращается из столовой, где жена или сестра какого-нибудь другого живого трупа подает ему порцию пюре в плошке-лодочке и пол-апельсина, он дает монахине половину от своей половины, и старуха совсем не прочь положить в рот что-нибудь кисленькое и прохладное.

В пятницу 21 апреля мы с Биллом обедаем вдвоем в парижском ресторане «Водевиль». Билл изрекает: «Я думал, у тебя глаза пожелтеют — ан нет, ничего подобного; я бы даже сказал, и с кожей все в порядке, ты совсем неплохо переносишь лекарство...» Затем добавляет: «Похоже, СПИД обернется геноцидом для американского народа. В Америке его жертвы — люди вполне определенных кругов: наркоманы, гомосексуалисты, заключенные, но только дай СПИДу время, и он тихой сапой проникнет во все слои. Исследователи просто понятия не имеют, что это за болезнь. Корпят там над микробами, создают всякие схемы да теории. Они — солидные отцы семейств, с большими практически не сталкиваются и даже представить себе не могут, какой страх, какие страдания те испытывают; ученые не чувствуют, как стремительно летит для несчастных время. А они то составляют отчеты по конференции, причем делают это небрежно, второпях, то годами добиваются разрешений на эксперимент, а тем временем у них под боком мрут люди, которых можно было бы спасти... Я снова и снова вспоминаю Улафа — конечно, бросив меня, он поступил по-свински: ведь мы почти шесть лет прожили вместе, — но я все равно перед ним в неоплатном долгу. Не будь его, я по-прежнему предавался бы разгульной жизни и уж тогда непременно подцепил бы эту заразу — вот бы я нынче проливал слезы!» В тот же вечер Билл сообщил: они с Мокни решили привить себе инактивированный вирус и доказать скептикам, что бояться нечего.

Я видел Раньери, того самого наркомана из клиники имени Спалланцани: он приставал к немецким туристкам на площади Испании. Наши взгляды встретились, он тоже меня узнал, но я-то знаю его имя, а он мое — нет. Теперь я частенько вижу его, обычно по вечерам, когда мы с Давидом идем по виа Фраттина куда-нибудь поужинать. Раньери не один, с ним два приятеля. Стоит нам заметить друг друга, у обоих словно перехватывает дух, скрывать истину уже невозможно, мы — вливающийся в людской поток живой яд, несмыаемый знак проступает на наших лицах. Кто же первым начнет шантажировать другого, чтобы получить выкуп — либо тело недруга, либо деньги, на которые можно купить наркотик? Совсем недавно я шел по опустевшей из-за летнего зноя улице и на углу столкнулся с Раньери; на нас обоих были темные очки, потому-то мы не сдрейфили, не свернули в сторону, не замедлили шаг — ни один не хотел уступать другому путь. Еще миг — и мы идем дальше бок о бок, один подобен тени другого, идем шаг в шаг, вперед, и разойтись теперь мы можем, только сделав резкий поворот или бросившись бежать. Я сказал себе: сама судьба толкает меня навстречу этому парню, значит, не нужно его избегать. Не сбавляя ходу, я повернулся к Раньери и хотел было с ним заговорить. Лицо у него вдруг покрылось испариной, за темными очками я увидел остановившиеся, стеклянные зрачки. Но навстречу моему голосу Раньери выставил указательный палец, точно копье или щит, и, едва заметно погрозив, вдруг ткнул мне палец прямо в лицо, как бы говоря: «Нет!» Если бы он ударил меня кулаком в лицо или плюнул прямо в глаза, это было бы менее жестоко. И я подумал: несмотря ни на что, судьба всегда хранит меня.

Билл приехал в Париж в мае и оттуда позвонил мне в Рим. Я с места в карьер заявил, что зол на него, но предпочитаю немедля в том признаться и, избавившись от злобы, возобновить былую дружбу. Прежде всего я упрекнул Билла в бесцеремонности многих его высказываний, например: «А кожа у тебя не так уж сильно пожелтела» или: «Как хорошо, что у меня был Улаф, не то я проливал бы горькие слезы». К тому же — и это гораздо важнее — ни одного из своих обещаний он не выполнил, уже полтора года водит меня за нос. Я напомнил Биллу: с ножом к горлу я к нему не приставал и в силу обстоятельств ничего сверхъестественного не просил, однако он обещал при составлении протокола поставить французским властям условие — включить его друзей в группу испытуемых, а если возникнут хоть малейшие препятствия, божился, что перебросит нас в США и там Мокни введет нам вакцину. Билл ничего не сделал, он оставил меня один на один с болезнью, и мне, вероятно, суждено пройти все круги ада. Мы проговорили с час, и откровенный разговор нас обоих просто умиротворил. Билл отвечал: он чувствует свою вину, понимает справедливость моих упреков, да, он плохо рассчитал сроки. Однако на следующий день вновь звонит мне — из автомобиля по пути в Фонтенбло — и возвращается к той же теме, только на сей раз обвиняет меня: «Я не понимаю, как ты можешь быть недоволен тем, что благодаря Улафу я не заразился?» Я ответил: «Этого я тебе не говорил, а ты, мой друг, сказал мне примерно следующее: ты вот в беде, а я, слава Богу, нет... но я упрекаю тебя в более серьезных вещах...» Билл поспешно прервал разговор: «Я тебе завтра перезвоню, а то у меня прямо мороз по коже — вдруг нас кто-нибудь услышит...» Я удивился: «А кто, по-твоему, нас слушает? Да и на это, в общем, можно наплевать». Я подумал: Билл, должно быть, в машине не один — может, подключил к телефону наушники своего спутника. Больше Билл мне не звонил — ни на следующий день, ни потом — до самой осени.

Однажды утром я пришел в клинику имени Спалланцани сдавать кровь, назвал свое имя — и тут произошла непонятная заминка: медсестра отвернулась от меня, что-то пряча. Оказалось — приготовленные для меня десять пробирок с этикетками, где значились мои имя и фамилия. Пробирки, к моему удивлению, были уже наполнены и стояли в деревянном ящичке, готовые к отправке в лабораторию. Пришлось вместе с медсестрой искать, с кем меня перепутали. Перебрав множество пустых пробирок, мы установили истину — вместо Эрве Гибера анализ взяли у некой Маргериты. Ее этикетками мы закрыли мои на полных пробирках, и медсестра сделала мне новые этикетки для пробирок, помеченных именем Маргериты. Можно себе представить, какие бы возникли недоразумения из-за этой путаницы! Ящик столика, на который пациенты клали руку и сжимали кулак, никогда не закрывали: там лежали серо-зеленая от пыли марлевая подушечка, старый резиновый жгут и шприц с гибкой пластиковой трубкой, через которую под действием вакуумной пневмосистемы выкачивали кровь для анализа. «Приборы» неизменно были наготове, и я не мог удержаться от невеселой мысли: наверняка их меняли раз в сто лет, они послужили не одному больному — вот и я встал, уже пошел к двери, а медсестра что-то не спешила выбрасывать ни подушечку, ни жгут, ни шприц.

В одно из посещений клиники имени Спалланцани мне пришлось буквально требовать, чтобы у меня взяли кровь, — понимаете ли, я опоздал на десять минут, — раньше я о таком строгом распорядке не слышал. Я спорил с медсестрами добрую четверть часа, однако пришлось фактически все проделать самому: среди неиспользованных пробирок я нашел помеченные моей фамилией, перетянул жгутом руку и, подойдя к медсестре, держал, пока та не взялась за шприц. В этот миг я случайно увидел себя в зеркале и сам себе показался необыкновенно красивым — а ведь уже сколько месяцев я просто был похож на скелет. Вдруг меня осенило: надо привыкнуть к отражающемуся в зеркале худому лицу — это уже лицо моего трупа; надо полюбить его, не важно, будет это верхом нарциссизма или его закатом.

Я все еще не приобрел то лекарство, чтобы покончить с собой, всякий раз затея моя проваливалась: заходил я в аптеку, протягивал свой фальшивый рецепт — мне якобы продиктовал его по телефону врач двоюродной бабушки, с которой я приехал в Италию, и тут у нее случился приступ тахикардии; парижский номер телефона выглядел вполне правдоподобно (вообще-то номер был мой и, естественно, не отвечал), исправления в названии лекарства и дозировке — тоже, добросовестные провизоры, порывшись в справочниках, звонили на центральный склад или пристально всматривались в экран компьютера, но все мои попытки купить лекарство кончались неудачей — его перестали выпускать, и я снова и снова удрученно твердил: видно, не судьба. Но в один прекрасный день я зашел в аптеку с намерением купить только зубную пасту «Флуокарил» и мыло, как вдруг неожиданно для самого себя добавил: «Дигиталин в каплях». Женщина-фармацевт сразу ответила — лекарство больше не производят, а затем спросила, для кого и для чего оно мне понадобилось. «Для себя, сердце немного пошаливает», — ответил я безразличным тоном (в сущности, я уже отказался от бредовой затеи и в глубине души даже желал, чтобы ничего не вышло). Фармацевт, подобно всем своим коллегам, просмотрела справочник, обратилась к компьютеру — и назвала мне два аналога, тоже в каплях. Я не спешил покупать заменители, и согласие подождать сыграло в мою пользу: когда человек жаждет что-нибудь заполучить, он нетерпелив — я же вел себя спокойно. Фармацевт попросила меня зайти на следующий день — может, удастся все же отыскать сам дигиталин. Я на всякий случай заглянул в аптеку, как договорились: не успел я переступить порог, как она тут же заметила и узнала меня, хотя в зале, загораживая проход, толпились клиенты, ожидая, когда их обслужат, а на мне вдобавок были темные очки. «Нашелся для вас дигиталин!» — победно возвестила она через весь зал. Никогда еще не доводилось мне встречать продавца, который так ликовал бы, предлагая свой товар. Она завернула пузырек в крафт-бумагу; моя смерть стоила меньше десяти франков. Женщина радостно и торжественно попрощалась со мной, словно сотрудница туристического бюро, пригласившая меня отправиться в кругосветное путешествие и только что вручившая мне билеты с пожеланием попутного ветра.

Четверг, 14 сентября: отправляюсь ужинать к Робину, мне не терпится познакомиться с Эдуардо — Билл прибрал к рукам молодого испанца, как только обнаружилось, что тот инфицирован. Эдуардо утром приехал из Мадрида, а на следующий день должен вылететь в США, к Биллу. Робин усадил меня рядом с испанцем, и я искоса, украдкой разглядываю его: хрупкий юноша, похожий на робкого олененка, легко заливается румянцем, одет не слишком элегантно, зато движения его полны томного изящества. Он молчит. Вообще его привлекает карьера писателя. В глазах Эдуардо теплится такой же страх, что и у меня, вот уже два года. Не успели мы приступить к ужину, как зазвонил телефон — Билл, наш властитель, словно наблюдал за нами издали! Робин вышел из-за стола — на лестнице можно поговорить спокойно. Вернувшись, он объявил, что Билл зовет меня. С мая, с того памятного разговора, Билл мне не звонил. Я подумал, не попросить ли передать ему, что у меня совершенно пропал голос, но подобный поступок показался бы приятелям чересчур театральным. Робин вручил мне переносной телефон: «Иди на лестницу, там тебе будет удобнее говорить». Сквозь шум и гудение я слышу далекий, трескучий голос Билла: «Ну что, ты все еще злишься на меня?» Сказано настолько надменно, что я делаю вид, будто не расслышал, и говорю о другом: «Ты в Майами? или в Монреале?» — «Нет, я в Нью-Йорке, на углу 42-й и 121-й, на семьдесят шестом этаже. Но ты не ответил — по-прежнему злишься, что ли?» Я снова пропускаю его вопрос мимо ушей: «Вы выиграли дело или проиграли?» (В газетах сообщалось о беспощадной борьбе между фирмой «Дюмонтель», в которой работает Билл, и английской фирмой «Миллэнд» — обе стремились выкупить одно канадское фармацевтическое предприятие, чтобы производить в огромном объеме сыворотку Мокни.) «Первый тур проигран, — отвечал Билл, — но последнее слово за нами. Я тебе завтра перезвоню, а сейчас дай мне, пожалуйста, Эдуардо». Вернувшись к сотрапезникам с переносным телефоном в руках, я подумал, не сострить ли: «Просят ближайшего вирусносителя». У меня в тот вечер появились кое-какие подозрения, но настолько невероятные, что просто голова шла кругом.

20 сентября ужинаю с Робинем в ресторане «Китайский клуб»; Робин настроен очень сердечно, слушает на редкость внимательно, и мне впервые удается более или менее ясно изложить свои мысли насчет Билла: ведь Жюль до сих пор отказывался меня выслушивать — не стоит, мол, заглушать боль и тревогу типичными писательскими разглагольствованиями. Обрисовывая Робину свои предположения, я заметил: мне, например, СПИД дал возможность целиком раскрыть себя в творчестве, выразить несказанное, а вот Биллу СПИД дал вожделенный ключ к великой тайне. Благодаря этому он стал хозяином положения в нашей маленькой компании друзей и теперь вертит нами как хочет — мы превратились в подопытных кроликов. Доктору Шанди он отвел роль посредника между миром бизнеса и миром больных. Доктор лишь исполняет задуманное Биллом, он — хранитель сверхсекретных данных, которые никому не имеет права сообщать. Полтора года я, так сказать, спасая шкуру, вынужден был раскрывать Биллу всю свою подноготную, по первому требованию сообщать постоянно уменьшавшийся показатель клеток Т4, а это похуже, чем всякий раз предъявлять, что у тебя в штанах. С помощью приманки — вакцины Мокни — Биллу полтора года удавалось держать меня в стойке. Когда я открыто сказал ему об этом и попытался сбросить иго, Билл понял, что изобличен и теперь лишится главенства в нашей компании, — а ведь он так умело плел нити отношений в маленьком клане — между тобой и мной, твоим братом, Густавом, доктором Шанди, ибо доверял одним тщательно скрываемое от других и наоборот. Я думаю, особенно пристальное внимание он уделял тебе, пользуясь твоей тревогой за судьбу брата, и мне, как оказавшемуся под прямой угрозой; мы же с тобой люди творческие, а воплощенное творчество таит в себе погибель всякому бессилию. С другой стороны, подверженность смертельному заболеванию — верх человеческого бессилия. Сильные своей творческой потенцией люди, доведенные до бессилия, — вот таких фантастических существ мог бы создавать Билл и властвовать над ними, обещая спасение. Билла мои упреки испугали: расскажи я о них друзьям — и его затея рухнет. Однако он успел обратить эти доводы против меня самого, разболтав все доктору Шанди, тебе и Густаву, объявил мои упреки несправедливыми и отвел внимание от главного обвинения, критикуя мелочные претензии, — те и вправду могли показаться пустячными придирками. Потому-то мне и почудилось, что Билл был не один, когда звонил мне из автомобиля и, ужаснувшись, прервал разговор: «Страшно подумать, вдруг нас кто-нибудь услышит»; для полной перемены ролей — превращения из обвиняемого в обвинителя — ему нужны были свидетели. Под удобным предлогом Билл позже бросил бы меня на произвол судьбы, ничего не объясняя общим друзьям («Эрве просто спятил, помочь ему уже невозможно»), а затем подцепил бы новичка, заменил меня им — и все опять пошло бы как по маслу. Ближайшая к силкам дичь — Эдуардо, молодой испанец; благодаря ему игра продлится еще немного, а он — такое уж совпадение — идеален в этом амплуа. Возможно, я не совсем точно воспроизвожу свой монолог, но в конце его Робин промолвил: «До самой смерти не забуду ни единого слова из того, что ты сказал сегодня вечером».

В парке виллы Боргезе, как мне показалось, я заметил Раньери, наркомана: он промелькнул среди деревьев и, похоже, направлялся в сторону моего дома. А я вновь зашел в аптеку, после трехнедельного перерыва — за вторым пузырьком дигиталина: ведь для полной остановки сердца необходима двойная доза. На этот раз во взгляде женщины-фармацевта сквозило легкое беспокойство. «Вы довольны препаратом? Помогает?» — спросила она. «Да, — ответил я. — Прекрасно действует, правда, чуть-чуть слабоват».

Суббота, 7 октября, остров Эльба; не успели мы войти и поставить на пол коробки и прочую поклажу, привезенную из моего римского дома, как раздался звонок. К телефону подошел Густав. «Да-да, Билл», — услышал я. Оказалось, Билл получил хорошую взбучку от Робина, всполошился, забегал, как курица с яйцом, — позвонил нам из Нью-Йорка и сообщил: наконец-то несговорчивые люди из весьма солидной организации выдали им патент на внедрение вакцины Мокни, значит, масштабы экспериментов в США можно расширить. «И если только у тебя будут какие-либо недоразумения с французскими медиками, приедешь на три-четыре дня в Лос-Анджелес, а повторную вакцинацию пройдешь потом в Париже». Билл должен лететь в Женеву, а в конце недели будет в Париже и предлагает нам троим — мне с ним и Шанди — обсудить дело. «Но договариваться о встрече должен не я», — прибавляет Билл.

Пятница, 13 октября, полдень, кабинет доктора Шанди. Доктор с ходу сообщил, что ему придется словчить — иначе мне не попасть в группу испытуемых. Он имел в виду первую группу, в нее зачислили только пятнадцать человек, отказавшись от метода «слепого двойника», — медики собирались лишь проверить токсичность препарата. Брали лишь тех, кто ранее не проходил специального лечения и имел показатель Т4 выше 200. По моим последним анализам он составляет ровно 200. Ответственному за клинические испытания военному врачу недостаточно было просто солгать: «Я никогда не принимал АЗТ», — нужно сделать так, чтобы в крови не осталось и следа от препарата. Он дает о себе знать мгновенно: количество кровяных телец увеличивается. Чтобы заранее его понизить (ведь это будет видно по анализам), я должен отказаться от приема АЗТ по крайней мере за месяц до первой сдачи крови. Но при долгом перерыве в лечении мой показатель Т4 может упасть ниже 200 — тогда я никак не смогу принять участие в эксперименте. Доктор Шанди так спешил обсудить со мной возможность введения вакцины, что даже не обратил внимания на мой вид — я похудел на пять килограммов, истощения мне не избежать. В его взгляде я уловил панический страх: и он, и я — оба мы по милости Билла оказались в тупике, и ситуация требует от нас невероятной изворотливости. Впервые мне стало жаль доктора Шанди: перед лицом истины он, должно быть, увидел во мне только обреченного человека, а я разглядел в нем прихлебателя Билла.

Встреча была назначена на воскресенье, 15 октября, в половине четвертого, у Билла дома. Я до последней минуты думал, что он от нас удерет. Доктор Шанди сказал: «Надо загнать его в угол, припереть к стенке, в случае необходимости напомнить о его обязательствах. Один из нас всегда послужит другому свидетелем». Я пришел загодя и скрючился на скамейке в скверике, что примыкает к собору Нотр-Дам-де-Шан; вскоре появился Билл, вышел из «ягуара» — темные очки, связка ключей на пальце — и пересек бульвар пружинящим шагом матерого ковбоя; следом показался доктор Шанди, он поставил свой новый красный автомобиль за «ягуаром» и почти бегом зашел навстречу Биллу: ворот рубашки распахнут, на ногах — теннисные туфли, под мышкой — папки с документами. У меня вдруг мелькнула мысль — эти двое действуют, повинуюсь моей воле. Я выждал несколько мгновений и, в свою очередь, пошел к подъезду, в котором только что скрылся Шанди; таким образом, членам нашего тройственного союза не удалось встретиться вдвоем, до прихода третьего. Билл принял меня тепло: «А, вот и наш милый Эрвелино! Да он, похоже, держится молодцом!» И сразу же обрушил на нас поток информации — мы-де вправе требовать солидного отчета по этапам разработки вакцины, по сопутствующим этическим проблемам... Впрочем, он, наверное, просто заговаривал нам зубы; я вдруг заметил — с тех пор как мой недуг набрал силу, у меня началось нечто вроде шизофрении: я прекрасно понимал, о чем говорит Билл, хотя он изъяснялся сложным и весьма научным языком, но в то же самое время, едва только речь заходила обо мне, в голове воцарялся полный туман. Я перестал понимать самые очевидные вещи — заело; спрашиваю Билла о чем-нибудь важном, а его ответ тут же забываю. Шанди прервал красноречивые излияния Билла: «Ну, а конкретно что ты можешь сделать для Эрве?» Доктор Шанди буквально дрожал — до того серьезна была его просьба, да, он хотел поговорить еще об одном человеке: речь шла о тронувшем его сердце почти безнадежном пациенте, который завис где-то на уровне 200 клеток T4 и уже принимал AZT. Шанди спросил Билла: «Раз уж ты берешься сделать Эрве прививку в Америке, не мог бы ты похлопотать еще за одного такого же пациента?» Билл старался не проявлять своих чувств внешне, но просьба, похоже, его обрадовала: благодаря ей он лишней раз ощутил собственное могущество, и не важно, сдержит он слово или нарушит, — в любом случае ощущение собственного могущества еще более укрепит в нем. На губах у Билла заиграла странная, едва заметная улыбка, на миг он отключился, погрузился в тайное ликование, а в ответ на мольбу Шанди о милости грубо ответил: «Только чтобы это не превратилось в правило... Ну да, я помог Эдуардо и, конечно, могу точно так же помочь и Эрве, и какому-нибудь незнакомому человеку, что мне стоит...» И тут с величайшим спокойствием Билл принялся подробно рассказывать ошеломляющую историю о том, что он предпринял ради Эдуардо, молодого испанца, с которым месяца три назад даже не был знаком; Эдуардо — брат Тони, в которого Билл был влюблен (родители противились намечавшемуся отъезду Тони в США и их совместной жизни с Биллом). Тогда Эдуардо только-только заразился от своего любовника, модного фотографа, сейчас уже готового испустить дух; бедняга лежал в мадридской клинике, причем тамошняя обстановка, заметил Билл, похлеще того, что у тебя, Эрве, было в Риме. Тони рассказал брату о могуществе Билла, и Эдуардо начал засыпать бизнесмена душераздирающими письмами. «Я дам тебе их почитать, — добавил Билл, обратившись ко мне, — увидишь сам;

по-моему, это настоящий писатель». По словам Билла я понял, что вакцинация Эдуардо уже состоялась, — и чуть было не хлопнул дверью, не вышел вон, но спохватился, дослушал до конца волнующий рассказ — и при этом не раз растроганно улыбнулся. Шанди вдруг задыхал прерывисто, ему словно не хватало воздуха: он запрокинул голову, закрыл глаза ладонями, грудь его тяжело вздымалась. Немного погодя он извлек из папки письмо, полученное от фирмы «Дюмонтель», там излагались условия оплаты по проделанной им на стадии эксперимента работе: сумма гонорара зависит от числа завербованных и получивших прививку пациентов — наподобие вознаграждения за голову каждого пойманного беглеца; между тем Билл в свое время приманил Шанди совсем другими условиями сделки. «Если у меня показатель Т4 упадет ниже 200, что тогда?» — спросил я. «Тогда надо будет выкрасть вакцину», — ответил Шанди. Билл промолвил: «Придется действовать подпольно». Со мной пока ничего твердо не решили, но вечером мне предстояло отужинать с Биллом — он ведь заговорщицки подмигнул мне, когда мы втроем, вместе с Шанди, прощались на бульваре.

Я позвонил Эдвиж и Жюлю и сообщил, что собираюсь ужинать с Биллом; оба ответили — нечего садиться за стол с этим подонком. Жюль разозлился на Билла, вскипел, не сдержав возмущения и омерзения. «Ведь обманываться не в твоём характере, — сдерживая слезы, говорил он. — Самое страшное не в том, что Билл не сдержал обещаний, а в том, что он обнадежил тебя. Теперь я понял, в каком смысле великодушен Шанди». Жюль велел мне захватить с собой иголку и, дождавшись, когда Билл выйдет на минутку из-за стола, накапать кровь из проколотого пальца в его бокал с красным вином, а на следующий день «обрадовать» Билла известием о своём поступке. Я решил сохранять спокойствие и проследить захватывающие события до конца. Это готовый сюжет для романа — даже если платой будет жизнь. А ведь это и впрямь готовая книга, и она для меня — важнее жизни. Вот оно, мое безумство: я не откажусь от книги ради того, чтобы выжить, — другим труднее всего принять это сумасбродство на веру и понять. В Билле я сначала увидел человека с золотым сердцем и только потом — подлеца. Открыв мне дверь, он сразу начал разговор: «Ты заметил, как Шанди стало плохо? Странно, правда? Как ты думаешь, что с ним?» И вдруг в шутку бросился на меня и сделал вид, будто душит. «Так ты говорил, что затаил на меня злобу? А я — я тебя возненавидел, слышишь? Воз-не-на-ви-дел. Ты знаешь, что такое ненависть?» Я сел на диван, взял сигарету и, пытаясь совладать с зажигалкой в форме бутылки из-под кока-колы, ответил: «Очень сильное чувство. Ты на самом деле хочешь поговорить на эту тему?» Но у Билла такого желания не было, он перевел разговор на свои извечные этические темы — о подлости исследователей и о реальных задачах спасения больных. Я сообщил Биллу, что похудел на пять килограммов и замечаю, как мышцы мои дрябнут, как я слабею. Он спросил, не было ли у меня диареи. Нет. «Значит, просто-напросто не переносишь АЗТ. Он скопился в печени и нарушил процесс фильтрации питательных веществ, потому-то ты и чахнешь. Шанди кормит тебя этой гадостью постоянно, без перерывов? Шанди — отличный парень, жаль, что нет у него научной степени; на время эксперимента придется поставить над ним главного врача клиники...» Поскольку у Билла тоже не все в порядке с печенью, я спрашиваю, быстро ли вообще восстанавливаются ее ткани. «Какое там! Возьмут у тебя, к примеру, малюсенький срез — и жди потом, пока заживет!» — «А тебе что, такую операцию делали?» А он мне: «Скажешь тоже! Нет, конечно. На мое счастье, всего лишь биопсию: взяли на анализ частичку печеночной ткани, чтобы проверить, как мой организм борется с гепатитом».

Жюль еще раньше спрашивал у меня, каким образом иммуногенное вещество Мокни вытесняет вирус. «Ничего оно не вытесняет, кстати, помимо всего прочего, это сильно снижает его ценность, — пояснил Билл. — Дело в том, что таким образом вводят все-таки вирус, пусть даже дезактивированный; исследователи из конкурирующих фирм утверждают, будто неинфицированным людям его вообще нельзя вводить — вакцине не хватает пока некоторых адьювантов, одних гаммаглобулинов недостаточно». Выходит, дьявольская сила вируса — в «обманной» функции; делясь, он как бы направляет организм по ложному следу борьбы, истощая и его, и собственную защиту. Приманкой здесь служит оболочка вируса: обнаружив ВИЧ, организм тут же посылает на выручку лимфоциты-помощники Т4, а те набрасываются на оболочку и, словно ослепленные ею, уже не замечают ядра вируса; оно же обходит схватку стороной и заражает клетки. Действие разбушевавшегося в организме вируса напоминает корриду: оболочка — красная тряпка, ядро — смертоносная шпага, а человек — изнуренный схваткой бык. Иммуногенное средство Мокни — это своеобразный «ясновидящий» двойник вируса, выступающий в роли его разоблачителя; он реактивизирует иммунную систему, способствует производству специфических антител, тем самым сообщая организму адекватные рефлексy для точного определения программы разрушения ядра, — ведь в ней из-за отвлекающего «маневра» оболочки до поры до времени все перепутано. О том, чтобы Мокни и Билл испытали бы вакцину на себе, теперь не может быть и речи.

В гриле-ресторанчике «Друан» Билл потребовал столик во втором, дальнем, зале, где никого не было, и сказал официантке: «Нам нужно обсудить сверхважные дела». Окинув взглядом посетителей в первом зале, прибавил: «Уж там нас никто не услышит... Знаешь, в Монреале за мной следили. Сначала в холле гостиницы вертелся один тип — молодой, лет двадцати пяти, недурен собой, но, судя по всему, не из гостиничных, я как-то особого внимания на него не обратил. Затем, поздно вечером, я снова его увидел — на улице, в квартале увеселительных заведений. Там есть такое пикантное кабаре со стриптизом — студенты наладились подрабатывать; ты сидишь, а они прохаживаются прямо перед тобой, совсем близко, сунешь студенту два доллара под резинку — он и плавочки снимет, а сунешь двадцать за отворот носка — так приблизится совсем вплотную, хоть щупай. Выхожу из кабаре — опять этот тип; ну, думаю, что-то здесь нечисто. Тогда я по двум параллельным улицам прошелся туда-сюда — испытанный прием, меня научили ему в Берлине, когда надо было отрываться от шпионов из Восточной Германии. Тип по-прежнему шел следом за мной. Сбить его с пути мне удалось в квартале, где натуралы встречаются со своими бабами. Но в холле гостиницы он замаячил снова; я, правда, сделал вид, будто ничего не замечаю. А в лифте, в зеркале, увидел, как он вынул записную книжку и что-то в ней пометил. Я думаю, он работает на наших конкурентов, на фирму «Миллэнд». Боюсь, меня начнут шантажировать, начнут трепать нервы; возможно, я слишком поздно заметил слежку и меня уже сфотографировали в один из вечеров, когда я ходил в то кабаре поразвлечься. Наше общество таково, что, если мужчине нравятся мужчины, это позволяет ему до тех пор, пока он помалкивает о своей тайне. И самое главное — нельзя публично проявлять свои склонности». Я не стал спрашивать у Билла, почему в послевоенном Берлине за ним ходили шпионы из Восточной Германии. Весь ужин он не отрывал взгляда от своего бокала с чилийским красным вином и ни разу не встал из-за стола, не отлучился в туалет.

Ужин шел своим чередом, и я, продолжая прикидываться, вновь заговорил об Эдуардо. Казалось, Билл на мои вопросы отвечал вполне чистосердечно, словно и не догадывался о том, что я тоже способен быть ох каким предателем. Я слушал его красивую волшебную сказку, подчеркнуто изображая величайшую отстраненность и заинтересованность. «Наверное, вам пришлось немало пережить, когда Эдуардо прививали вакцину, — проронил я. — А ты, случайно, не сам делал ему инъекцию? По крайней мере ты хотя бы присутствовал при этом?» — «Ну конечно», — отвечал Билл. «Что ж, ты, можно сказать, отыгрался, я имею в виду эту испанскую семейку ретроградов: ведь это они помешали тебе пленить старшего сына...» — «А вот тебе и самая пикантная деталь, — улыбнулся Билл. — Отец Тони и Эдуардо — глава испанского филиала фирмы «Миллэнд», нашего основного конкурента... Забавное обстоятельство, не так ли?.. Как бы там ни было, ради Эдуардо пошел на величайший риск...» «Надо же — «величайший риск»! — подхватил Робин, когда я пересказал ему наш с Биллом разговор, — может, и некрасиво так говорить, но в этом случае рисковать было нечего». Да, у Эдуардо показатель клеток T4 — свыше 1000, он только-только заразился: если среди знакомых Билла кому и требовалась срочная помощь, то уж не ему.

16 октября, после нескольких недель нестерпимого жжения в правом боку и ощущения горечи во рту, я сам принял решение прекратить прием АЗТ, а 17 октября сообщил об этом доктору Шанди по телефону: «Возможно, еще не время строить мрачные прогнозы, но, по моему, ни вам, ни мне уже нельзя полагаться на слово Билла. Доверять ему невозможно: ведь он безо всяких объяснений отказался от обещаний, которые дал полтора года назад и которые сегодня превратил по малодушию своему в пустые слова. Билл — марионетка, он никогда ничего не делает из благородства или человечности. Он не из нашего мира, он не из нашего круга, ему никогда не быть героем. Герой — это тот, кто не бросит умирающего; герой — вы и даже, может быть, я, умирающий. Билл никогда не будет помогать умирающим: он просто трус. Однажды он стоял у постели своего друга, впавшего в коматозное состояние; находившийся в палате брат этого человека попросил Билла взять несчастного за руку; Билл выдержал буквально секунду, а затем в страхе отошел подальше от постели».

Ночью, возвращаясь из аэропорта Майами к себе домой, Билл высветил фарами на дороге какого-то лохматого парня — тот в одних шортах, босой бежал по обочине. Билл усадил его в свой «ягуар», привез к себе, отмыл в ванной — правда, косматый молодчик не позволял Биллу дотрагиваться до своего полового члена ни в ванной, ни даже после, в темноте спальни. На следующий день Билл повез его по магазинам, одел с ног до головы, а парняга называл его «дядей». Еще через день Билл слегка забеспокоился: мальчик стал звать его «папой», и, сверх того, Биллу предстояла деловая поездка. Он отвез парня на молодежную турбазу, оплатил ему двухнедельное пребывание там и лично выдал на руки пятьдесят долларов. Вернувшись из поездки, Билл узнал: все системы охраны — гаража, персонального лифта, квартиры — без умолку дают сигналы тревоги. Охранники поведали, что молодой мужчина в костюме неоднократно, настойчиво пытался проникнуть через заграждения, утверждая, будто он сын хозяина, брошенный мерзавцем-папашей. Автоответчик разрывался от звонков этого малого, Биллу даже пришлось сменить номер и не давать его справочной службе. Но не успели подключить телефон, как парень, вызвав свеженький номер у охранника-новичка, опять принялся изводить звонками мнимого папашу. Билл не выдержал и сменил номер еще раз, однако вскоре, возвращаясь ночью из очередной поездки, столкнулся с тем же парнем — заросший донельзя тип, босиком и в шортах, выскочил из кустов прямо на «ягуар» — машине пришлось свернуть с дороги. По тревоге сбежались охранники, и Билл в их присутствии пригрозил нахалу полицией. Поднявшись к себе на тридцать шестой этаж, Билл отключил сигнализацию и микрофоны, соединенные с постом охраны; затем раздался звонок, Билл подошел к телефону и услышал в трубке слащаво-убийственный мужской голос: «Алло? С вами говорит дрессировщик обезьян, моя фамилия Пламм. Насколько я знаю, вы большой любитель человекообразных, а ко мне как раз поступила партия, я уже начал дрессировку. Так что милости просим, не стесняйтесь, звоните — я, с вашего позволения, телефончик свой оставляю».

С чего началась моя книга, тем суждено ей закончиться. Я по уши в дерьме. Ты по-прежнему желаешь видеть, как я все глубже опускаюсь на дно, — но сколько можно? Давай, Билл, вешайся, Иуда! Мускулы мои одрябли. Я снова слаб, подобно ребенку.

Внимание!

Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.

После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.

Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.

notes

Имеется в виду австрийский писатель Томас Бернхард.

АЗТ — азидодезокситимидин.

Аллюзия на имя героя средневековой легенды св. Юлиана Странноприимца.

Район Токио.

Аллюзия на слова из послания св. Апостола Петра: 2 Пет., 2:4. Здесь и далее — прим. перев.

Известный фильм А. Хичкока — 1960 г.

Лимфоцитов-помощников.

Фильм по книге английского писателя Дж. Балларда — 1984 г.

Евангелие от Матфея, глава 4, стих 10.